

В. ТАН-БОГОРАЗ

# СОЮЗ МОЛОДЫХ

РОМАН ИЗ СЕВЕРНОЙ ЖИЗНИ

☆

30-85/35\*



ЗЕМЛЯ И ФАБРИКА  
МОСКВА ★ 1930 ★ ЛЕНИНГРАД

7-я  
типография Мосполиграф  
„ИСКРА РЕВОЛЮЦИИ“  
Москва, Филипповский, 13.

Главлит № А—74125.  
З. Т. 2177 Тираж 5000 экз.



2010512914

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Действие романа происходит на реке Колыме в далеких поселках полярного русского племени, где жители сами о себе заявляют своим странным сладкоязычным говорком: «Какие мы йуские (русские)? Мы так себе, койимский найод (колымский народ)».

Полярная Русь разбросана обрывками и островками по устьям больших Сибирских рек, от Оби до Анадыря. Обь и Енисей, Анабара и Лена, Яна, Индигирка, Алазея, Колыма, Анадырь, Пенжина, камчатские реки, Камчатка и Тигиль, и Большая и Белая — каждая река имеет свою собственную групу. Это потомки казаков завоевателей, которые в несколько десятков лет прошли сквозь огромный край на поиск мехов, не менее ценных, чем лучшее золото Урала и Алтая. Они поднимались по рекам, «выгоняли» их по самую вершину, перетаскивали по волокам свои неуклюжие суда, выходили в океан на этих разляпистых кочках, сбитых деревянными гвоздями, с парусом из грубой реднины или просто из кожи, с тяжелым камнем, вместо якоря, — постоянно терпели крушения, но двигались дальше. В походах своих они уничтожили целые народы своим острым железом и страшным огненным боем. Уцелевших мужчин забирали в аманаты (заложники), а женщин в наложницы.

В государственных актах сохранились казачьи отписки того времени сибирским воеводам и даже самому

царю: «Было нас семнадцать человек. Пошли мы по реке и нашли на острожке, богатый и людный и сбруйный и бились мы с теми людьми с утра и до вечера. И бог нам помог. Мы тех иноземных людей побили до конца, а которых испленили и жен и детей такоже испленили и острожек сожгли. И полонные люди поганским обычаем избегая того, чтоб отдаться под твою высокую государеву руку, покололи своих женок и детишек и сами побросались со скалы и убились до смерти».

В конце концов завоеватели и сами осели на реках, смешавшись с остатками рыболовных племен, стали ездить на собаках, одеваться в звериные шкуры и питаться без хлеба и без капли кормилицей-рыбкой, жирком и мясом.

Часть их осталась казаками, но, вместо прежней неукротимой воли, полярные казаки попали в кабалу к исправнику и заседателю. Они скоро утратили прежнее морское умение и уже в начале XVIII века пишут воеводам в обычных отписках: «Суда наши малы и парусы слабы, а делать большие суда, как отцы наши, мы не умеем».

Должно быть в связи с этим полярная Русь утратила воинскую силу и в дальнейшем наступлении на чукоч потерпела поражение.

Русские смешались на севере с рыболовами, жившими оседло. С кочевыми оленеводами и бродячими охотниками они не могли соединиться, ибо выше всех благ материальной культуры ценили оседлое хозяйство и теплую избу и баню. Чукотские кочевники, напротив, сами себя называют «неумытым народом».

С течением времени другие рыболовные роды переняли от русских язык и обычаи и смешались с ними. Колымская Русь, например, включает четыре амотских юкагирских рода и один якутский род. Эта странная



смесь говорит на старинном северно-русском наречии и жалку, например, называет «жезлом», а луг — «пашитью». Они разыгрывают на зимних посиделках русские подблюдные песенные игры, водят ночные хоры между четырех стен при свете лампы, налитой рыбьим жиром, выпевают Киевские старины о Владимире Красном Солнышке и его богатырях.

С другой стороны, русские усвоили на Севере психологию местных туземцев, панический страх перед начальством и каждым чиновником, приехавшим с Юга, даже перед ссылкой уголовным поселенцем, жестоким и наглым, готовым всегда на грабеж и даже на убийство.

В хозяйственном отношении русские рыболовы ниже полудиких кочевников, чукотских и коряцких, и каждую весну, во время обычного голода, добывают от них добавочное пропитание и правдой и неправдой.

В то же время русские являлись на Севере проводниками случайных обрывков культуры, все же заносимых с далекого Юга, а главное, посредниками при торговле. Из Якутска и даже из Иркутска туда постоянно наезжали купцы и торговые приказчики с чаем и табаком, с сахаром и ситцем, железом и алым сукном выменивать у жителей пушнину, пыжики и белок, лисиц и песцов и замшу и медвежину. Ежегодные ярмарки в диких северных пустынях делали большие стотысячные обороты. Русские «людишки», «казакишки» и прочие «молодые люди» тоже пользовались. Скупали у чукоч и тунгусов что было подешевле и поплотше и перепродавали купцам. Но очень скоро и здесь произошло расслоение. Выделились местные группы зажиточных торговцев, а остальное население попало к ним в плен, в беспросветную крепость, хуже чем бродячие охотники, которые всегда могут убежать в тайгу или на тундру. Оседлому рыболову бежать было некуда.

В довершение всего с половины XIX века северо-восточная торговля стала падать. Раньше на Колымские и Анадырские ярмарки попадала пушнина с Берингова моря и даже из Аляски. Пышные речные бобры и кунницы и мышьи (сурковые) меха приходили из Америки, но потом, наоборот, азиатские меха стали уходить в Америку, скупаемые китоловами и торговыми шкунами с Аляски, и на долю Колымы стало доставаться немного. Русские совсем разорились. Торговые чукчи привозили на Колыму американские ружья и жевательный табак и скупали пушнину даже у русских мещан.

Нужно, однако, сказать, что русская даровитость сказалась и на севере, даже в культуре и промыслах, заимствованных у туземцев. Лучшие собаки и нарты на севере русские. Славится русская езда. Сети и невода, даже покрой меховой одежды, все это у русских высшего усовершенствованного сорта.

Большое значение имела на севере политическая ссылка. На реке Колыме одно время собиралось до пятидесяти ссыльных из самых строптивых, неуступчивых, опасных, которых ссылали по формуле департамента полиции: «в отдаленнейшие места Восточной Сибири», куда ворон костей не заносит, где бабы втыкают свои прялки прямо в нависшее небо. На деле на Севере нечего прясть и бабы не имеют прялок.

Мне самому в департаменте полиции сказали при отправке: «На десять лет в Колымское царство. Это вам первый задаток. Там тоже не солоно хлебают». Действительно, потом приходилось не редко хлебать без соли, без крупы.

Жизнь политических ссыльных на реке Колыме я изобразил в своих Колымских рассказах, которые раньше, при старом режиме, я назвал Пропадинскими рассказами, и самый Колымск наименовал городком Про-

падинском. Потом, после революции 1905 года, когда можно было говорить прямее, я воссталовил из неизвестного Пропадинска реальный Колымск.

Также и новый роман из эпохи революции на Севере я отнес, естественно, к Колымскому краю, в котором я провел свою молодость и который до сих пор мне снится порою по ночам так ярко, незабвенно.

Меня натолкнули на этот роман сведения, собранные мною, письменно и лично, от очевидцев и участников этих напряженных и мало известных событий. Ряд ценных указаний я получил от студента этнографа Н. И. Спиридонова, родом колымского юкагира, который принимал участие в колымском комсомоле и в войне против белых, потом отправился учиться в Ленинград, ехал больше года, учился в Ленинграде два года, а ныне отправился обратно на родную Колыму не менее трудным морским рейсом через Берингов пролив спасать своих юкагиров от конечной гибели и стараться приобщить их, хоть отчасти, к новейшей советской культуре.

События Колымской революции пропитаны жутью и кровью. Достаточно сказать, что описанный в романе эпизод, как белые построили ограду из трупов партизанов, раздетых до-нзга и замороженных как мрамор, действительно имел место со всеми безобразными и странными подробностями.

Однако в дальнейшем развитие сюжета увлекло меня дальше колымских событий и фактов и, таким образом, в конце концов, мне пришлось поставить в заголовке просто: «Роман из северной жизни», умолчав о реке Колыме. Такая эпопея, как наша революция, глубоко национальная и широко мировая, не может быть привязана к цепи действительных фактов, совершившихся в тесном углу огромного русского края. Ибо описание ее должно развернуться с таким же огромным размахом,

логически необходимым, эпически вполне неизбежным, историческим и вместе пророческим, связующим прошедшее с грядущим через молнию текущего момента.

Надо сказать несколько слов о сюжете.

Роман «Союз молодых» связан из трех рассказов, обнимающих время обеих революций. Начало его относится к 1905 году, продолжение к февралю и октябрю 1917 года, а конец к наступлению последних пепеляевских отрядов на реку Колыму в 1921/22 годах.

Содержание романа простое: юноша, ссыльный эсер-максималист, Викентий Авилов, попав на реку Колыму, сходитя с девушкой из северного рода. Они переживают полярную идиллию в условиях жизни простой, трудовой и здоровой. Но пришла революция 1905 г., амнистия («отпустили... зовут» — как указано в тексте). Авилов бросает жену и ребенка и едет на зов революции.

Это первый вступительный рассказ — «Ружейная Дюка».

Второй рассказ описывает жизнь и развитие молодого «Викешки-Казачонка», — как он пережил войну, а потом революцию, разруху, голод, просветление и комсомол — особый комсомол, арктический, по типу натурального хозяйства.

Третий рассказ посвящен «Полковнику Авилову», который преобразился из бывшего ссыльного Авилова. Он является на Колыму во главе пепеляевского отряда и проходит «огнем и мечом» по северным поселкам и стойбищам. Навстречу подходит отряд партизан из Нижнего Колымска под начальством комсомольца Викешки-Казачонка. Кончается рассказ трагической встречей сына с отцом, поединком и гибелью Авилова. Это Тарас Бульба наизнанку, Рустем и Зораб из «Шах-Наме» навыворот, — вместо суда отца над сыном, суд сына над отцом.

В наше безумное время, когда яйца учат курицу, даже еще не проклюнувшись, и китайские циплята, например, обещают научить вежливому обращению английских индюков, пора пересмотреть и изменить традиционную развязку семейной трагедии: разгневанный отец карает преступного сына. Еще у Лермонтова: «Дума» о двух поколениях кончается:

Насмешкой горькою обманутого сына  
над промотавшимся отцом...

Революция нам показала, как обманутые дети покарали промотавшихся и преступных отцов.

Беллетристу такой поворот старинной постановки сюжета представляется заманчивым. Бабель использовал его в одном из своих рассказов, но как-то мимоходом. Я положил его в основу моего романа-трилогии.

Есть однако в этой северной трагедии другое содержание. Юноша, чистый душой и телом, сходитя в вольных условиях с девушкой, чистой и ясной, как он сам, и строит семью. Потом под влиянием высшего порыва ломает эту стройку и уходит на свободу. Его увлекает борьба, самое высшее и дорогое, что есть у человека. Но сзади остались две брошенных жизни — и это не прощается. Бесследно обидеть нельзя никого, хотя бы уехав за десять тысяч верст, — ибо обидчик унесет с собою жало собственной обиды.

Слезы и проклятия покинутой семьи настигают Авилова. Из ссыльного Авилова он становится полковником Авилковым, командиром пепеляевцев, врагом и добычей собственного сына.

Вывод: «Коготок завяз — всей птичке пропасть».

Много на свете обиды и зла, но даже малейшее зло не проходит без отмщения.

Я написал первый рассказ в 1914 году, на самом пороге войны, и долго не печатал, даже не хотел на-

печатать, ибо в своем первоначальном виде то был рассказ без продолжения и без внутреннего смысла. Мы ведь не знали вначале, какое продолжение дадут судьба и история нашей короткой передышке между двух революций, и чем кончится амнистия 1905 г. и как конституция станет погромом, а потом революция «эксом», и затянется волынка на девять лет и вспыхнет война и подземный провал, извержение вулкана — РЕВОЛЮЦИЯ со всех заглавных букв, и как террористы станут «контрами». От «экса» до «контры» — какое изменение пределов...

В то время мы этого не знали и даже у самого завязатого фантаста не хватило бы воображения, чтобы предвидеть простую действительность.

На что не хватило фантазии, то стало обыденной прозой. Среди наступивших чудес мы живем попрежнему бездумно и легко, как мыши после ливня, обсохшие на солнце.

Также и рассказ мой, прерванный германской параллелью и засыпанный золою Февраля и огненным пеплом Октября, теперь, наконец, просветлел, отстоялся и мог получить продолжение. В нем я хочу показать читателю как это «экссы» сделались «контрами» и то, что считалось за подвиг, стало преступлением, а то, что казалось преступлением, вылилось в подвиг.

Вторую половину моей маленькой трилогии писал не я сам, а ее написала революция.

После первой главы о матери, покинутой и бедной, она написала вторую главу о выросшем мстителе-сыне и третью главу о преступном отце, который из двигателя жизни сделался тормозом жизни.

Кто знает, сколько новых глав она еще припишет.

*Ган.*

**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**  
**РУЖЕЙНАЯ ДУКА**





# I

Имя ей было Дука, вместо российского Дунька. Так же точно выходит Лика из Лизки и Нака из Настьки. Волосы у Дуки были черные, прямые, как юнская грива, а глаза голубые с наружным углом, приподнятые кверху по-якутски, и это придавало ее лицу особую дикую яркость. В жилах ее смешалась различная кровь, славянская, якутская, юкагирская и еще, бог знает, какая. Впрочем, сама себя она называла «юсанкой» (русанкой), на странном наречии севера, картавом и сладком, похожем на лепет отсталых детей и на шелест птичьих крыльев в тихом полуденном блеске незаходящего солнца.

И когда она плавно спускалась по широкой реке Колыме в своем игрушечном стружке, челноке, долбленном из осины, она любила петь «досельные» русские песни высоким и тонким голосом, дрожащим, как звон тетивы напряженного лука, особенно песню о «Голубе со голубицею»:

Они крылушками да обнимаются,  
они ноженками да оплетаются,  
сахарными устами тут целуются.

Дука никогда не видала ни голубя, ни голубицы. И они представлялись ей странными и фантастическими птицами с человеческим лицом, с необузданной жаждой

любви, которая сжигает всю молодежь на северном море в бессонные яркие ночи короткого лета.

Ружейная Дука, однако, чуждалась любви, и ни один молодой казаченок не мог бы похвастать, что он развязал вокруг ее крепкого стана сокровенный внутренний пояс. Этот развязанный пояс считается символом сдачи, и по старому обычаю каждая девка защищает его и ногтями и зубами, сколько может, или сколько хочет...

Ружейная Дука обладала не женскою силой и в прошлое лето схватила Алешку Лебедёнка за дерзкие руки и сбросила его прямо с обрыва в глубокую воду. Алешка выплыл на берег, но после того другие не смели подступаться. Самые упорные все-таки вздыхали на почтительном расстоянии и сквозь зубы напевали:

Ай Дука, Дукашок,  
Дука — сахарный душок.

Дука родилась на рыбацкой заимке Веселой, в избышке, заметеной снегом, пред деревянным очагом, обмазанным серою глиной. Ярко пылали стволы «плавника» <sup>1)</sup>, и оконная льдина голубела и плакала прозрачными слезами. Вместо холщевых простынь красное тельце малютки, по местному обычаю, упало на «родильную травку», и русская шаманка Анисья Однобокая обтерла его пучком «гусяного сена» и вынесла за двери и окунула в режущий белый сугроб. При этом она приговаривала шопотом:

Дедушко, медведушко,  
на тебе свежинку,  
дай мне снежинку...

Это был русский перевод старинной тунгусской молитвы лесному медвежьему духу.

---

6 <sup>1)</sup> Сплавной лес, принесенный течением.

После того тело новорожденной Дуки закалилось и стало нечувствительным к зимнему холоду и осенней простуде.

Дуда росла на реке и питалась свежей, «трепучею» рыбкой, святою едушкой. Когда ей еще не исполнилось года, в соску ее вместо размятого хлеба закладывали жирную юколу, сушеную из нельмы, дебелий и плотной. Ржаная мука на реке Колыме стоит по полтиннику за фунт. Зато колымская юкола, если бы ее вывезти в Питер, могла бы продаваться у де-Гурмэ, хотя бы по целковому за штуку, в качестве деликатеса. Когда подрастающая Дука встала на крепкие ножки, обутые в тюленью кожу, она бегала по берегу вслед за сплаваемым неводом, как голодная чайка, и вместе с другими ребятами подхватывала рыбную мелочь. Дети поедали рыбешку на месте сырьем и живьем, трепетавшую в зубах.

Десяти лет вместе с мальчишками Дука садилась в челнок и скиталась по заводям, отыскивая линяющую птицу. С непостижимым искусством она метала с навесной доски длинную «платину», острогу, которая ныряла в воду, как проворная щука, разгоняя гусиное стадо, и нанизывала шею за шей на свою растопыренную вилку.

С двенадцати лет Дука ходила по ближним лесам на поиски белок. На тоненьких лыжах, обшитых оленьей шкурой, с луком за плечами, она перебегала от дерева к дереву, как будто лисица, и пускала свои острозубые стрелы в косматые верхушки, наеженные жесткой хвоею. Лук был казацкий, старинного дела, он достался Дуде по наследству от бабкина брата, Макара Щербатых. С этим луком Макар, бывало, выходил на казенные парады. Ибо еще в половине XIX века колымские казаки выходили на парады

по старинному реестру: «четные с луком, нечетные с пищалью».

Пищаль тоже висела на стенке у Щербатых, крепкая, с игрушечным ложем, в серебряных насечках, с полкой для пороху, кремнем и огнистым кресалом, но не было мужской руки, чтобы огласить окрестные пустыни ее отрывистым щелканьем, ибо семья Щербатых была «женская выть»<sup>1)</sup> от «девичьего корня», старая девка Натаха и ее четыре дочки, девчонки погодки. Их звали на Веселой «Щербатые Девки» в отличие от других Щербатых-Носачевых и еще от Щербатых-Гагар, и звали еще «Наташонки» по матери Натахе. Оттого-то у Дуки не было ни отца, ни деда, а только дядя по матери да бабкин брат. В колымских рыбацких поселках не мало найдется точно таких же семейств от женского корня. Иные так и протянулись от бабки к прабабке по женским линиям, внебрачным, безотцовским. По старому поверью, когда отыщется семья из шести таких звеньев, то от шестой безмужней матери родится антихрист. Впрочем, у Натахи Щербатых не было не только антихриста, но даже простого казаченка, чтобы получать из казны мучной паек и денежную выдачу, которою держалось на севере немудрое хозяйство этих странных казаков бесконного полка, приписанных в то время к министерству внутренних дел в виде вечных рассыльных, всеобщих вестовых, часовых, денщиков и бесплатной охраны.

Весной на займке Веселой начинался голод, привычный и потому не страшный. Месяц апрель — подведи животы, — надо терпеть поневоле. Жители туже затягивали пояс на брюхе, сметали последние крошки в рыбном амбаре, разваривали прелые кости, назначен-

---

<sup>1)</sup> Выть — семья, род.

ные в пищу собакам, доставали из ям прогорклую «черную рыбу», пахнувшую плесенью и трупом, и ждали половодья, гусиного лёта и рыбьего хода.

- Но пуще всего голодали Щербатые Девки, безотцовская выть. Натахины дочки росли, как будто на опаре, и были жаднее налимов, ненасытнее гагар, которые до того объедаются, что засыпают на воде с рыбьим хвостом, торчащим из глотки.

Девки обдирали с окошек сушеный пузырь, доставали из мешков еще не копченую замшу, назначенную для продажи, и разваривали ее в кипятке вместо супа. Иной раз они злыми глазами поглядывали друг на друга, готовые в случае нужды дойти до людоедства.

Однажды в такую голодную пору Щербатая Дука сделалась Дукой Ружейной. Ибо она сняла со стенки родовую пицаль, подвязала широкие лыжи и ушла за Павдинские горы в березовый лес, а через три дня вернулась и принесла за плечом сохачиную губу, похожую на старую калошу, и пару увесистых почек, облепленных жиром. Сорок пудов вытянул сохатый, когда его вывезли с гор на лучшей упряжке собак, подобранной в целой заимке. Весельчане кормились до самой весенней добычи и даже отцу Тимофею в Середний Городок послали язык и пол-бока. После того Щербатую Дуку прозвали Дукой Ружейной.

22

## II

- Дука плыла по широкой реке в тополевой лодке, спитой тальничными (ивовыми) корнями и сбитой березовыми гвоздями без единого атома железа. С ней были две маленькие сестренки, Чичирка и Липка. Они спускались вниз по воде, сплавляя за лодкою невод. Он растянулся на 100 сажень и шел столбом поперек

реки, слегка загибаясь по течению; поплавки из березовой коры чуть трепетали и играли, там, где проворные омули «ячеились в полотнище», застревали своими вертлявыми головками в нитяных петлях сетей.

Дука сидела на носу и слабо шевелила длинными веслами, словно бесперыми крыльями, выравнивая лодку. Это была летняя речная идиллия, забава и промысел вместе. Речная ширина на юге и на севере застыла, как жидкое зеркало. Огромное красное солнце чертило в небесах бесконечную спираль, спускаясь к западу и снова восходя к востоку.

Неожиданно Дука привстала на скамье и приставила руку к глазам.

— Сверху идут, — сказала она, указывая на черную точку, мелькнувшую вдали.

— Русь едет, — прибавила она, присматриваясь внимательнее.

Черная точка выросла и превратилась сперва в лодочку, потом в лодку, потом в паузок, широкий и грузный, похожий на лохань. Над паузком сверху повисло полотно безжизненного паруса, почти не помогавшего течению.

На паузке ехала «Русь», «Мудреная Русь», как называют ее на реке Колыме. То были пришельцы с далекого запада, из «города Российска», туманного и странного, как будто загробное царство. Их присылали десятками, потом увозили обратно и на место их присылали других. Были они молодые, но все в бородах.

«Мохнатые, как будто старики», — говорили об них колымские девки с лукавой усмешкой...

Они привозили с собой всякие редкие штуки, сахар в головах и чай в цибиках, а книг столько, что хватило бы на десяток церквей, и шамана в трубе, фото-

рый и божится, и плачет, и поет<sup>1)</sup>, умели налеплять на бумагу человеческую тень<sup>2)</sup>). Звали их «государственные люди». Из самого царского места они получали «государственные письма» на орленных листах<sup>3)</sup>). Этими письмами были обклеены стены домов во всем Среднем Городке и каждое было такое, что целую зиму читай, до конца не прочитаешь.

Колымские девки влюбленными глазами глядели на этих чужих молодцов. Но они только крутили головами, как медведи, и грудились вместе и спорили о чем-то, словно бранились, — вот-вот подерутся, — но никогда не дрались...

— Девки, собирайте, — поспешно сказала Дука, принимаясь за весла.

Повинуясь приказу, Чичирка и Липка встали в носу и принялись выбирать в лодку тугие веревки тетив, поминутно вынимая из ячей вертлявую полоску живого серебра.

Тук, тук, тук! — прыгали омули в лодке. Паузок пристал к «домашнему берегу» займки одновременно с лодкой Щербатых. С разных тоней, островных и заречных, тоже тянулись лодки, направляясь к поселку. «Русь» ехала из города и, наверное, везла и новости и всякие припасы.

Приезжие укрепили на кольях свое неуклюжее судно и вышли на берег. Первым ступил на песок юноша высокого роста, в куртке, в рубахе из замши, но вовсе без шапки, с волнистой русой гривой.

---

1) Граммофон.

2) Фотография.

3) Газета, в частности, «Правительственный вестник» с орнаментами на страницах.

— С приездом, — сказал Митрофан Кузаков, — «Куропашка» — лохматый и белый, как старая береза, поросшая мохом.

На берегу уже толпилось все наличное население, — старухи, старики, ребятишки. И в задних рядах раздалось, сперва несмело, потом громче, настойчивее:

«Табаку, табаку!..»

Полярному жителю курево, кажется, важнее, чем пища, особенно летом. По местной поговорке: «трубка не знает стыда». В случае нужды можно попросить на затычку у самого исправника... Митрофан Куропашка быстро закивал головой:

— Все искурили, кисеты искрошили, скобленное дерево палили, до горечи дожглись!..

Он говорил торопливо и резко, как будто с наскоку, и у него выходило совсем, как у белой куропатки: «кабеу, кабеу!..»

— Дай лемешину... силимчик... прошки понюхать... — просили то справа, то слева, уже не стесняясь. Лемешина вкладется за губу для жвачки, силим набивается в трубку, а прошка в нос. Поречане истребляют табак, как только возможно и сколько возможно.

Высокий без шапки достал из-за пазухи косматую папушу табаку и щедрой рукой стал раздавать подходящим широкие и бурые листы.

— Пожалуйте, гости дорогие! — сказала жена Митрофана, Маланья, кланяясь в пояс. — Чем бог послал... Милости просим...

Ненарушимый обычай требует устроить для приезжего, для гостя, торжественный пир, отдать ему последний кусок, даже в голодное время.

— Для гостя украсть не грех, — говорят поречане реки Колымы, не хуже арабов.



Высокий без шапки неспешными шагами стал подниматься на гору к жилью. Дука смотрела ему вслед внимательно и любопытно. Он был выше головой не только поречан, но даже и собственных товарищей, шагавших сзади растянутой кучкой, выше, пожалуй, всего населения на реке Колыме и в целом округе, величиною в три германские империи, сложенные вместе. Каблуки его русских сапог, подбитые железом, оставляли на глине следы, как круглые копыта, но длинные ноги его шагали осторожно и упруго, как будто на пружинах.

«Ровно сохатый в лесу», — подумала Дука. Ибо сохатый тоже отличается проворством и умеет протиснуться даже сквозь двойную березу, растущую парой стволов из общего корня.

Губы у него были крепко сжатые, словно каменные, и русая бородка завивалась на щеках, как шерстка у оленьего теленка-кудряша.

Он показался простодушной поречанке существом какой-то нездешней породы, «осилком» из старой былины.

«За руку схватит, рука прочь, за ногу схватит, нога прочь», — прозвенели беззвучно в ее певучей памяти «проголосные» тягучие слова.

И, будто привлекаемый взглядами Дуки, «Осиллок» повернул голову и посмотрел на нее сурово и спокойно из-под сдвинутых бровей.

После угощения русские пришельцы в том же порядке вышли из приветливого дома Митрофана Куропашки и направились к берегу. Высокий без шапки на этот раз шел сзади, но, вместо того чтобы спуститься на берег, он свернул направо вдоль по угорю, у самого края домашней площадки поселка. — «Викентий, иди!» — окликнул его один из товарищей, низенький,

крепкий и круглый, с бронзовой кожей и медной густой бородой, словно весь он был отлит из яркого металла.

Викентий не ответил. Приезжие перешли на паузок и стали отвязывать канаты и готовить отвальные шесты.

— Авилов, ого! — еще раз окликнул другой из артели, смуглый, бородатый, с мощной осанкой, похожий на картинку из ветхого завета. — Идите, уезжаем!..

— Счастливой дороги, — ответил Викентий Авилов, и голос его поплыл, как колокол, над сонной рекой.

Речная артель отвалила. Паузок со скрипом и скрежетом снялся с причала и выплыл на вольную воду.

### III

День и другой прожил Викентий Авилов на заимке Веселой, изумляя простодушных поречан своею огромной фигурой и невиданной силой. В первый же вечер, когда воротились с заречных песков лодки, груженные рыбой, он спустился к берегу вместе с другими, подошел к самой большой лодке, взялся, потянул... Раздался треск тополевого дерева.

— Кор, кор (берегись)! — закричали в испуге рыбаки по-якутски.

Они опасались, что в этих могучих руках утлая лодка расколется надвое, как скорлупа яйца.

Авилов посмотрел на кричавших, потом не торопясь, как делал все, подобрал с земли пару деревянных обрубков, коротких и круглых, и положил их под лодку. Перекатывая эти катки все выше и выше, он один вытащил лодку на берег вместе с грузом. Рыбаки шли сзади, опустив руки от изумления.

На следующее утро Авилов отправился в лес и к вечеру стал выносить из непроходимой чащи очи-

ценные бревна, правда не толстые, но все-таки такие, что впору увезти на лошади и то зимою, ибо колымские леса не знают колес и летней перевозки. Через пять дней такого лошадиного труда с краю заимки Веселой выросли бревенчатые стены в рост человека. Работал Авилов попрежнему не торопясь, но очень аккуратно, забивал мхом пазы и замазывал их глиной снаружи и внутри. А крышу накладывать не стал, только затянул потолок над избушкой синим холстом, который достался ему от товарищей с паузка. Ибо они выгрузили для него в ближайшем поселке и сахар, и холст, и табак, и всякие другие товары.

В странной избушке, покрытой холстом, завелись большие богатства, конечно, на колымскую мерку. Авилов раздавал не считая. Избушка, покрытая холстом, стала как будто бакалейной лавкой для соседских детей. А сам он не брал у других ничего, даже обеда. Он завел себе сеть и просто толкал ее с берега в воду на длинном шесте. Того, что попадалось, хватало на еду. Рыбу он пек на углях. Вся жизнь его приблизилась к природе и стала первобытнее и проще, чем даже у Яшки Худого, самого бедного жителя на заимке Веселой. Только в одном отношении он уклонялся от голоса природы, замыкаясь в неприступном одиночестве и суровом молчании.

Весельчанские девки качали головой и потихоньку злились. По старому обычаю для местных девиц считается обидой, ежели парень, пришелец из соседнего поселка, живет одиноко и не глядит ни на одну. Но тут был человек особенный, чужой. Как приступить к такому?.. Отчаянная Дашка Кузакова, прозванная Сардонкой (щукой) за свою ненасытность, прибежала к нему в солнечную полночь просить табаку на леме-

пину, а потом не утерпела, села на кровать и сказала: «Ни за что не уйду».

Он молча и спокойно взял ее на руки, вынес за дверь и поставил на землю.

Однако своими серыми зоркими глазами Викентий Авилов внимательно рассматривал всех молодых девиц заимки Веселой. Но ни одна из них не была ему по нраву. Ибо все они жили, по местной пословице: «Баба не калач, один не съешь». Нравы у них были спокойно бесстыдные, как у оленей на тундре. Только одна держалась в стороне, не подходила, не заговаривала и даже не желала получать своей доли из тех заманчивых товаров, которые считались как бы общественным достоянием заимки Веселой.

— Чья это девка? — спросил он однажды у Дашки Сардонки, к которой он сохранил после ее неудачной атаки все-таки дружественные чувства.

И Дашка ухмыльнулась и сказала:

— Это — дикооплешая (полоумная) Дука, щелкает стрелкам по белкам, а рукам по щекам... Дуку и лешие боятся...

Однажды в безветренный вечер, когда солнце спустилось и повисло над заречными лесами и словно задумалось, спуститься ли еще ниже или уже подниматься, Викентий Авилов стоял на пригорке перед своей избушкой и любовался на яркую полночь. Сутки кончались и вновь начинались. Воздух был насыщен золотом, бледным, волнистым, словно разбрызганным в пространстве. Солнце было огромное, как круглая гора, и на него можно было смотреть простыми глазами, и, если долго смотреть, гора превращалась в провал, в круглый колодезь текучего алого света.

Солнце подвинулось к утру, но многие все еще не спали. В летнее время на севере живут беспорядочно

и с трудом разбираются, где кончается вчера и где начинается завтра. Птицы, привыкшие к более правильной жизни на юге, снялись с речных заводей и потянулись за тундренный берег на тихие болота. Чета лебедей низко протянула над самыми домами поселка. Они летели важно и прямо, как связанные вместе невидимой нитью; их серебристые перья были словно позолочены жидким сиянием солнца.

И вдруг из-за груди плавника, собранной с берега подростками и бабами на общее зимнее топливо и высокой, как дом, мелькнули две смуглые руки в петле напряженного лука, похожей на заглавное *D*; щелкнула, задела тетива, и лебедь словно подскочил налету, опустил обессиленные крылья и рухнул на землю. Можно было видеть, как тоненькая стрелка дрожит в его шее, похожей на белую змею.

Ружейная Дука с резким и радостным криком выскочила из-за прикрытия. С луком, протянутым кверху в упоении победы, высокая и сильная, она показалась Викентию какой-то бессмертной охотницей Дианой с реки Колымы. Другой лебедь, однако, не свернул и не поднялся в высоту. Он пролетал над домами так же торжественно, прямо, с распластанными крыльями. Он был теперь как раз над головой Викентия Авилова. И вдруг, повинувшись мгновенному побуждению, юноша выхватил из кармана браунинг и выстрелил вверх. Лебедь, пораженный в голову, шлепнулся об землю, как тяжелый мешок.

— Го-гой! — крикнула Дука-охотница азартнее прежнего. Она подхватила свою пернатую добычу, перекинула через плечо, как мягкую сумку, и, придерживая ее за голову, стала быстро приближаться к Викентию Авилову. Он безотчетно нагнулся, подобрал свою птицу и тоже перекинул через плечо. Они

стояли теперь друг перед другом в позах картинных и странных, как новые Адам и Ева охотничьего рая.

— Покажи, — спрашивала Дука с горячим любопытством, — чем же ты стрелял, винтовкой?..

— Какая она мачеконькая... — протянула она жалостно, разглядывая тонкий граненый клубок вороненой стали в руке Викентия. — То не винтовка, только ребенок винтовочный...

Несмотря на свою обычную важность, Викентий усмехнулся.

— И где ты стрелять научился, скажи, — настаивала Дука. — По чем у вас в «Российском» стреляют, по зверям, по оленям?

Викентий покачал головой.

— По птицам, по гусям? — настаивала Дука. — Что у вас в «Российском» живое?..

— По людям, — воскликнул Викентий сердито и неожиданно, и серые глаза его вспыхнули странным огнем...

— Грех! — протянула Дука с недоверчивым испугом, но лицо ее тотчас же просветлело.

— Звонишь <sup>1)</sup>, обманываешь, — сказала она, качая головой, — а я, дура, слушаю... Разве можно стрелять по людям?..

— А разве нельзя? — бросил Викентий спокойно, как всегда. — Почему?

— Ну, ну, — ворчала успокоительно Дука. — Чать, люди братья... Потому и нельзя...

— Братья?.. — переспросил, как эхо, Викентий.

— А как же? — настаивала Дука с важностью, — взять хоть у нас на Веселой. Все у нас братья да

---

<sup>1)</sup> Звонишь — лжешь.

сестры, кои двухродные, а кои трехродные. И всего у нас два имени, Щербатые да Кузаковы.

Викентий не нашелся, что ответить. Мир Дуки был узок и мал, как лужайка в лесу, и все населявшие его были, действительно, братьями. Они цеплялись один за другого, как белки зимой в дупле, и могли сохранять искру живого тепла, только согревая друг друга, как живая и мягкая гроздь.

Дука тоже помолчала и посмотрела на российского пришельца весело и вместе нерешительно. Мысли ее теперь устремились к более близким предметам, чем охота в «Российском».

— Ты сильный? — спросила она, наконец, и без особых церемоний дотронулась пальцем до мускулов юноши, торчавших под замшей рукава, как упругие ядра.

Викентий кивнул головой.

— А дерево вырвешь?..

Викентий молча ступил вперед, схватил молодую березку и внезапным усилием выдернул ее из земли вместе с корнями.

— Огой!..

Любознательный палец поречанки поднялся выше, чем прежде, и дотронулся до груди российского пришельца, белевшей из-под раскрытого ворота.

— Какая волосатая!.. — сказала она с детским любопытством. — Однако от этого сильный... Медведь волосатее того, а как высоко скачет, — прибавила она с очаровательным простодушием.

Викентий невольно рассмеялся.

— Мы и медведям заедем, — сказал он весело. Он чувствовал себя с Дукой удивительно просто. Словно ему было 10 лет, а ей 8 и они собирались играть в «охотника и зверя» на ближней лужайке за этой корявой избушкой.

С той ночи Ружейная Дука стала часто подходить к домику, покрытому холстом. Она забрасывала юношу вопросами об этом неведомом «Русском», «Российском», откуда в досельное время излился источник ее собственной крови.

— Что это, город, большой... Больше Середнего, в три раза, в сто раз?..

И недоверчивым удивлением она встречала сообщение, что «Российск» это вовсе не город, а огромная страна, сотни городов, тысячи селений, а в самых больших городах есть тысячи домов, а каждый дом в шесть рядов, как клетки в осином гнезде, и в одном только доме больше народу, чем на целой реке Колыме.

— Тысячи, тысячи тысяч, — звенело в ушах у наивной дикарки. Ей представлялись несметные толпы людские, кипящие на улицах, как толкун комаров, в шесть рядов, одни над другими, ибо места на всех не хватает.

— И достает на них рыбы, — спросила она с недоумением. — Где же это они все ловят?..

И Викентий в ответ пояснил, что все они питаются не рыбой, а хлебом...

— Хлебом, — с уважением переспросила русская дикарка. — Угу, какие богатые!..

Ибо на заимке Веселой и на всей Колыме хлеб был предметом недосыгаемой роскоши, доступной только на святках и в весеннюю пасху, и то для немногих.

Мысли ее опять перешли к другому предмету, более достойному внимания, чем хлеб или рыба.

— А девок у них много? Больше, должно быть, чем парней?

— Почему больше? — переспросил с удивлением Викентий.



— У нас видится больше, — простодушно объяснила Дука. — Мы вот четыре сестрички, а братца так нету. А какие у них девки, хорошие, должно быть? — сказала она и нахмурила брови.

Викентий усмехнулся.

— Бывают худые, а бывают хорошие — такие, как ты...

И немного неожиданно для самого себя он протянул свою крепкую руку и положил на плечо Дуки Щербатых.

Но Дука отшатнулась, как уколотая, и сбросила прочь эту широкую ищущую руку.

— Не трогай! — крикнула она, и лицо ее залилось горячим румянцем гнева и вместе стыда. — Ступай к своим хорошим... — На следующий вечер она не приходила и даже не явилась поутру. Викентий прошел по тропинке мимо избушки Щербатых и наткнулся на Дашу.

— Ищешь? — спросила она игриво и сердито. — Победа твоя уехала на Чиркинскую косу. До утра не вернется... А я разве хуже? — спросила она с задорной улыбкой. — Я сладкая, — прибавила она просто и даже по-своему скромно.

— Хуже, — угрюмо ответил Викентий и повернул к своему дому.

#### IV

Два дня и две ночи Дука не являлась у заимки на домашнем берегу. Викентий все заглядывался вдаль на широкую воду, не гребет ли с заречного берега знакомая черная лодка. Лодки приходили, но не такие, как надо.

На третий день около полудня вместо одной лодки вдали показались четыре. Они были странного вида, и

на каждом носу неясно мелькали какие-то особенные мачты, кривые, с ветвями.

— Сохатые плывут! — раздался волнующий клич.

То была семья лосей, переплывающих реку. Ветвистые мачты были попросту высокие головы зверей, увенчанные ветвистыми рогами. Такие переправы через реку случаются нередко, порою у самых поселков. Когда нападает комар или овод, полуослепленные звери готовы вскочить в охотничий костер или забежать в избу.

Поселок загудел, как потревоженный улей.

— Сохатые, мясо!..

В летнее время все поречане питаются рыбой, но мечтают о мясе чувственно и страстно, порою почти до истерики. Ибо жирная рыба приедается даже собакам.

Люди сходили с ума от азарта. Ведь это была добыча с горячей кровью, мясистая, живая, какая зажигает охотничий пыл у самых ленивых и старых. И, по старой примете, выпустить ее из рук — значило выпустить счастье и на целое лето привлечь на поселок охотничий ур-ос (неудачу)...

Старики и подростки, все, кто только имел руки, чтобы взяться за весло, посыпались с горки на берег. Лодки, челноки, душегубки отчаливали одни за другими на широкую вольную воду. Женщины, дети, собаки бежали по берегу с криком.

Увлекаемый общим движением, Викентий Авилов тоже сбежал к берегу, но все челноки и легкие «неводные» лодки были разобраны. Не долго думая, он сбросил куртку, столкнул в воду большую «кочевную» лодку, назначенную для перевозки груза, сел «в греб» и поехал наперерез к рогатой добыче. Он греб по-«российски» широкими редкими взмахами, в отличие от местного приема «мельницей», частой и мелкой,

с каждым взмахом «сушил» весла и снова налегали с удвоенной силой. Трещали уключины, подозрительно скрипели жидкие набои, спитые лозой, но лодка «бежала прогоном», прямо, как по шнуру, поминутно выскакивая носом из воды не хуже плывущего лося. И мало-по-малу Викентий Авилов стал обгонять весельчанских гребцов в их легких челноках. Они смотрели на него с удивлением и даже со страхом. Длинные кочевные гребі в руках Викентия Авилова стали рычагами совсем необъятных размеров, и другие поневоле сторонились от него, как сторонятся мелкие шкуны от черного большого парохода.

Головы сохатых выступали над водою яснее и яснее. Они казались на воде неестественно большими, и ветви рогов были, как сучья деревьев, унесенных вниз половодьем. Звери беспокойно поводили горящими глазами. Они вздрогнули, остановились, заметив, наконец, флотилию судов, наезжавших от берега. Но самые проворные охотники в легчайших челноках уже описали огромный полукруг и теперь заезжали с тыла, с заречной стороны. От острова Косого, с Чиркинской тони, тоже выплыли трое в узких душегубках, из тоненьких досок, не толще бумажного картона. Такие душегубки называются «ветками». Они спиваются волосом из трех длинных досок и весят не более пуда. Лоси нерешительно остановились в середине струи, не зная, что делать. Челноки налетели, как осы. Длинные изогнутые весла с двойными лопастями были вооружены тоненьким железным копейцем, похожим на жало, и охотники могли тем же взмахом гребнуть и нанести удар. Впереди всех, в узенькой «ветке», похожей на длинную коробку, мчалась Ружейная Дука. Черные волосы ее выбились наружу из-под алого платка и висели по щекам направо и налево. Одна прядь, необычайно длинная, по-

висла через борт и с каждым движением «ветки» погружалась в рассекаемые волны.

— Агай, агай! — вырывался из звонкого горла старинный охотничий клич, усвоенный русскими, должно быть, от чуванцев.

Викентий тоже подъехал вместе с заречными. Он выбрал себе самого крупного лося, схватился за карман и тут только заметил, что оставил кожаную куртку на берегу вместе с оружием. При нем не было даже ножа, хотя бы перочинного. Он вскрикнул от досады, глаза его гневно блеснули, и плавным ударом своих длинных гребей он разогнал «кочевную» и наехал огромному зверю прямо на спину. Зверь, беспомощный в быстро текущей воде, погрузился под воду, потом вынырнул и стал поворачивать в сторону, фыркая и отдуваясь. Но дерзкий охотник протянул свои длинные руки и схватил огромную добычу за широкие рога. Лось даже не отбивался, быть может, он чувствовал силу клещей, нажимавших на голову сверху. И так они поплыли вниз по воде, странно соединенные вместе, охотник и лодка и живая добыча совершенно невредимая, но связанная быстро текущей ризой воды.

— А-ла-гай!..

Ружейная Дука черкнула левой лопастью весла по воде, скользнула вперед, как будто дно ее «ветки» было натерто маслом, а правую лопастью кольнула ближайшего лося под левую лопатку. Зверь захрипел и ткнулся головой в воду, потом опрокинулся набок. Мелькнуло беловатое брюхо, длинные ноги брыкнулись предсмертной судорогой, и одна из них задела за борт челнока бесстрашной охотницы.

Борт раскололся, как стенка у спичечной коробки, Дука выпустила весло и опрокинулась в воду, и тотчас же схватилась руками за потопленную «ветку»,

но «ветка», лежащая боком в воде, нырнула и ушла из-под рук.

— Солнце, потопаю! — крикнула Дука отчаянно и захлебнулась в холодной струе.

Русский поречанин поклоняется солнцу не меньше туземцев и в трудные минуты взывает к нему с языческой верой. Солнце — истинный бог холодного севера. Может быть, это старый славянский Ярило, привезенный из вятских лесов первыми поселщиками.

— Спасайте, православные! — крикнула Дука еще раз.

— Ио-о! — в ужасе взвыли другие охотники. Ружейная Дука была как бы воплощением охотничьего пыла, Дианой заимки Веселой. Однако ни один не дерзнул приблизиться. Протянуть утопавшей хоть кончик весла из верткого «стружка» — значило очутиться тотчас же в воде вместе с нею.

Колымские жители купаются редко, а плавать совсем не умеют. И все-таки ездят в своих деревянных скорлупках и стараются не опрокидываться. Но каждая большая водяная охота уносит свою жертву.

— Дука, держись! — крикнул Викентий Авилов, с треском поворачивая лодку и с силой налегая на свои неуклюжие весла.

— Ах!..

Правая уключина не выдержала и выскочила из гнезда вместе с ивовой дужкой весла.

Дука опять вынырнула, на этот раз спиной. Руки ее судорожно взбивали воду, ища за что бы ухватиться.

Викентий Авилов в мгновение ока вскочил на ноги. Звякнули подковы сброшенных сапог, и тяжелое тело плешнулось в воду, вздымая высокие брызги, как тело огромного сиуча, нырнувшего в море с утеса. Поречане смотрели на эту неожиданную сцену, затаив ды-

хание. Викентий вынырнул, отфыркнулся и поплыл, широко забирая саженьями по воде. Минута, и он очутился на месте катастрофы, поднялся по грудь над водой, увидев пунцовый платок, мелькнувший впереди, нырнул, ухватил... И вот он уже возвращается обратно, запустив свою руку в густую и мокрую косу и поддерживая голову утопленницы над уровнем воды. Еще через минуту он был у своей «кочевой», как-то особенно ловко перебросил Дуку через борт, поднялся на руках через корму, наскоро сделал на месте уключины петлю из обрывка волосяной веревки, вложил весло и погнал «кочевную» к берегу.

Охотники немного задержались на месте, посмотрели ему вслед, но не поплыли к берегу, а повернули вниз по реке ловить сохачинные туши. Ибо все четыре лося были все-таки заколоты и туши их отнесло по течению вниз почти на пол-плеса.

Викентий вынес на берег бесчувственную девушку и отнес ее вверх на угорье. Мокрый след оставался за ним по дороге. Он снял с нее верхнюю кофту, потом повернул ее вниз головой, чтобы вытряхнуть проглоченную воду. После того он стал ее встряхивать на руках, как маленького ребенка. От этих внезапных и резких движений мог бы проснуться не только обмерший утопленник, но даже настоящий покойник. Веки Дуки вздрогнули, руки судорожно сжались. «О!» — простонала она потихоньку. Викентий еще раз встряхнул ее тело, потом отнес его под холщевую кровлю и уложил на шкурах. Он снял с нее мокрое платье и также развязал ее сокровенный пояс. За неимением простынь он завернул ее в свою собственную рубаху.

С того дня Ружейная Дука стала очелинкой, любовницей русского прищельца, Викентия Авилова. Мать ничего не сказала, ибо он утверждал свое право

на Дуку вдвойне: развязанным поясом и собственной рубахой. Впрочем, на третье утро Дука ушла из-под холщевой кровли в материнскую избу, да там и осталась. К Викентию она прибежала в разное время, чаще всего на повороте солнца, когда все живое забирается в тенистые и темные углы и дремлет беспшумно и чутко. В такие часы люди и звери и птицы стараются соединяться парами. Гуси тихонько гогочут, крохали<sup>1)</sup>, отдыхающие на заводях, крикают сонно и слабо и крепче прижимаются друг к другу. Викентий ловил эти скрипучие и ласковые звуки и тоже прижимал к себе дикую красавицу и ему казалось, что он обнимает не женщину, а птицу. Она целовала его бешено, страстно, впиваясь зубами в его крепкую мохвату грудь, потом неожиданно вскакивала с постланных шкур и словно улетала на крыльях в открытые двери.

В одно утро, покинутый быстрою Дукой, Викентий Авилонь взял шапку и пошел по тропинке на другой конец заимки к той же знакомой избушке Натахи Щербатых. Старуха не спала. Она вышла на двор в кожаной юбке и странной повязке, сшитой из меха, как шапка, с прорезом на темени, и стала чинить развешанные сети вязальным челноком из мягкого дерева ивы.

— Челом! — угрюмо сказал Викентий, кланяясь девичьей матери.

— Тебе здорово! — сказала Натаха, кивая повязкой. — В избу пойдешь? — предложила она, приглядываясь к лицу гостя.

— Тут хорошо, — буркнул Викентий.

— Слушай, старуха, — начал Викентий Авилонь сурово и прямо. — Отдай мне твою дочку!..

---

<sup>1)</sup> Одна из пород крупных уток.

— Не дам! — коротко отрезала Натаха и тряхнула голсвой.

— Она меня любит, — сказал в пояснение Викентий.

— Пускай любит, — вдруг усмехнулась старуха. — Доброе дело... Может, казаченочек найдется...

— Найдется, так мой, — ответил Викентий угрюмо.

— Полно! — игриво сказала Натаха Щербатых. — Чей бы бык ни скакал, а теленочек наш...

Бесстыдная философия северного материнства была против Авилова. Он вспыхнул, но тотчас же сдержался.

— Послушай, Натаха, — начал он снова. — Я дам за нее вено <sup>1)</sup> табаком и деньгами.

И слово и обычай были одинаково известны на дикой Колыме, но старая Натаха разозлилась.

— Ребенка не выкупишь венном, — прошипела она, — хоть всем твоим потрохом... Ступай-ка отсюда... Ступай, ступай!..

Любовная связь дочери ее не смущала, а радовала. Но отдать этому чужому чуженину возможного внука, паек!.. Она готова была выпарапать ему глаза...

Выскочили Липка и Чичирка и маленькая Зуйка и подняли гневное шипенье, словно сердитые гусыни на чужую собаку. Черная головка Дуки, повязанная красным, выглянула тоже из двери.

— Ступай-ка и вправду отсюда... Тебе здесь не место...

## V

Зима выпала такая холодная и скудная, какой старики не запомнят. Промысел осенний рано оборвался, а подледный не удался. Напрасно мужчины долбили пешнями (ломами) трехаршинную толщу матерого льда

---

<sup>1)</sup> Вено — свадебный выкуп, старое славянское слово.



на реке, просовывая сеть внизу на длинном «нориле», трехсаженном шесте толщиной в человеческую руку. В сети попался только круглоротый чукачан, костлявый и тощий, которым брезгают даже упряжные собаки.

Потом и чукачана не стало. В наступившую весну голод явился зловещей грозой, сулившей погибель и людям и лающей «скотинке».

Больше полгода прожили Викентий и Дука в разных домах, услаждая свои встречи урывчатой и яростной любовью, но словно в отместку Натахе Щербатых о внуке не было речи. Дука бегала, как прежде, тоненькая, стройная, перекатывалась всюду, как ртуть, летала и вправо и влево, словно любовь зажгла ее новым огнем, напичкала особым беспокойством. И в месяце апреле, когда Щербатые Девки доедали последние «кости и головы» (рыбы), Дука встала на легкие лыжи, повесила лук через плечо, а подмышки пицаль и отправилась, как прежде, на белые Павдинские горы. Викентий Авиллов шел рядом с ней. Лыжи его были, как два плота, и мягкий снег с каким-то испуганным вздохом садился под его тяжестью, но он шел вперед, как большая машина, и даже обгонял на ходу легконогую Дуку.

Первые пять верст они прошли в совершенном молчании. Потом Дука сняла ружье и отдала его спутнику.

— Мне лук лучше, — сказала она в объяснение, — а с пустыми руками идти на охоту плохая примета.

Они двигались быстро, словно поедали версту за верстой своими широкими жадными лыжами. Начались Павдинские горы, поросшие лиственным лесом, потом за перевалом явилась и хвойная чаща, но не было нигде ни лосиного следа, ни заячьих «крестов», ни куропаточьей «вязки» на рыхлом снегу. Лес словно

вымер. Там не было «ни червя, ни былинки», как это описано в старой тундренной сказке.

Они спустились с Павдинского вала на озеро Лисье и покатались по ровному льду, с берега на берег. Вперед, все вперед, пока не найдется добыча или смерть...

Озеро лежало, как белая чаша, в широкой котловине, и на севере синели Жабьи холмы, поросшие кедровой сланкой.

— Здесь есть еда! — неожиданно сказала Ружейная Дука и слегка постучала лыжным посохом по льду, покрытому снежным «убоем», гладким и твердым, как мрамор.

— Рыба! — прибавила она в виде ответа на удивленный взгляд спутника. — Как полный амбар.

— Так будем ловить, — горячо отозвался Викентий. У них не было сетей, но за сетями можно было вернуться в поселок, и, кроме того, северные рыболовы ухитряются ловить рыбу даже без всяких сетей.

Дука покачала головой.

— Нельзя, — сказала она с невольным вздохом. — Дедушко не любит. — Полное озеро рыбы, — начала она снова, как будто против воли.

— Дедушко не любит, — повторил с удивлением Авиллов. — Какой дедушко?..

— Дед, водяной, — негромко объяснила спутница, — не любит, не дает... А ежели даст, — прибавила Дука нерешительно, — так требует плату, чего ты не знаешь, самое милое, что есть у человека...

Это была старинная русская сказка, рожденная древней природой, озерами и реками России и вновь воплощенная в озера и реки этого дикого края. Древний водяной царь из Ильменя или Селигера переселился в озеро Лисье и с каждого гостя и путника требовал

выкуп, «чего ты не знаешь, самое милое, что есть у человека»...

Самое милое на севере, как и на юге, — новорожденные дети, и выкуп водяному приходилось платить маленькими русыми головками. Может быть, именно поэтому так мерли ребятишки на заимке Веселой. Жители боялись водяного, живущего в дальней пустыне, и в самое голодное время не ловили на озере Лисьем. И оттого оно было переполнено рыбой, как подводный амбар.

Однако Викентий Авиллов был меньше всего склонен поддаваться таким опасениям.

— Вот еще! — фыркнул он презрительно. — Мы будем голодные ходить. Ну его к чорту!

— Грех! — быстро сказала Ружейная Дука. — Солнце услышит...

Солнце и горы и вода были связаны одной неразрывной связью. И словно в подтверждение угрозы в воздухе стало темнее. Небо закрылось туманом и словно осело на землю. Какие-то сизые клочья быстро всползали к зениту. Пахнул хиус <sup>1)</sup> с юго-запада, с «гнилого угла», сырой и коварный предвестник весенней метели, замешенной снегом.

— Худо, — сказала Ружейная Дука, — на озере беда. Перебежим до берега.

Но берега уже исчезли, заволоченные снежной дымкой. Ветер заревел. Воздух завился мокрыми струями расплавленного снега, словно озеро прорвало ледяную кору и взметнулось в пространство.

Они шли вперед, полусостепленные, укрывая лицо от колючего белого ада и невольно сбивались по ветру, левее, левее к востоку, шли, сами не зная куда, вперед или назад.

---

<sup>1)</sup> Ветер.

— Дука! — позвал Викентий задыхающимся голосом. Она уходила от него в снежное море, как призрак, и оно готово было поглотить ее и скрыть навеки.

— Я тут, — ответила Дука. Она была действительно тут, совсем близко. — Свяжемся, — предложила она, разматывая пояс.

В такие метели путники связываются рука с рукой, чтобы не растерять друг друга.

— Постой-ка! — сказал неожиданно Викентий, нагибаясь к земле. — Следы... Вышли на дорогу...

Сквозь белые потоки мелькнули на снежном «убое» словно следы от полозьев, переметенные острыми грядками сыпучего снега. Дука только махнула рукой.

— Какая дорога!.. Наши собственные лыжницы... Мы закружали...

Уклоняясь от бешеного ветра, они описали полный круг и вышли на собственный след. На открытых местах в пургу «кружат» не только люди, но даже степные лошади и дикие олени.

— Пойдем, — сказала решительно Дука. — Я поведу тебя.

Она подошла и обвязала ему локоть концом пояса, другой конец замотала себе за рукав и пустилась вперед, низко надвинув олений кокуль <sup>1)</sup> на лицо и опираясь на посох. Они шли гуськом, как ходят связанные в бурю. Теперь ветер дул им прямо в спину и они старались не уклоняться в сторону. Лишь бы идти прямо, куда-нибудь непременно выйдешь. Час или два они ломали лыжами переметанный «убой», подвигались медленно и трудно, как будто и ноги их были, как руки, связаны.

---

<sup>1)</sup> Капюшон.

— Берег! — крикнула неожиданно Дука, поворачивая голову и стараясь перекричать метель.

— Вижу! — ответил Викентий.

В тумане мелькнули холмы, словно сгущенные тучи, чуть отделенные от общего хаоса.

— Ах!

Викентий Авиллов двинул обеими лыжами сразу и вдруг ощутил, что лед его больше не держит.

— Берегись! — крикнула Дука, отбегая назад, но было уже поздно. Твердый «убой» разлезся под ногами Викентия, как рыхлая корка, и он провалился по пояс в холодную жгучую воду.

То была «наледь». Горная речка, промерзнув до самого дна, гнала набегающую воду поверх льда, и эта живая струя из лощины выбегала на грудь озера, скопляясь глубокой лужей, проедаая внизу матерый лед, а сверху покрываясь новой тонкой корой. Такие наледи часто встречаются на горных потоках, особенно весной.

Викентий и Дука действительно добрались до берега, но, прежде чем выйти на землю, провалились в полярную зажору.

— Держись! — крикнула Дука. Она успела отбежать на закраину твердого льда.

Выгибая свой стан и напрягая руки, она потянула за пояс. Викентий выполз из зажоры, как огромная нерпа, и поволокся на брюхе к безопасной закраине. Потом сбросил с ног обломки лыж и с усилием встал на ноги. Его меховая одежда была напитана водой и облеплена снегом, и он походил на рыхлый ком, какой ребятишки катают, чтобы вылепить бабу.

— Скорее! — торопила Дука. — Обмерзнешь!..

Она шла вперед, волоча за собою измокшего спутника. Викентий тащился через силу. Платье его

леденело, особенно снизу, а ноги местами горели, а местами стали нечувствительны и тверды, как дерево.

Снег становился все мягче и глубже. Они подошли к нависшему обрыву скалистого берега, где было углубление вроде небольшой пещеры. Оно было набито снегом сверху донизу. Викентий повалился на снег, но Дука сбросила лыжи и стала раскапывать лыжной доскою сугроб. Углубление очистилось, и снежный вал вырос впереди, давая защиту от ветра.

— Иди сюда! — позвала она спутника.

Викентий кое-как переполз в убежище. Тело его, покрытое коркою мокрого льда, не повиновалось ему больше.

— Дай я тебя раздену, — сказала Дука.

Она стащила с него мохнатую обувь и меховые чулки, потом сбросила с себя свою верхнюю «парку» и завернула его холодные голые ноги в сухой мех. Она выжимала его мокрые оленьи шаровары, как выжимают белье, выдавливая из них воду тупой стороной ножа, натирала их снегом, стараясь извлечь по возможности влагу и вернуть сухость, дающую тепло. Снежная стена вырастала. Вьюга наметала на нее широкой белой метлой новые и новые горы. Наконец сугроб перегнулся и осыпался на выступ скалы. Отверстие закрылось. Они были в плену, в тесной ячейке, как личинки в древесной трухе. Стало темнее и теплее. Буря как будто оборвалась. Станным контрастом легла тишина после разнузданного воя, оглушавшего их еще за минуту. Теперь доходило снаружи как будто жужжание пчел. То были белые пчелы метели, которые визжали снаружи, как медные сирены, и жалили, как змеи. Но сквозь снежный окол голос их казался ласковым и нежным.

Викентий закрыл глаза и впал в забытие. Дука быстро повернула своими маленькими крепкими руками его неуклюжее тело, раздела его донага. Белая кожа Викентия слегка розовела под лаской ее пальцев, но на бедрах и около лодыжек отстали помертвевшие ключья, как ветхая бумага, и под ними алело кровавое мясо, как будто натертое соком брусники, которой весельчанские девицы натирают осенней порою свои смуглые щеки. Дука сняла осторожно истлевшую кожу и завернула Викентия в обе широкие парки. Потом подостлала наружную парку из серой парусины, села на землю спиною к скале и голову друга положила к себе на колени.

В крошечной ячейке под снегом было тепло, даже душно, ибо воздух с трудом проходил сквозь снежный окоп. Оба они впали в забытие, обмерзший охотник и его спасительница. Лицо Дуки склонилось низко и словно прильнуло к лицу истомленного юноши.

Ночь пришла и ушла. Мутный свет воскресшего дня проник в подснежную нору сквозь белые окопы. Дука с усилием подняла голову и прислушалась. Снаружи было тихо, и пчелы не жужжали: они улетели с озера Лисьего и окрестных лесов подальше к востоку. Дука снова взяла свою импровизированную лопату и стала проламывать путь сквозь снежную стену на волю. Свежий воздух вместе с солнечным светом хлынул в пещеру. Буря исчезла, как будто волшебством, и был весенний день, брызжущий светом, какие бывают на севере весной, морозный в тени, и жаркий на солнечном припеке.

Приземистый лес рос на самом краю обрыва. Дука пошла наверх и стала выбирать из-под снега валежник и сбрасывать вниз. Через полчаса снежные окопы были широко раскрыты и обмяты, веселый огонь горел перед

входом в пещеру, наполняя ее запахом свежей смолы. Под каменным навесом стало теплее, чем в доме.

Викентий тоже проснулся и сел на своих шкурах. Кожа, обожженная морозом, все-таки мало болела, но голова его кружилась от голода и истощения.

Дука посмотрела на него озабоченно, потом решительно привстала, достала из-за пояса крепкий дорожный нож, вытацила лезвие из роговой рукоятки и стала его прилаживать к палке, чтобы сделать копьё. Потом потянулась к выходу.

— Куда? — слабым голосом спросил Викентий.

— Скоро приду, — ответила Дука успокаивающим тоном. — Иду за едой, за рыбой.

Викентий покачал головой.

— Как ты достанешь? — спросил он уныло и тускля. — Разве этим сумеешь пробить ополонку <sup>1)</sup>?

— Сумею, достану, — уверенно бросила Дука.

Она вышла из пещеры и направилась влево к наледи. Она обошла ее близко, у самого края, и дальше перед устьем сердитой горной речки, не скованной даже морозом, отыскала во льду глубокую промоину, озерное окно. Кипящая вода прогрызла матерый лед своими ценными зубами и убегала вниз, вздуваясь пузырями. У этого окна был зимний «застой» рыбы. Рыба столпилась кругом стадами и рунами и выглядывала наружу, жадно глотая свежий воздух, проходящий сверху в ценной струе. Дукe не пришлось пробивать своим слабым копьём трехаршинную толщу льда. Она просто наметила ближайшую рыбу побольше, пожирнее...

— Дедушко, дай, — сказала она жалобно, но воды молчали. — Плату возьмешь, какую захочешь, — сказала она снова, с дрожью в голосе.

---

<sup>1)</sup> Прорубь.



И, словно в ответ, прокатился глухой удар, подобный выстрелу. Это лед, разьедаемый снизу весенней водой, не выдержал и треснул.

— Никола, благослови!..

От языческого бога Дука перешла к христианскому, ткнула копьём, ловко подхватила добычу, потом вытащила ее на закраину льда.

Дня через три Дука и Викентий вернулись на Веселую займку. Они не принесли с собой никакой добычи, ни лесной, ни озерной. Дука не решилась взять из подводного амбара больше дневного пропитания. Викентий Авилов хромал, опираясь на посох. Его правая лыжа, изломанная в середине и связанная лыком, оставляла на снегу странные следы, как будто от раненых пальцев.

Займка Веселая уже не нуждалась в добыче из леса. Первая весенняя «ожива», спасение голодных, пришла внезапно и обильно, как бывает среди дикой природы.

С верховьев спустился налим и шел к устью реки выметывать икру. Рыба ежедневно набивалась десятками в ивовые верши, и на каждом столе дымилась похлебка из максы <sup>1)</sup>, жирная и желтая, как расплавленный янтарь.

## VI

После того Викентий и Дука поселились вместе в избушке, когда-то покрытой холстом. Впрочем, Викентий Авилов давно наложил настоящую крышу, даже устроил и сени с чуланом и амбар для рыбы. Усадьба его стала нисколько не хуже, чем даже у Митрофана Куропашки. Собачья упряжка у Викентия подобралась лучшая в поселке. Одиннадцать псов, вороных и вы-

---

<sup>1)</sup> Налимья печень.

соких. Их звали всех на одно имя Воронками. Двенадцатая была Ворониха, матерая сука, и все Воронки были ее сыновьями. Она шла впереди «потяга», ведя за собою свое одногнездох потомство.

Старая Натаха и другие Щербатые Девки подняли крик. Даже богатое вено табаком и деньгами, и чаем, и тканями, которое Викентий Авилов сложил к ногам сердитой старухи, ничуть не помогло. Дело уладилось только при помощи фляжки, долбленой из дуба и налитой спиртом, который на севере ценится дороже человеческой крови и может купить не только дочь у матери, но даже жену у мужа.

Весну и лето, и осень прожила Дука под кровлей Викентия Авилова. И замечательное дело, — поспавши под новую кровлю, она сразу понесла под сердцем и через девять месяцев родила первенца сына, молодого казаченка. Ибо Дука все еще считалась казачьей девкой. Священник должен был приехать на будущее лето. Тогда имели совершиться одновременно и брак и крестины. В ожидании этого, и в виде компромисса, мальчика звали именем Викеша по отцу, а прозвищем по матери Щербатый. Зима удалась ласковая, сытая, обильная рыбой и дичью. Песцы попадали под бревна, а олени в ременные петли. Настали веселые святки, время всяческих потех, игрищ и даже хороводов, которые водят на севере в долгие зимние ночи в избе перед пылающей печью.

Толпа «машкерованных», парни, девицы и дети в вывороченных шубах, с завешенными лицами, весело ходили из дома в дом. С ними ходила и музыка: Васька Сопатый и Мишка Пузан. У Васьки была балалайка с некрашеной декой, а у Мишки даже самодельная скрипка с струнами из заячьих кишек и странным смычком из белого конского волоса.

Машкерованные прошли по порядку все избы и теперь подошли к новой избушке Викентия Авилова, стоявшей на отшибе. Еще на дворе перед сенями они запели «виноградье», старинную святочную песню, привезенную древними поселщиками из московского царства.

А мы ходим ребята, виноградчики,  
а мы ищем поищем господинов двор,  
господинов двор посередь Москвы,  
на семидесят верстов, на семи столбов...

— Милости просим, гости дорогие! — сказала Дука, выходя в сени и кланяясь. Но гости не входили и пели жалобно:

У нас обуточки тоненьки, у нас ножки забнут, виноградье!..  
И перчаточки беленьки, у нас ручки забнут, виноградье!..  
Красно-зеленое!..

Они дожидались приглашения хозяина, без которого нельзя войти в избу.

— Пожалуйте, — басом сказал Викентий Авилов, кланяясь в свою очередь.

Гости с хохотом ввалились в избу. Началась пляска, вальс-казак, смешанного типа, медвежьего с козлиным.

— Нашу заиграйте, плясовую, — требовали парни, топая об землю мягкими подошвами сапог, как будто настоящие медведи. — Камочку заведите!..

Скрипка завела старинную «камочку»:

Ты, камочка, камочка моя,  
мелкотравчата, узорчатая...

Дука поставила на стол холодную закуску, в полном смысле слова холодную, как лед: мороженую рыбу — строганину, нарезанную стружками, и мерзлую бруснику, красную и твердую, как бусы. Она была совершенно счастлива.

Муж у нее был орел из далекой Руси. Дом у нее был, как полная чаша. В зыбке у печки дремал почти годовалый ребенок, а за печкой прятался суседко-домовой, крошечный уродец, которому под праздник пекут колобки величиной с ноготок.

И почетные гости у ней веселились, как у самых «больших людей».

В разгаре этого веселья с улицы послышался свист, лай собак и шум подвезжающих полозьев.

— Марчик, подь, подь!.. Куга!.. — выкрикивали мужские голоса сигналы собачьей команды. Пляска прекратилась. Хозяева и гости высыпали на улицу, все вперемешку. Луна светила ярко, как днем. По косогору с реки взбиралась вереница собачьих упряжек, — одна за другой. Они поднимались наверх, как длинные змеи, и подвезжали к усадьбе Викентия Авилова. То был парадный, разукрашенный святочный поезд. Ременные шлеи собак были обвешаны лентами. На поперечных дугах звенели бубенцы, и задние грядки были украшены красными флагами.

— Здорово, старик! — раздавались веселые окрики.

Викентий Авиллов с удивлением смотрел на приезжих гостей. То были товарищи снизу, от самого устья, «государственные люди», от «Края лесов» и от берега моря, те самые, которые проехали вниз по реке три лета назад. Меднобородый Гармолиус и Павел Арбинский, широкий и черный, как жук, и длинный Игнат Симиренко и другие.

— Куда подвядались? — спросил Викентий Авиллов весело и удивленно.

— К нам, к нам, — наперебой кричали весельчаны, — гостечки любимые!

В этот святочный вечер они готовы были отдать приезжим все, что было в избе, и себя в придачу. То

были дальние гости, Христовы посланнички, носители свежих вестей, связь с миром...

— Куда вы собрались? — спросил еще раз Викентий и вдруг оборвался. Во рту его внезапно высохло, и даже глаза потемнели от буйного волнения.

— Туда! — указал Арбинский на юг широким и властным жестом. — Да ты разве не слышал? Пришла эстафета с пером из самого Якутска. — Зовут, отпустили!..

И он рассказал Авилову в кратких словах поразительные вести памятного «безумного» года... 1905-го. Вести прилетели с севера за тысячи верст волшебною силой лебединого пера, припечатанного к пакету сургучом, и трудно было разобрать в далекой полярной пустыне истинное значение и силу этого чудесного рассказа.

Но ясно было одно: отпустили. Зовут...

Викентий слушал молча, и в белом просторе под светом полярной луны перед ним вырастали воочию полузабытые картины: улицы, окна домов, несчетные толпы народа, трамвай, оживление, шум...

Ребенок заплакал. Дука вынула его из зыбки и поднесла к отцу. Но Викентий взглянул рассеянно и даже не поцеловал своего первенца. Мысли его летели далеко, что дальше, то стремительнее. Они перенеслись за Урал и теперь приближались к Москве. Новая, загадочная Русь...

На следующее утро гости поднялись еще до свету и приготовились к отъезду. До Среднего города еще оставалось 200 верст и надо было торопиться. Викентий Авиллов вывел свою вороную упряжку и молча стал запрягать ее в высокую, узкую «нарту». Ружейная Дука ахнула и обхватила его голову руками и завывала:

— Не пустю, не пустю!..



— Довольно! — сурово сказал ей Викентий и снял ее руки с плечей.

— Нас бросить хочешь? — вымолвила Дука громко с сухими глазами.

Авилов схватил неожиданно Дуку за плечи.

— На тебе мою правую руку! — заговорил он быстро и тяжело дыша. — Возьми молоток и гвозди и прибей ее к двери. Я себе правую руку отрежу, а с левой уеду!..

Он был, как безумный, и глаза его сверкали.

— Куда, зачем? — вопила попрежнему Дука.

— Туда! — указал Авилов на юг, как прежде Арбинский. — Домой! Отпустили... Зовут... Россия зовет!..

И Дука притихла.

— Оставляю тебе все именье, — наказывал Викентий, — собак верну из Среднего... Владайте навеки. Ворониha, подь, подь!..

Он дернул с пригорка ничем не груженную нарту, вскочил на сиденье и умчался, как вихрь. И даже не простился с женою и с маленьким сыном.

Все жители поселка высыпали на угорье и смотрели вслед уезжавшим гостям. Щербатые Девки окружили Ружейную Дуку.

— Пускай уезжает, — сказала Натаха безжалостно и просто. — Чужой.

— Викентий уехал, а Веня-то остался... Вика, Веня, Викиша, казаченок мой!..

Лицо ее сияло торжеством, ибо и дом, и именье, и внучек, и казачий паек, все это досталось навеки Щербатой семье.

— Уйдите! — крикнула Дука яростно. — Уходите сейчас. Не то ухвачу топор и всех перепластаю!..

Она вбежала назад в избу и захлопнула дверь.

— Дука, впусти! — заплакали сестры, дергая скобку.

Дука высунула голову в сенное оконце.

— Зарежу себя и ребенка! — крикнула она и скрылась окончательно.

Девки с плачем стояли у двери.

— Пойдемте! — сказала неожиданно лукавая старуха. — Не трогайте ее! Обомнется, так мягкая будет, — прибавила она философски.

Девичьи семьи привычны к внезапным разрывам, но старая Натаха знала по собственному опыту, что такие разрывы еще не приводят к кровавой развязке.

Дука, действительно, не думала больше о крови и убийстве, только металась по избе, как подбитая лисица, открыла сундук, выбросила прочь наряды, даренные мужем, синие и алые сукна, и стала топтать их ногами. Вперемешку лежало мужское белье и одежда, не взятые Викентием.

Сердце у Дуки упало. Ей попала под руку старая верхняя парка из серой парусины, которую Викентий носил на Павдинских горах в позапрошлую весну. Ей вспомнился дед водяной из озера Лисьего, пища из подводного амбара и обещание расплаты. Жестоким старик взял у нее не сына, а мужа, самое милое, что было у Дуки Ружейной. Ибо Викентий Авиллов был ей милее, чем маленький казаченок Викеша.

Она судорожно скомкала старую грубую ткань, прижала к груди и к лицу, понюхала, даже зубами впиалась, потом завернулась в нее с головою, как в плащ или саван. Вынула из зыбки ребенка, завернула его вместе с собою в широкую парку и легла на постель, где она проспала с Викентием, русским пришельцем, две зимы и два лета.

Целый день она пролежала на постели, не шевелясь, как мертвая. Плакал ребенок и сам добирался до груди, сосал и засыпал, и просыпался, и плакал опять. Она не слышала, не чувствовала. Только в полночь Дука вскочила с постели и вышла на двор. Луна светила попрежнему ясно, и река уходила с севера прямо на юг, в загадочную даль. И по белому лону реки тянулась, как атласная лента, саяная дорога, по которой уехал Викентий.

— Я тоже уеду! — крикнула Дука, обращаясь к югу. — Я найду, догоню... Ты слышишь, Викентий?..

Но Викентий не слышал. Только собаки завывали на соседнем дворе, начиная обычный полночный концерт. И другие дворы подхватили жалобно, тонко, протяжно...

То был вопль беспомощного севера, обращенный к далекому югу, в безответную даль.

---



ЧАСТЬ ВТОРАЯ  
ВИКЕША КАЗАЧЕНОК



## I

— Леший, а леший, возьми этого мальчишку!

Бабушка Натаха, сверкая безумными глазами, выбежала на улицу и взывает к темному, седому лесу, кстати же лес начинается у самого крыльца. Руки протянула вперед, волосья раскосматила — ведьма-ведьмой...

Викеша немного отбежал, стал на четвереньки, как собака, и ждет, что будет. А сам, между прочим, зудит тоненько, назойливо, как тощий комарик:

— Баба, йисть!

— Ох йисть просит! — взывает Натаха еще яростнее прежнего. — А у меня нет еды!..

Она хватается руками за растрепанные волосы и рвет их, как кудель. Выдранные волос за волосом улетают по ветру.

— О-о! — воет Натаха, — Дука, дочи, куда ты ушла, на кого нас покинула?..

Воет Натаха, а Викеша подвывает, как маленький волчонок. Дука — это его покойная мать. В прошлую зиму она уехала на устье реки Колымы за нерпями-тюленями, да так и не вернулась с промысла.

Много оставил богатства Викентий Русак своей белой очелинке, когда уезжал на родину: сетей на вешалах, и одежды в сундуках, и муки в парусиновых мешках, собственную упряжку собак из города вернул,

сам уехал на сменных, на почтовых. Да одного не оставил Вивентий Русак — веселой удачи и легкости, увез свой талант на родину, в далекую Русь, оставил и Дуку и мальчика Викешу в добычу зубастому «уросу».

«Урос», «урок» — это дух неудачи. Он прячется в лесу под корнями, и в болоте под пнями, и выдается встречным на шею, выедавая у них счастье.

О нем стародавние песни поют:

А и горе, горе-гореваньице,  
а и в горе жить, не кручинну быть,  
не кручинну быть, не стыдиться...

Но трудно человеку не стыдиться, не кручиниться под игом жестокого лесного оборотня.

Как уехал Вивентий Авиллов, с того же дня стали Наташонки хиреть и сохнуть, словно бы их подменили.

Сутки пролежала Ружейная Дука в избе, как без памяти. Сестры постучали, перестали. Натаха велела: «Отстаньте!»

Потом выползла Дука наружу, вскинула ружье, крикнула Кривоёда, любимую собаку уехавшего мужа, и ушла в лес. Ходила день и ночь. Слышали домашние выстрел, только один. А потом воротилась из лесу и чудно: принесла за спиною звериную тушку, не волка, не лисицу, а эту самую собаку Кривоёда.

Ахнула Натаха. «Почто?..»

Собака-то была дорогая.

— Так! — отозвалась Дука и стала обдирать шкуру. Ободрала, слегка просушила и постлала на постель, в собственные изголовья.

За эти две трудные ночи Дука словно постарела. Даже щеки у ней ввалились и волосы стали жидкие и пестрые, как у сорокалетней.

Нужно было, однако, жить, работать. В первобытных условиях жизни действует основной закон: «Не трудящийся не ест». Но дело валилось у Дуки из рук. К матери она не вернулась и осталась в Викентьевой стройке. Работать норовила одна без сестер. Поедет по дрова на собаках, вынет топор, к лесине подойдет и станет, стоит. Словно забыла что.

А в голове долбит одно: «Бросил, забыл!»

Бабушка Натаха смотрела озабоченно и затеяла вдруг заклинять Викентия с ножа, как это водится у колымских присушных мастериц. Нож отрезает присуху и отделяет ненужную любовь.

Для своего заклятия старуха утащила у дочери старый набедренный ножик, оставленный Викентием. Но только что поставила Натаха нож острием на запад и стала выкликать подходящие слова: «Заря-зареница, ясная девица, заря ночная, заря вечерняя, отрежь молодца от сердца, от ума, от печени, от жалости»... — как вдруг выскочила Дука из избы и отняла нож и при этом второпях больно толкнула Натаху.

— Как? Мать! — крикнула Натаха с изумлением.

— Какая ты мать! — запальчиво крикнула Дука. — Ты...

На Колыме господствовал натуральный словарь, и вещи назывались попросту, настоящими именами.

Не могла стерпеть Дука, чтобы отрезали от нее Викентия, даже в пустом воздухе, и невзирая на то, что Викентий отрезался сам.

Подравшись с матерью, стала Дука на бегучие лыжи и с верным ружьем и своей собственной сучкой, Губанькой, побежала в лес.

Бежала весь день до ночи, скатываясь с длинных тянигусов (косогоров), выбегала на лысины голых бугров, ныряла в крутые овраги, продиралась в чащин-

нике, не хуже лосихи с железными ногами. И к вечеру на речке Березовой и густой непроходимой чаще, в яру под ручьем Муруданом, отыскала Ружейная Дука новое чудо. Лиственница, стоявшая пред яром, заиндевела, как будто от дыхания, и вся разувесилась длинными бородами пушистых стекляннстых нитей.

Дука поняла, что под яром в глубине есть кто-то большой, дышущий.

«Медведь! — подумала Дука. — Тебя-то и искала».

Спящего в берлоге медведя поречане не тревожат, особенно один на один. Но Дука в этот день была опаснее медведя.

Она дернула из-за пояса свой маленький топорик, без которого северный охотник не выходит из дому, выбрала мохнатую лесину и в несколько ловких ударов свалила ее на снег. Потом поднесла ее к берлоге и дерзко сунула в глубь, в темноту. Послышалось рычание, сперва тихое, словно спросонья, потом громче, сердитее.

Сучья затрепали, и из берлоги показалась голова, увенчанная жесткой зеленой хвоей. Медведь опарал себе морду сучьями и был в прескверном настроении. Но Дука не оробела.

— Выходи! — позвала она его. — Мужичина лесной, башка толстолобая!..

Медведь выскочил из ямы с неожиданной силой и мягкостью. Потом подумал и встал на задние лапы. Еще подумал и пошел, переваливаясь, навстречу непрошенной гостье.

— Принимай гостей, — усмехнулась Дука, — брошенную бабу.

Была такая старая сказка, где жена, брошенная мужем-человеком, ушла к медведю и прижила с ним дитя: полтела медведь, полтела человек.

Медведь продолжал подходить. Дука видела его красные бегающие глазки, видела каждый волосок жестких коротких ресниц. И также сразу она подхватила ружье, приложила, пальнула. И медведь упал, как пораженный громом. Прямо в сердце угодила меткая острая пуля.

— Что, взял? — сказала Дука. Она подошла, не дожидаясь, пока медведь не перестанет дергаться, и поставила ногу на еще живое тело.

— Всех бы вас так!

Это относилось не к медведю, а к мужчине. Лесной мужичина поплатился за бегство Авилова.

И тут ощутила Дука, что ей стало легче. Черная кровь, вытекшая из чужого сердца, как будто отворила ее собственное сердце, запечатанное горем... Из брошенной мужней жены она стала опять Ружейной Дукой, вольной лесной охотницей.

После того жизнь Дуки потекла, как три года назад, когда еще не было Викентия Авилова на заимке Веселой. Она выметывала сети на нельму и чира, ставила хитрые ловушки: пасть на лисицу, плашку на зайца, черкан — на горностаю, лук-самострел — на оленя и лося. Да мало ли еще...

Было ей вначале трудно. Она привыкла в три года жить за широкой спиной и крепкими руками Русака, а теперь приходилось опять работать за двоих. Но Дука справилась.

Соседи присматривались к ней и дали ей новое прозвище в придачу к прежнему: «Мужик-Баба». Дука, действительно, ворочала за бабу и за мужика. Впрочем, она так и осталась нелюдимой, с сестрами не говорила, а только отвечала на вопросы: «да», «нет», «возьми».

Мальчика она держала при себе и ходила за ним, как умела. Ночью придет из лесу, сварит, поест и мальчика накормит.

В те дни, как уехал Викентий Авилов, Дука сразу потеряла молоко и поневоле приходилось кормить мальчишку мясом. Впрочем, Викиша к мясу относился, как волчонок. На втором году у него был полный рот зубов. И в этом Дука отошла от своих соседок, которые кормили грудью детей до трех лет и дольше.

Покормит ребенка и положит с собою в постель. В изголовьях шкура Кровоеда, занапрасно убитой собаки, шкура медведя на полу. И начнет Дука разговаривать.

— Викентий! — плакала она громко, в голос. — Вернись! Куда ты ушел? Кровоед, кровь мою выпил! Мохнатое сердце!

Она как будто смешивала воедино убитого кобеля с бежавшим мужем. — Собака, другую завел!

Глаза ее гневно сверкали, и она готова была сдернуть топорик с крюка и выскочить за дверь на поиски за дальней соперницей. Долго потом помнил Викиша простоволосую мать свою с ее слезами и диким болезненным криком.

— Мохнатое сердце твое, желчь твоя медвежья! — бранила Дука отсутствующего мужа.

— И ты тоже, волчонок, медвежонок! — обращалась она к сыну. — Русская собака! Сердце мое дорогое!

И она хватала сынишку и душила его поцелуями.

Так шло год и два, а потом Дука утихла. Но мальчик рано начал понимать и разговаривать. Дука разговаривала с ним по вечерам, но более спокойно, и все об отце.

— Русак твой отец, из далекой земли. Пришел, забрал! Не сгодились мы ему. Брошил, утек! Как пришел, так и ушел, как летнее солнце. Русский орел, осилок. Нету другого такого и не будет никогда. Твердое сердце у него, как витое железо. Не здешнего



корня, не ровня колымскому народу. Злое сердце. Руки кровавые, убойные.

— Ты тоже русак! — говорила она сыну. — Ты другой такой, Викентий ты, Авилов.

## II

И вправду, не только именем, но и всем обликом, и соколиным глазом и гордой посадкой головы Викентий был весь в чужеродного отца. Но и теперь уже можно было разобрать, что не будет он столь грузен, и выйдет он более тонкий и более гибкий, не лось, а олень. Густое кровавое пиво злого русака смешалось с медовой брагой от вольной лесной пчелки и двойным букетом ударило в голову мальчику Викеше.

Так рос мальчик из года в год, оторвался от маминной сиськи и от маминой юбки и вышел на улицу, т.-е. в глухой непроходимый лес, начинающийся от порога избы.

Северные люди телом вырастают медленно, а душою быстро. Ибо в условиях севера детства почти не бывает. Человеческий детеныш — это двуногий звереныш. И так же точно, как звереныш четвероногий, он научается рано терпению и хитрости, и голоду, и также убийству. Убийство — это промысел. Если не убьешь, не поспедаешь. И недаром чукотская сказка рассказывает твердо установленными типичными словами: «Сделал себе (мальчик) лук и маленькую стрелку. В первый день убил трясогузку, зажарил, съел. Во второй день убил куропатку, зажарил, съел. В третий день убил гуся, в четвертый день — лебедя, в пятый день — оленя, в шестой день — тюленя. В седьмой день стал убивать всякую живую тварь, сделался великим промышленником, кормил целый поселок, оброс и обложился запасами».

Таким же ранним охотником сделался Викиша Казаченок и так же переходил от малого к большому, умножая и разнообразя добычу.

Шести лет отроду он принес матери первую куропатку, пойманную в силок. Куропатка была живая, так как он и не подумал свернуть ей шею. Впрочем, куропатка замерла от страха и лежала в руке его смирно.

Викиша поднес ее матери и потом ее же упросил не убивать куропатку, а выпустить ее.

— На! — сказала Ружейная Дука. — Пускай летит!

Куропатка охромела от силка. Хромая, пошла по дорожке и нырнула в ерничные <sup>1)</sup> заросли, только и видели ее. После того жители нередко встречали ее в кустах на городской площади. Даже прозвище дали ей: Аксинья Хромая. Налетных куропаток в городе было сколько угодно, но местная живая куропатка, с именем, с правами городского оседлого жителя, была в новость. У охотников рука не поднималась убить ее. Даже собаки держались с куропаткой как бы на почве вооруженного нейтралитета:

«Ты не долби меня, и я не укушу тебя!»

Рядом с куропатками и зайцами мысли мальчика постоянно были заняты отцом. Какой был отец? Русак, с косматыми руками, огромный, как лесина. Русые волосы и глаза голубые, или серые, как у него самого, у Викиши. Он, разумеется, не помнил отца, но представлял его себе явственно.

Мальчик нагибался порою над спокойным ручьем и словно искал в его недвижном зеркале этот загадочный образ.

Видел мальчик такого, как Викиша, прибавлял ему мысленно роста и веса, грудь расширял, привешивал

---

<sup>1)</sup> Ерник — ползучая береза.

к гладкому лицу пушистую бороду — выходил совсем настоящий отец, как две капли вылитый. Но в то же время без сомнения это был мальчик — Викеша. Образ двоился, отходил и просыпался в его собственной груди.

Он перебирал вещи Викентия Авилова, огромную парку, сапоги с подковами, похожими на конские копыта. Непонятные книги, которые не мог бы прочесть даже главный городской грамотей, Олесов Никола. Рассматривал картинки, четкие и мелкие, но понятные без слов.

— Учись! — сказала мать. — Ты от ученого кореню.

И он самоучкой просиживал над толстыми томами, тщетно стараясь подыскать себе ключ к их таинственной мудрости.

Без помощи дьячка, городского учителя, выучился Викеша русской азбуке и уже шести лет мог вычитывать из книги многое простое, крупное, прямое. Азбуку ему прочитал старый одинокий поселенец, Зотей Жареный, и тем и закончилась его грамота.

Но чаще всего Викентий разговаривал с отцом теми же сердитыми словами, подслушанными у матери.

— Оставил нас, собачья морда! — говорил он мысленно отцу. — Тебе хорошо, а нам, небось, маяться!..

— Все равно, я найду, я догоню! Не уйдешь руки моей! Мой меч булатный прольет твою жаркую кровь! — говорил он сказочными словами, как разговаривали богатыри, украшенно и величаво.

Восемь лет было Викеше, когда мать его погибла на тюленьем промысле.

В тот год на Веселой был опять недолов рыбы и призрак голода обрисовался над плоскими избами. Рыбаки уходили на дальные озера за чиром, охотники бродили по лесам, на поисках за лосями, но и лоси

куда-то исчезли. Скучность стояла по всей реке до самого устья. Но за устьем начиналась новая ожива, охота на взморье на мелких и крупных нерпей, которые подплыли к берегам на обломках ледяных полей, прибитых к берегу северными ветрами.

Вместе с другими ушла за нерпями и Дука и на этот раз взяла расписную нарту своего русского мужа и его резвую двенадцатиголовую упряжку. Упряжку взяла, но домой не вернула и сама не вернулась.

Товарищи по ловле рассказывали: дунул хиус <sup>1)</sup> с юго-запада, унесло ледяные поля в голомянную ширь, чуть сами не потонули. С лединки на лединку перескакивали, собак переводили бродом и почти вплавь, все же перевели. А! Дука была дальше всех и она не успела вернуться.

Вот с этого черного дня Викеша перестал думать об отце Русаке и думал о матери. Она снилась ему даже по ночам, в надледной беде, знакомой всем северным промышленникам.

Льдину откололо и вынесло в море. И собаки жмутся на закраине и воют жалобно. А Дука забила в застругу поглубже гарпун, привязала его ремнями спереди и сзади, как мачту, и сама привязалась за пояс к гарпуну, и стоит, крепко держится за эту последнюю жердь, как за якорь спасения. Волны налетают и бьют через льдину и через голову Дуки. Вся она мокрая насквозь. Одежда ее мерзнет, и Дука коченеет.

— Викеша! — зовет она холодными устами. — Мой маленький Викеша!

Она отнимает руки от жерди-гарпуна и протягивает их вперед, и будто летит и падает и исчезает.

---

<sup>1)</sup> Ветер

Так гибнут на страшном океане морские звероловы из году в год, от весны до весны. И так погибла Викешина мать, Ружейная Дука Щербатых.

Викеша забыл ее настоящее лицо и помнил только этот страшный мелькающий образ, женщину с протянутыми руками, летящую над бешеной пеной.

После Дукиной гибели Щербатые Девки совсем упали духом.

За упряжку и нарту Павел Матвейч, приезжий торговец с реки Индигирки, давал без спору три тысячи сельдей да три пуда жирной толкуши из отборных сигов, чаек, табачок. Такого запаса хватило бы безбедно до нового лета и нового промысла. Было бы и пить и курить. Теперь не было у них ни Дуки, ни собак, ни запаса.

Урос пахнул на Щербатую девичью выть, колючая и злая неудача, от которой спасенье в бегстве. Дукины сестры, Чичирка и Липка, бросили избушку на Веселой и сплыли на устье, на низ. Они до того изменили преданиям девичьей семьи, что нашли себе мужиков настоящих, попали в пестуньи к чужому очагу. В избушке остались лишь старая да малый, Натаха и Викеша.

На зиму эти перебрались в Колымскую столицу, Средний, т. е. Средне-Колымск. Оставаться на Веселой было страшно без еды и почти без соседей. Ибо и другие весельчане разбрелись из-за голода кто куда.

Кстати же и в Среднем у Щербатых была собственная хибарка, такая же утлая, черная, худая, точь-в-точь, как их коренное гнездо на заимке Веселой. Хибарка стояла на самом краю городка, на Голодном Конце, где ютилась городская беднота, хилые «меньшие люди».

Бабушка Натаха совсем не замечала перемены. Она бранилась и в Среднем с Викешей и с лешим, плакалась о Дуке, о своей расстроеной жизни.

### III

Викеша смотрел на бабуку с недоверием. Вместо еды она могла его накормить разве ожигом, длинной обожженной палкой, которою она мешала дрова в камельке.

Варить было нечего. Уже третий день котел стоял у них на полу за шестком, совершенно сухой и опрокинутый вверх дном, в знак полной пустоты и отказа от кухонной службы. Котел отказался их дальше кормить, и они, в свою очередь, отказались от него.

Натаха вернулась в избу, тяжело хлопнув западавшей дверью. Викеша стоял на дворе. Старая собака, лежавшая в снегу у порога, тускло поглядела на него, лениво подошла и вильнула хвостом.

У них остались три старых собаки, которые уже не годились для дальней езды. Викеша запрягал их в нарту-водовозку и ездил поблизости за хворостом в лес или с ушатом к проруби.

— Ястреб, хочешь йисти? — окликнул он собаку. Ястреб опустил вниз свою кудлатую голову, словно кивнул утвердительно, потом слабо лизнул в щеку своего молодого хозяина.

— Пойдем к речке, Ястреб, — предложил Викеша.

Но Ястреб вернулся на прежнее место, покружился и лег, свернувшись клубком, потом распушил хвост и покрыл себе голову. Он действовал согласно мудрому правилу: голодному сон за обед.

Мальчик пошел по улице, направляясь к речке. На дворе стоял апрель месяц. Это была странная поляр-

ная весна. Заря уже торопилась сходиться с зарею и долгий день не имел конца, и в белую ночь розовая полоса не гасла на горизонте, а только переползала с запада на восток. И на дневном солнцепеке глубокий снег уже таял и садился. От его остеклевшей груди солнце отражалось режущим блеском. В этом блеске люди слепли и собаки бесились особым весенним бешенством. После ужасной зимы этот яркий блеск опьянял, как вино на голодный желудок. Ибо нарядная весна, белая и яркая, приводит с собой голодовку даже для зажиточных и сильных. Зимние запасы кончались, а в реках под толстым льдом еще не было рыбы и на тундре не было дичи. Надо было ждать, потуже подтягивать пояс.

Речка Серединка, мелкая, лесная, вся в желтых омутах, впадала в Колыму. По обоим ее берегам был завязан полярный городишко. Жители рассматривали оба потока, примерно, как матку и дочку. И первую просто называли «река», а вторую «речка». Собственных имен не прибавляли. Они подразумевались.

На речке было тихо. Черные кольца рыбной плотины торчали из-под снега. Ивовые верши стояли на косогоре в ряд, как солдаты. На низких вешалах висели невода. Легкий ветерок чуть постукивал поплавокми, словно играл на огромном ксилофоне. Под косогором несколько тощих собак терзали изгнившие клочья какой-то старой шкуры. Это были живые скелеты. У них заплетались от голода ноги, и их собственная шерсть висела такими же клочьями, как на их жалкой добыче.

Избы стояли под снежными шапками, нахохлившись, как старые совы. Половина печей топилась, и над деревянными трубами, обмазанными глиной, стояли высокие дымные столбы, пронизанные искрами. Но в

запахе свежего дыма не было никакой съестной струи и ничто не щекотало ноздрей голодного мальчика.

Из дверей напротив вышел другой мальчик, по виду Викешин ровесник. Он был в черном балахоне и в шапке с ушами. Завидев Викешу, он подскочил к нему, остановился, подрыгал ножкой, как голодный воробей, и пискнул:

— Сказывай!

— Спрашивай!

— Варили?

Викеша сердито покачал головой:

— Уйди, Андрейка!

— Йисть хочу! — пискнул мальчик мимоходом и тотчас же прибавил: — Пойдем, на девчонок посмотрим!

Девчонки сидели внизу под косогором, у самого берега. Они занимались странной игрой. Выкопали в песке небольшие ямки, набрали круглых камешков, похожих на яички. Каменные яйца лежали в песчаных гнездышках, а девочки сидели перед гнездышками и пели тихими и тоненькими голосами «уточку».

— Утка, утка, утичка, утичка матерая, на яицах сидит!

Мальчишки скатились сверху, как буря, въехали ногами в утиные гнезда и разбросали каменные яйца.

— Будя! — кричал Викеша. — Давайте лучше в ворона играть.

Он совсем забыл про голод, и глаза его радостно блестели.

Девочки быстро согласились. Лика, по прозвищу Сельдятка, вертлявая девчонка, глазастая и черная, как галка, застрекотала радостно: «Я буду матка, я буду матка!»

— А я буду ворон! — говорил Викеша.



— А я кто буду? — переспросил Андрейка. — Ну, я буду стрелец с луком.

Он вынул из-за пояса ножик, который поречане носят чуть не с колыбели, срезал хлыст ползучей березы, потом достал из кармана тонкий ремешок из черной мандары, шкуры пятнистого тюленя, и согнул себе лук для своей роли стрельца. Потом выстругал стрелу. Луки на севере были в ходу даже у взрослых. Станичные казаки били из лука гусей и лебедей, как богатыри в былинах. Лук состязался с кремневым ружьем, ибо стрелы ничего не стоили, а порох и свинец приходилось покупать у купцов за дорогую цену.

— Ворона, ворона! — кричали девочки. Они столпились все вместе, изображая гусенят.

— Ворон, ворон, что ты делаешь? — спрашивала matka, прикрывая гусенят руками, как крыльями.

— Землю копаю.

— Зачем копаешь?

— Камушки ищу.

— Зачем камушки?

— Ногти точить.

— Зачем точить?

— Твоих деток царапать!

— У ворона глазки жадненьки! — крикнули гусенята и бросились врассыпную.

Ворон ринулся вдогонку, но стрелок пустил в него стрелу и попал ему в бок.

— Умер, умер! — кричал Андрейка. Но ворон, не обращая внимания на собственную смерть, догнал самого маленького гусенка, Аленку Романцеву, которая еле ковыляла на коротеньких ножках, и зарылся своим острым носом в ее мохнатый балахон.

Девочки бросились на выручку, но остановились, не добежав.

— Девушки, йисть хотца! — раздалось, как припев, и руки у всех упали.

Только ворон не унимался и немилосердно теребил несчастного птенца.

— Кусается! — раздался писк и плач пятилетней Аленки.

Девочки бросились на выручку и стали щипать хищника так же крепко и бесцеремонно, как щиплются настоящие гуси.

Началась свалка. Аленка вывернулась и с плачем побежала. Показалось Викешино лицо, красное, свирепое, с дикими глазами. Он, кажется, и впрямь вообразил себя вороном, жестоким людоедом.

Девочки, запыхавшись, сели рядом на длинном бревне.

— Давайте сказки сказывать! — предложила Фенька Готовая.

Сказок на Колыме было великое множество. Тут попадались русские, чукотские, якутские, тунгусские и даже американские индейские сказки, которые переплывали Берингово море вместе с китоловами и спиртовозами из Сиаттля и Сан-Франциско. Ребятишки и сами умели сочинять и даже устраивали состязания, кто скорее и лучше расскажет. Но самые лучшие сказки знала Машуха Березкина, короткая широкая девчонка, как будто выпиленная из сосновой доски.

— Какую сказывать? — предложила она, даже не дожидаясь приглашения.

— Едемную! — пролепетала Аленка, которая забыла о трепке и жадно раскрыла рот от ожидания.

— Зили были старик и старуха, — начала Машуха особым шепелявым, свистящим, низким голосом.

— У них были трое дочки, Оселочка да Иголочка, да Метелочка. А еды у них было: олений бок, сохачи-

ная голова, фляга жиру, вязка рыбы сушеной, сотня мороженой.

— Нельма, — прибавила Аленка вдруг.

Сказка сочинялась тут же на месте и слушатели имели право делать вставки по своему желанию и вкусу.

— Не мешай! — огрызнулась Машуха. — Вот они как стали йисти, как стали йисти, съели этот бок, и голову, и жир, и рыбу...

— И нельму, — прибавила Аленка упорно.

— Девки, молчите! — крикнул неожиданно Викеша и вскочил на ноги. Сказка оборвалась. Девчонки смотрели удивленно на буйного мальчишку.

— Молчите, не дразните. Кусаться стану!

Сельдятка засмеялась.

— Да ты, видно, правду людоед! — бросила она задорно.

— Молчи, зараза! — крикнул Викеша запальчиво. — Уйду я от вас!

— В чукчи иди! — поддразнивала Сельдятка. — Там мяса много.

— Тьфу, проклятая! — мальчик отплюнулся длинным сердитым голодным плевком и быстро зашагал по улице, проходя сквозь Голодный Конец. Тут обитала вся городская голь, сироты, старухи, сифилитики, городские нищие, двое Егоршей — Егорша Худой и Егорша Юкагир. У многих не было даже настоящей избы, и, несмотря на лютый холод, они ютились в каких-то странных гнездах, выплетенных из ивы, как старая корзина, и засыпанных землей. Другие помещались в хатонах, старых хлевах, сложенных из стоячих плах, замазанных глиной и навозом. В таких хлевах якуты помещаются вместе со скотом, и скот, по крайней мере, греет их своим теплым дыханием и гниющим навозом.

Но здесь приютился в хлевах человеческий скот, слишком тщедушный и тощий, чтобы рождать из себя тепло.

На Голодном Конце не было ни одной коровы и даже упряжных собак на дворах было меньше, чем двуногих под жалкою крышей.

Солнце понемногу собиралось всходить. Восточный край неба оделся яркими огненными перьями. Это «заря-зареница» в своей нарядной шубке из красных лебедей открывала дорогу своему золотому отцу. Уже загорелся венец на косматой ее голове, не вычесанной на ночь. Ибо с апреля Заря перестает чесать свои алые косы, снимает свой облачный шлык и ходит простоволосая.

Ледяное стекло загорелось на реке, обнаженной от верхнего снега. И вместе с зарей и рекою загорелись глаза и у мальчика Викеша. Но в это погожее утро они горели зловещим волчьим блеском.

Он был страшен, этот маленький комочек человеческих мускулов и хищного голода.

«Убить бы кого!» — думал он, разглядывая улицу. Но на улице не было добычи. Свистнул снигирь, каркнула ворона пролетая. Она тоже искала добычи, не хуже голодного мальчика.

В лесу и на реке не было ни жизни, ни добычи.

«Еда у людей!» — подумал Викеша. — На другой стороне речки, за утлым мостиком, жили богатые торговцы в просторных домах, с настоящими стеклами в окнах, с амбарами, полными рыбы. Тут был запасной магазин с казенной мукою и солью. Но крепкая дверь магазина была замкнута троевинчатыми замками, и их охранял часовой, казачок Алеха Выпивоха.

«Там есть!» — думал мальчик. На него словно несло через речку дымным запахом копченой юкоты.

В маленькой избушке налево дверь отворилась, и вышел старичок, сутулый, почти горбатый, в парке-балахоне из мешочного холста, туго подпоясанный ремнем. Это был Пака-Гагара из рода Гагарленков <sup>1)</sup>. За ремнем у Паки торчал крошечный топорик, сточенный до самого обуха. Железо на Колыме скудное и даром его не бросают. Топорные обушки, сточенные до самого нельзя, служат для мелких домашних работ. На плече у старика был мешок, вернее, другая парка из такого же мешочного холста, только отороченная красным, должно быть, женская.

«Куда он?» — подумал мальчик с минутным удивлением. Топор говорил о дровах, но в лес за дровами ходят не с мешком, а с санями.

Пака перешел через речку по узкому мостику, дошел до полиции и остановился под окнами у самого исправника, постоял, подумал, даже руку поднял, сперва хотел постучать, потом двинулся по улице вперед, дошел до переулка, где был поворот к казенному складу, опять постоял и вернулся назад, прошел по переулку, ведущему к дому богатого торговца Архипа Макарьева. И тут тоже постоял и опять повернулся и прошел к складу. Он сделал это странное путешествие три раза, и, наконец, Викеша прочитал по петлям его запутанных шагов, как по печатным строкам: «Выбирает! Какое — казенное или макарьевское?»

Пака, действительно, вышел на улицу с дерзким и злым замыслом против чужой собственности, но как будто не мог выбрать, какую ему собственность нарушить, казенную или частную. Он колебался, но его

<sup>1)</sup> Пака — Пашка. Гагарленок — гагарий птенец.

колебания были всецело вещественного свойства. В казенном складе была мука и соль, а в макарьевском амбаре сладкая пища туземного люда, «жизница», ожива, источник бытия поречан, святая питательница рыбка. Посягнуть одновременно на то и на другое духу не хватило даже у дерзкого Паки.

Время было для предприятия Паки особенно удачное. В этот предутренний час, уже после восхода раннего весеннего солнца, все жители спали накрепчайшим сном, даже птицы, щебетавшие неугомонно круглые сутки, смолкали на полчаса. Ветер затихал, тоже словно сонный. Казак, стороживший казенную муку, давно вернулся в караулку и спал, как убитый, крепко обнимая данное ему ружье, символ его власти и позиции, вместе полицейской и военной.

Наконец Пака решился. Он обошел кругом обширную усадьбу Макарьева. Усадьба была огорожена тыном, но с каждой стороны были пролазы, особо для взрослых и также особо для ребятишек.

Он шел вперед, а Викеша следовал за ним на расстоянии неслышно, как горностай. Пака весьма хладнокровно пролез сквозь забор, подошел к амбару, стоявшему посередине двора, подsunул топорик под ржавый пробой: «Дрык!» — внезапным усилием он выдернул все: и скобку, и накладку, и всякий замок. На Колыме запирались не крепко. Воровать же вообще не воровали. Правда, исправник и помощник воровали, но они это делали иначе, помимо пробоев и замков.

Сломав замок, Пака раскрыл дверь и вошел внутрь.

— Как в свой амбар вошел! — сказал себе Викеша с восхищением и завистью.

Через минуту Пака уже выходил из амбара обратно. Мешок на плечах его раздулся, потолстел и стал не меньше самого Паки. Из устья торчали два широчен-

ных рыбьих хвоста. Святая рыбка победила чужеземную далекую муку. Мука, кроме того, была затхлая, а рыба свежая, мороженая, та самая рыба строганина, которая составляет лучшее блюдо северного сыроядно-натурального стола. Едят строганину сырьем, нарезав широкими тонкими стружками без соли и без перца.

— Рыба... Чирь!

Двуногий горноста́й в свою очередь скользнул в амбар, по примеру грабителя, и отколе ни возмись туда же посыпались снаружи такие же небольшие, проворные, поджарые фигурки. Викеша даже свистнул от удивления. Тут был Андрейка и другой мальчик Тимка, и девочки Хачирка, и Сельдятка, и Шурка Стрела, и Федосья Готовая, и даже пятилетняя ковыляющая Аленка Гусенок. Они нырнули в амбар, как мыши, и тотчас же выскочили вон, прижимая к груди как будто по серебряной лопате.

— А ты что, Аленка? — прошипела с удивлением Сельдятка. Аленка удовлетворила свою страсть к крупным нельмам и тащила уже не лопату, а целую доску. Но нельма уперлась головой в порог и отказалась выходить. Аленка зашипела и фыркнула, совсем, как горноста́й, и так подпернула упорную добычу, что вместе с ней перелетела через порог и кувыркнулась в снег.

Дети убежали, как волчата, с захваченным куском прямо в лесную чащу, укрывающую одинаково и жертву и хищника, но Пака прошел переулком, как прежде, и пошел по дороге. Его мешок был слишком тяжел, чтоб тащить его в лес. К тому же его гагарлята ждали не в лесу, а в избушке на Голодном Конце.

Ему приходилось проходить мимо макарьевской усадьбы с другой, лицевой, стороны. Но, дойдя до ворот, он остановился, как будто поперхнулся. В воротах

стоял сам старый Архип Макарьев, смотрел на солнце и скреб горстью широкую сивую бороду.

Макарьев был человек неторопливый, насмешливый и хладнокровный. Также и на этот раз, видя такое необычайное явление, как старого Паку с огромным мороженым уловом, спокойствия ничуть не потерял.

— С промыслом! — приветствовал он Паку.

Пака промычал что-то непонятное.

— Где бог дал?

Наполненный рыбой мешок опасно закачался у Паки на плече, но Пака удержал его и двинулся вперед, собираясь пройти мимо.

— Моя рыба! — сказал Макарьев решительно. Он узнал своих мороженных чиров по виду и по масти, как другие узнают лошадей.

Пака неожиданно рассвирепел.

— Твоя, так бери! — пискнул он голосом, пронзительным, как дудка. — Бери!..

Он шваркнул об землю свою трехпудовую ношу и облегченно выпрямил свою хилую спину. Мерзлые чирьи поплыли из мешка по скользкому снегу в разные стороны.

— На, на!

Пака нагибался, хватал чиров и бросал их в Макарьева. Один чир, брошенный особенно яростно, ударил Макарьева плешмя в грудь и прошелся широким хвостом по его окладистой широкой бороде. Даже по носу щелкнул концом плавника. Колымчане вообще рыбою дратья мастера, и на летних промыслах порою раздают друг другу здоровых лещей, правда, не лещами, а чирами и пузатыми нельмами. Но Пака затеял драться мороженой рыбой, твердой, как нарубленные доски.

Выбежали собаки и стаи, урча и хрипя, растаскивать лакомый груз.



— Поца, проклятые! Прочь! Поца!

Макарьев споткнулся и брякнулся грудью на свое погибающее добро. Пака с сердцем дернул свою речнину, такую же тощую, как прежде, и пошелся домой к своим голодным гагарлятам.

Макарьев осмотрел свой замок и даже испугался, не смотря на свое хладнокровие. Сколько ни стояла Колыма, не бывало такого, чтобы бедные ломали замки у богатых и уносили пищу прямо среди белого дня.

Правда, экономика колымская была какая-то игрупечная, вроде игры в бирюльки. Все продавалось, начиная от труда и кончая девичьей честью. Продавалось задешево уже потому, что не особенно ценилось даже основными владельцами. Платили не деньгами, а едой или товаром. Деньги вообще ходу не имели. Колымчане считали, как дикие чукчи, на чай и табак, например, нанимались в батраки — три кирпичка чаю в месяц, папуша табаку, ситцу на рубаху, дрели на порты, сары, полусарки <sup>1)</sup> и так далее, во всю бесконечную длину потребительского списка.

Более дешевые вещи считали на рыбы хвосты.

Парни распевали довольно известную песню:

Вот Чичирку за хачирку,  
а Аленку за чилим.

Песня эта требует пояснения. Чичирка — женское имя. Хачирка — мелкая сушеная рыба. Чилим, силим — жвачка табаку. Таким образом характер вышеуказанной торговой операции становится ясен.

«Малые люди», разумеется, были в долгу у «больших», но они не относились к этому очень серьезно. Поймает, например, тот же Пака в калкан неожиданно, почти против воли, хорошую лисицу-огневку, он не

<sup>1)</sup> Обувь.

несет ее к своему постоянному «хозяину», точнее кредитору, Явловскому, а норовит продать ее из-под полы другому и непременно за наличный расчет.

Каждый из малых людей был в долгу, как в шелку, и его положение было такое: отдашь по закону, засчитают за долг и больше ничего не дадут. Сделки, таким образом, помимо всяких долгов, производились за наличный расчет. Это было, в сущности, начало естественной отмены долгов.

На другой день к обеду исправничий «драбант» Дормедонт привел Паку на суд пред грозные очи его высококородия. Пака не сробел, пошел. Даже вскинул на плечо ту же добавочную двойную реднину — мешок.

— Ты, что ли, сломал амбар у Макарьева? — грозно спросил исправник.

— Не запираюсь, я! — спокойно ответил Гагара.

— Да как же ты смел! — вскипел исправник. — Да я тебя в холодную посажу!

— Посадишь?.. — лицо Паки сморщилось, как у собаки, готовой укусить. — Посадишь, да?.. А гагарленков моих кто будет кормить? Пятеро их у меня. Вот приведу и оставлю в твоей канцелярии, кормите их, да, вы, «начальники!.. — Пака перешел в наступление. — Отольются вам наши слезы! — визжал он своим колющим, как дудка, голосом. — Голодные сидим. Не унес я ничего у твоего мордастого Макарьева. На, смотри, и мешок пустой! — он дернул реднину и чуть не задел исправника по лицу. — Но вы погодите, мы вам покажем! — Пака повернулся и вышел из двери, волоча за собою свой пустой мешок.

Так и не посадил исправник Паку в холодную. На это было несколько причин. Первая причина: в Колымске не было холодной. Согрешивших казаков и мещан сажали в караулку, к старику Луковцеву, постоянно

сторожившему казенный магазин. Алеха Выпивоха, казачек, представлял охрану временную и вовсе бездомную.

Луковцев был тоже из «малых людей», к тому же он вел дружбу с Павлом Гагарой. Посадить Паку в караулку было не лучше, чем послать его домой. И власть предержавшая предпочла отпустить его просто и без затей. Кроме того, арестованным надо было платить кормовые по 98 коп. на человека в день. Таким образом Пака на двухмесячной высидке мог обойтись казне рублей в шестьдесят. Меньше двух месяцев назначить было невозможно. В расчеты исправника совсем не входило выдавать правонарушителям на реке Колыме хорошие казенные премии.

Так совершилась на реке Колыме первая экспроприация.

## V

1914 год выдавался обилием промысла. Рыба, пушнина, олени на тундре и лоси в лесу — всего было вдоволь. Даже ламуты заплатили торговцам свои невероятные долги белками, песцами и горностаями. Природа словно хотела побаловать людей в последний раз перед нависшей грозой. Но о грозе никто не думал. Среди всеобщего обилия Голодный Конец на время перестал соответствовать своему прозвищу. Гагарленки старого Паки набивали отборною рыбою свои ненасытные зобы и Щербатая выть жевала и мяла еду своими щербатыми ртами.

Ребятишки отбились от дому. Летом в каждом ручье есть еда и можно промышлять рыбу хоть штанами, как в юкагирской сказке. Викеша Казаченок больше не клевал краснощекую Аленку своим вороньим носом,

и оба они карабкались рядом на склоны рыжих скал, выбирая из-под папороти крепкую и твердую брусья, как красненькие бусы. И так настала осень с тихими ночными морозами, с первой, особенно сладкой мороженой рыбой — строганиной.

В октябрьский вечерок Андрейка и Викеша уже пробовали лепить молодые снежки из густо нападавшей пороши. Мало им было дня, так они прихватили и вечер. Как вдруг простучал по звонкой земле скачущий конь своими некованными копытами. На всей Колыме три подковы, и те завезены с юга и прибиты для счастья над воротами у трех казаков.

Конь проскакал и запнулся у калитки.  
Нарочный... — Гонец из Якутска.

В 1881 году по сонным улицам Колымска впервые проскакал такой сверхъестественный гонец с воплем и воем: «Убили царя, убили Лександру второго!» И жители заперлись в страхе. Убили царя — все равно, что убили бога.

Вот тогда сразу решили поречане: «Безбожная южная Русь, ежели не побоялась, убила царюющего бога».

В 1894 году другой гонец привез на гриве лошади новую весть: «Царь помер, тоже Лександра, по счету третий».

Но тут колымчане уже осмелели и чей-то голос из темноты крикнул с простодушным любопытством: «Сам, али тоже убили?»

И гонец объяснил, во избежание недоразумений: «Сам подох».

На Колыме, как сказано, вещи называются естественными именами.

А еще через десятку, в 1904 году, гонец принес на уздечке коня хлесткое слово «война». Теперь на четвертую десятку новый гонец принес новую войну. Две царских смерти и две войны — вот был итог новостей, приходивших с далекого юга за сорок лет в заброшенную Колыму.

Война Колымы не касалась. Там не было рекрутчины ни раньше, ни теперь. Туда забегали порою беглые солдаты, дезертиры-новобранцы, да там и оставались, укрытые тяжелым бездорожьем от воинской комиссии, — даже семьи разводили и пускали новый корень. От них на Колыме и Индигирке пошли такие имена, как Солдатовы, Забегловы.

Но все же наутро весь город говорил о неслыханной войне. С целым светом задралась мудреная южная Русь. С нами четыре державы, а то пять, а то шесть. А с «ними», с «теми» — три, а то четыре. И хотя 4—5—6 больше, чем 3—4, но колымские политики, вспоминая недавнюю русскую встречу с азиатским японцем, решили беспристрастно: «отдуют опять».

Попрежнему жила Колыма. Собачники ездили на тундру к чукчам за оленями, и на зимних посиделках парни бросались с размаху к девицам на колени, чтоб крепче притиснуть к скамье, и смачно целовались с ними, и «корогод» (хоровод) выпевал посредине избы:

Кинуся, броюсь,  
кинуся, броюсь.  
Маме Маше на ручки,  
маме Маше на ручки,  
я на Маше посижу, я на Машу погляжу,  
поделую, обойму, надеждушкой назову.

Попрежнему пришел конский караван из Якутска, навьюченный чаем, мукой и сахаром и разными припасами и даже, к удивлению, спиртом, в плоских,

трехведерных бочонках, несмотря на строжайший запрет. Правда, спирт продавался впятеро дороже, чем прежде. Но не все ли равно. В сей год Колыма была богата. Ей было чем платить. Ничего не изменилось.

Но мало-по-малу, из обрывков газет, из темных неясных и ползучих слухов сложилось суждение: — светопреставление на юге. Всякие народы, и «наши» и «не наши», ум потеряли и режутся, грызутся хуже волков и медведей.

Однажды солдат, искалеченный, безрукий и навеки перепуганный, забежал в Колыму, прямо с далекой польской Равы, за десять тысяч верст.

Левая культияпка служила ему вместо отпускного билета. Но он чувствовал себя дезертиром, беглецом, и порою просыпался по ночам с криком: «Идут, зовут!» Свое настоящее имя он тщательно скрывал, и называли его поречане Егорша Безрукий.

Был он иркутянин, сибиряк, хотя из семьи новоселов. На Раву попал сейчас же из телячьего вагона с надписью: «Сорок человек, восемь лошадей», — угодил под пулемет, под завесу огня, под буханье тяжело-весных прусских «берт» и видел в сущности один короткий бой, но все же каким-то чутьем он знал самое безумное и страшное о битвах и потерях, и осадах. И он рассказывал чуть слышным голосом, зажмурив глаза, — как прячутся люди месяцами в земляных окопах, а потом бросаются вперед и рвут свое тело о колючую проволоку и колят друг друга штыками, а сверху железные птицы, с пулеметами на спине, поливают их бомбами, а птиц этих снизу стреляют и бьют на лету.

И простодушные колымские люди ахали и ужасались: — безбожная, немилостивая Русь, хуже диких зверей, злее убойственных чукоч!

— А за что они бьются? — спрашивали бабы.

И солдат объяснил, как умел, по-своему:

— Не хватает им земли.

Егор сибиряк, новосел, еще понимал про российскую нужду в земле.

— Столько народу развелось на Руси, что негде пахать, а кое-которую землю получше разобрали купцы да начальники. Опять же и у них, у «не наших», скажем, у германцев, тесная земля, куренка негде выгнать. Вот и отнимаются и режутся все вообще.

— А чего это куренок?

— Птица!..

И еще больше дивовались простодушные поречанки:

— Зачем же выгонять куренка, когда можно убить его и съесть.

Мало земли!.. А в Колымском обширье поселок от поселка стоит на тридцать верст, и в поселке два дома и только. И столько земли, что хватило бы сразу на всех, и наших и не наших. И каждый человек на счету. Человек — это богатство.

— Дети — богатство наше! — говорит Колыма.

Ребятишки ходили за Безруким табунами. Викеша и Егорша, и Андрей, и Савка Якутенок, из старого шаманского рода. Имя его было Прокофий, но его называли не Пронька, а Савка, по деду-шаману. И Пака Гагарленок, — тоже Пака, по отцу, — острый, суматошливый, кудлатый, похожий на сорокопута. И еще двое братьев. Имя обоим было Микша <sup>1)</sup>, одного называли Берестяный, другого Крутобокий. Берестяный был крепкий, веселый и гладкий, как белая береста, а Микша Крутобокий был кожаный,

---

<sup>1)</sup> Микша — от «Николай» (Миколай), как Якша от «Яков», Кирша от «Кирилл».

жесткий, похожий на чукотского бога, каких выставляют на праздничных санках и мажут им губы салом. У Микиши Крутобокого кстати же была и привычка постоянно облизывать губы языком, как будто он слизывал чукотское жертвенное сало.

И девчонки, Хачирка и Сельдьятка, и Машура Широкая, и Фенька Готовая, и Аленка Гусенок, и Лика Стрела. Все они подросли за последние годы. Коноводу всей партии, Вивеше, уже миновало двенадцать. Они держались в стороне от больших и от очень маленьких, устраивали особые игры, например, начали играть в войнишку.

Они делились для этого на две партии: «наших» и «не наших». Дальше этого в своих обобщениях они не пошли. Вообще же в распределении побед и поражений они были вполне беспристрастны. Например, «не наши» частенько нападали на «наших» и давали им здоровую трешку.

Японская война на севере не выразилась играми. Но эта вторая война, таинственная и ужасная, задела фантазию даже у колымских подростков. А тут был живой источник, из которого можно было почерпнуть заманчивые знания об этих беспричинных жестоких и вполне непонятных делах.

Они смотрели Егору в рот и задавали вопросы без счета: «Чем дерутся и зачем дерутся? И куда они девают убитых и что они едят на войне?» Последние вопросы задавали девчонки. Возможно, что они подозревали жестокую Русь в смешении войны с охотой, то есть в людоедстве.

## VI

Однажды на обрыве над речкой. Егор стал рассказывать. В сущности это не был рассказ, а отрывочный



ряд воспоминаний, и то, пожалуй, не личных, а общих солдатских, навеянных Егору массовым ощущением войны.

— Крыли нас немцы, почем зря. Нос высунешь — нос отстрелят. А голову — так голову. Зарылись мы в землю, как змеи. Лежим, шипим. Яд нап при нас. И вдруг подходит ко мне юнкирь.

— Вставай, сукин сын! — А мне встать неохота. Так он меня кнутом. — Ух, ты! — А мне встать неохота. Так он винтовку схватил, да штыком меня, штыком. — Вставайте! Всех переколем!.. — Тут мы встали, пошли. А немец и почал поливать. У него пулемет отгонялка. Что жиганет, то полоса. Сунулись назад, а у наших пулемет погонялка. Все та же смерть. От своих еще обиднее.

Хачирка всплеснула руками:

— От чужих, от своих!.. Народы, народы немилосливые.

— Некуда нам деться, побегли. Добегли до окопов, а там проволока в три ряда повешена, как сеть. Мы давай рубить да резать. Кто и застрянет на проволоке, как жук. Тут, там, везде вопят да бьются. Которые прорвались, тех немцы покололи. Тут мы назад повернули вполне.

— Как гуси в сетях, — промолвила Фенька Готовая.

Люди, повисшие на проволочной сетке, напомнили ей птичьей охоты. Колымские охотники жердями и камнями загоняют в губительные сети тысячи линялых гусей, а потом бьют их палками или душат руками, или еще проще — перегрызают им горло зубами.

— А кто это юнкирь с кнутом, — спросил неожиданно Викеша, — русский?

— А то кто, чужой? — жестко ответил Егор. — Русский, конечно. Русский, что лошадь, без кнута не возит.

— Не путай, сибиряк, — сердито отозвался Викеша. — Русский бьет, и русский возит?.. Врешь ты! Русский, конечно, стегает челдонов.

Они успели узнать про Егора, что он «сибиряк-дурак», из тех самых сибирских челдонов, которых некогда завоевал Ермак.

Новоселы упрекают староселов, сибирских челдонов, что это их собственных предков завоевал Ермак, а совсем не одних полевых кругоходов татар.

— У, какой вострый, — сказал хладнокровно Егор. — А ты сам кто, русский?

— Русский! — сказала за Викешу Аленка, с известной гордостью. — Политика русская. Его отец на царя бонбами бросался.

— Важное кушанье, — сказал презрительно Егор. — Мы на войне сами бонбами бросаем... А российским попадает поболее сибирских. Сибирского достанешь, либо нет!.. Всех больше на свете битые русские.

— Кто с кнутом? — настойчиво спрашивал Викеша.

— Известно, начальство, офицер!..

— А какое ему имя? — негромко спросил Викеша. Ему почему-то представилось, что Егор ему скажет: Авилов.

— Какеи имена!.. Мы разве спрашиваем? Он тебе имя свое пропечатает на морде...

— А я бы его бонбой, — сказала Аленка Гусенок своим сладким, слегка шепелявым голоском.

— Кого? — спросили ребята, заинтересованные.

— Того, который бьет, — сказала Аленка спокойно и упрямо.

Безрукий пожал плечами.

— А может, и мы?! — сказал он загадочно.

Викеша молчал, в душе его двоилось. Русь бьет, Русь бьют... Бывают различные Руси.

— Я бы убежала, не пошла, — воскликнула Хачирка.

— Бывает, убегают которые в леса, — согласился Егор.

О, в леса, — это было знакомое.

— Есть нечего в лесах, — объяснил Егор, — на волчьем положении.

Дети молчали, словно взвешивали, которое положение лучше, человечье или волчье.

— Трудно идти на войну, — сказал Егор. — Когда уезжали по машине, жонки с ребятами ложились под машину: задави нас, машина, досмерти, чем с милым разлучаться!..

И это было знакомое. Горечью внезапной разлуки была напоена кочевая колымская жизнь. Хачирка даже пропела тихонько:

Прощай, радость, жисть, веселье,  
слышу, едешь от меня.  
Нам должно с тобой расстаться,  
тебя мне больше не видеть.

А потом помолчала и вздохнула:

— Какая ваша русская жисть...

— Такая, — ответил Егор... Он долго молчал и вдруг затянул тоненьким, чуть слышным голоском:

Из-за речки, за быстрой,  
становой едет пристав.  
Ой, горюшко, горе, горе,  
становой едет пристав.

— Чего это ты поешь? — спросили дети.

— А это русская песня. Вот там, где война была, там и поют. А вы не молчите, подпевайте.

За ним письмоводитель,  
сущий вор-грабитель.

И дети подхватили с привычной певучей ухваткой:

Ой, горюшко, горе, горе,  
сущий вор-грабитель.

Самая несчастная, злая российская жизнь!..

## VII

Якутскую торговлю словно отрезало ножом. Не стало ни привозу, ни отвозу. Словно Якутск переехал на луну или прямо на тот свет.

Худосочный Колымск неожиданно стал задыхаться от обилия ненужной пушнины, готовой одежды, даже драгоценной белой ююлы, которую зимою возили в Якутск по морозу. Никакой осетровый балык не может сравниться с ююлою из колымского чира. Но теперь приходилось колымчанам самим потреблять свои рыбные лакомства.

Главная беда, не стало чаю, табаку, сахару, ситцу, железа, не стало ничего.

Что было у купцов, они припрятали в подполья или прямо закопали в подземных тайниках, чтоб люди не нашли и не отняли.

С удивлением и гневом Колымск, раньше полунезависимый от южной «Руси», которому, главное, была бы святая рыбка, наглядно ощутил, какая крепкая пушвина соединяет его с культурой. Но теперь в этой пушвине кровь перестала пульсировать.

Без русского прядева и нити не было сетей и нечем было даже ловить святую рыбку. Приходилось плести кое-как ивовые верши. Без пороку и дробы приходилось приниматься за дедовский лук.

Но от сознания этой тесной связи с югом еще более негодовал Колымск.

— Не пропускают, ничего не пропускают. Чаю ни маковой росинки, сахару ни зернышка. Злая Русь!

Раньше в Колымске говорили: «Мудреная Русь» и этим отдавали дань почтения всем выдумкам культуры, старой и новой, от церковной восковой свечи до граммофонной пластинки. Ведь был и в Колымске граммофон.

Но теперь колымчане были готовы пуститься походом на Русь и силой отнять задержанные богатства.

Вестей и гонцов из Якутска тоже не бывало. Доходили, неизвестно откуда и как, тяжелые, мутные слухи: режутся, воюют.

Тут где-то воюют, под боком, в самой Якутской губернии.

— Вот так на! — судили колымчане. — Апонцы или кто иные пришли. Столько народов воюют. Мог какой-нибудь добратся и до Ленского угла.

Другие слухи, более неопределенные, но вместе и более понятные, разъяснили:

— Никто не пришел. Сами воюются, режутся, режут друг дружку.

Собственно о революции, о революционном правительстве в Колымске не слыхали. Однако как раз через год, в июле 1918 года, в Колымске, вообще привыкшем ничему не удивляться, случилось новое чудо.

Съехал исправник из полицейского дома, так неслышно и скромно съехал, словно рассчитанный приказчик. Конечно, никто его не рассчитывал. Он сам рассчитался, рассчитал, что пора уходить, и съехал на квартиру к своей «экономке» Палаге. «Экономка» — по-колымски любовница. Очевидно, подход экономический. С собою исправник не взял ничего, ни казенных

бумаг, ни вещей. Из собственных вещей взял самое необходимое, носильное платье и две колоды новых, неразодранных карт. Даже мундиры свои и шапку с кокардой, орленные пуговицы и шапку с португеей оставил на квартире при полиции, как достояние казны.

У Палаги был собственный невод, справленный, конечно, на исправничьи деньги. На другой день после своего отречения от власти, колымский Цинциннат <sup>1)</sup>, вместе с Палагой и ее косоглазым братом, сели в неводный карбас и выехали за сто верст на рыбную займку.

На колымчан это дезертирство исправника произвело впечатление гнетущее. Главное, вслед за исправником сбежал и помощник, и дежурные казаки, и писцы, — и тоже бросили бумаги и пуговицы. Полиция осталась как будто чумовая, запустелая.

Последним оставался престарелый Олесов Никола. Ему было семьдесят лет. По имени он звался совсем не Николай, а именно Никола, по святому Николе Мокрому, и имел серебряный крестик за выслугу лет. Он просидел три дня совершенно один, но оторопь взяла и его. И он ушел.

Дошло до того, что даже те грозные двери, куда колымчане ходили на поклон и носили посулы, стали заплетаться паутиной.

Городу, однако, нельзя было оставаться без власти. Была казенная пушнина, хлебный и соляной магазины, боевые припасы, да мало ли что.

«Как бы не ответить за это», — подумал Колымск.

И как-то само собой составилось новое колымское правительство, деловое и нейтральное.

---

<sup>1)</sup> Цинциннат — римский диктатор, покинувший власть для того, чтобы пахать землю на собственном участке.

Оно составилось тоже из чиновников, но преимущественно из опальных, отставных, отстраненных от власти, — за что? Разумеется за взятки, воровство и так далее. Они состояли многие годы под судом. Но как только ушло настоящее начальство, эти подсудимые его заместили по праву.

Они себя называли: «Народное правительство» — почему же народное? Очевидно неопределенный дух демократизма, даже при отсутствии вестей, как-то сообщился с юга на Колыму.

Возглавляли это правительство два отставных подсудимых. Трепандин, бывший заседатель, отданный некогда под суд, но отказавшийся ехать в Якутск на разбирательство. Судили его заочно, приговорили к лишению прав состояния и к ссылке на поселение в отдаленнейшие места Восточной Сибири. Но так как достать его из Колымска не удалось, то ему и назначили ссылку в этом самом Колымске. Колымск без сомнения и был отдаленнейшим местом Восточной Сибири.

Был он человек пожилой, зажиточный и по-своему весьма уважаемый в городе.

Другой отставной подсудимый был Бережнев Екимша, иначе Екимша Качконок из девичьей семьи, не лучше, чем девки Щербатых. Корень этой семьи пошел от бабушки Катьки. И оттого эту ветвь Бережневых звали Качконки, Катериничи, Бережневы, Бережные, на Колыме, — очень ветвистый корень. Есть Бережневы Ростошры и Бережневы Лапкины и Бережневы Брехуны. Но Бережневых Качконков стали отличать особо. Екимшу всегда называли вместо батюшки по матушке: Еким Катеринич Бережной. Насколько Трепандин был маленький, тощий, корявый, с якутской редкой бородкой, настолько Еким Катеринич был высокий, бе-

лявый, сырой, весь слепленный из славянского белого недопеченного теста. Он был казачьим командиром и под суд угодил за растрату казачьей муки. Растрату произвел в Верхоянске, а в Колымск сбежал, как в убежище преступников.

Знамя восстания против этого странного правительства поднял макарьевский батрак, Митька Ребров.

## VIII

Митька Ребров писался «из Якутского рода», но в отличие от других колымчан по-якутски говорил плохо. У него были светлые волосы и ужасные монгольские широченные скулы. Был он здоровый, плечистый, работал за двоих. А если устанет, закладывал за щеку черную жвачку из накипи табачной, выскребленной из его же собственного трубочного мундштука. Накипь была горькая, как желчь, и на жвачку годилась отлично. От нее пропадала усталость, как от крепкого вина.

Митька собственного хозяйства не заводил и с детства ходил в батраках у того же Макарьева. Получал он одиннадцать рублей на макарьевском чае и табаке. Пища на Колыме не считается. Жалованье Митькино было, собственно, двенадцать рублей, но Макарьев считывал рубль.

— Уж очень беспощадно изводишь табачишко, — говорил он в объяснение.

Митька помалкивал, и если в промежутках работы добудет какую лисицу или песца, сдавал их тому же хозяину. Плату выбирал портяным, т. е. тканями, из которых, как известно, шьют порты, и готовой меховой одеждой. У него были рубахи из серого сатина, что на Колыме считается щегольством, варваретовая куртка, подбитая лисьими лапками. Варварет, т. е. плис, на



Колыме дорожке наилучшей лисицы-огневки. И так одевался Ребров лучше многих колымских казаков. Пил он крепко, раз в год, весною, когда приходил главный зимний караван. Но ума он не терял и даже настояще не пьянел.

Казаки задирали его:

— Почему задаешься, Димитрий, ходишь, например, в варварете, водку пьешь, а хозяйства своего не заводишь?

Но Митька отвечал рассудительно:

— На кой оно ляд, хозяйство? Худой снасти не люблю. Сети, например, с такими дырками, что пролезет медведь. А у хозяина ведется все первосортное, невод или сети, топор или, например, кочевник <sup>1)</sup>. Посуда у него небитая, сухари, юкола свежие. Можно промышлять. У нас вон и чашки все клеенные, хозявы-разявы. Чей невод всех больше ловит? — Макарьева купца. — А кто у Макарьева в первых загребщиках ходит? — Митька Ребров!

Митька был холост и семейства не имел, но он приспособил к макарьевскому неводустряпку Матрену Романцеву. У ней было бельмо на глазу, ностряпка она была отменная, в обоих рыбачьих направлениях, т. е. состряпает еду и выстряпает, вычистит рыбу на скользком рыбоделе, куда после промысла вываливают рыбу для обработки, разреза, посолки или развеса по шестам.

Так что и ели у Макарьева лучше, чем у казаков. Одним словом, по Некрасову:

У купца, у Самохвалова,  
живут люди не робеючи.  
Льют на кашу масло постное,  
словно воду, не жалеючи.

---

<sup>1)</sup> Большая лодка

И вдруг революция нарушила эту купецкую идиллию.

Макарьев был человек деловой и стал соображать. Шкуры, пушнина, сушенная рыба копятя в амбаре без всякого соображения. Чай и табак уходят, как вода из дырявого чайника.

А главное, стало Макарьеву страшно от соседей.

— Время не то! — учуял он нутром. — Пожалуй, растащут.

И он понемногу свернул свои промыслы. Три невода было у Макарьева, шесть человек батраков. Он выслал на займку свой особливый домашний невод с сыном Алешкой и с дочерью. А батрацкие свернул, батраков рассчитал. Для Митьки он сделал исключение.

— По двору пригодишься, — сказал он ему просто.

Митька ничего не сказал. И две недели ходил по двору, с топором в руках, отыскивая, что бы починить. Каждый колымчанин в своем роде и мореплаватель и плотник. Но на макарьевском дворе все было уделано, ухищено руками самого Митьки и чинить было нечего.

Две недели Митька провел в этом странном безработном состоянии, но больше не вытерпел. На третье воскресенье он взял из сундука красную хорошую лисицу и пошел к старику.

— Дай спирту на пол-лисицы! — попросил он мрачно.

— Сколько? — спросил Макарьев лаконически.

— Покал (т. е. чайный стакан).

— Покал — за целую лисицу! — предупредил старик, тем самым поднимая цену спирта вдвое. — И то для тебя.

— Давай, чорт с тобой! — ответил работник хозяину. — Да только не сыропленный.

«Рассыропливать» водку водой Макарьев не стал. Кстати и в этом выгодном, но ответственном деле, техника лежала на Реброве.

Получив свой стакан, Митька отлил с наперсток в крошечную склянку «для второго опохмелу», а все остальное влил сразу в свое широчайшее горло. Подержал спирт во рту и словно пожевал, потом проглотил, не поморщился. А спирт был, как огонь. Но колымчане, когда можно, спирт не разводят водой и пьют сразу, чтоб лучше забрало.

День был летний, совсем бесконечный, в сущности, месяц, не день. Незакатное солнце скиталось по небу, не зная, куда ему деться. И так же скитался Ребров по кущеческому загороду, не зная, куда деться. Тогда Митька Ребров задурил, забурлил, первый раз в жизни. Гнев ударил ему в голову, пуще вина.

Он взял камень и бросил в окно макарьевской пристройки, где были кухня и батрацкая. Посыпались стекла. У Макарьева, в отличие от прочих соседей, даже на кухне было настоящее стекло.

Выбежала на крыльцо старая Макарьиха, черная, сухая, как жердь. Митька по обычаю приветствовал ее импровизированной песней собственного сочинения:

Как макарьевски невестки  
обгорели головешки.  
Как Макарьиха сама  
обгорела головня.

В Колымске молодежь и всякие «дерзители» бузу заводили всегда в поэтической форме. Таков был обычай, идущий от древности.

Другая женская голова попыталась высунуться в окошко. Но окошко, даже разбитое, было для этого слишком узко.

— Ага, Катька! — сказал Митька с злым смехом. — Заманиваешь? Врешь. Ничего тебе не будет... На вот! — И он сделал рукой недвусмысленный жест.

Голоса отшатнулась от окна. Митька проводил ее новой сатирической песней:

Катерина, ой, малина,  
завороченная глина.  
Она вышла на порог  
и набила себе рог.

— Выйди, выйди! Я тебе рог поставлю, — прибавил он в виде пояснения.

Катерина была старшая дочь Макарьева, широкая и толстая и мятая, — действительно, как глина. Она вдовела лет пять, и одно время старики ладили ее спарить с Митькой. Но Митька был однолюб. К тому же он знал: Катька за Мотьку никак не состряпает.

На крик и пение вышел сам хозяин.

— Чего ты, бес? — спросил он с некоторым недоумением. Митька вообще не пьянел и не буянил.

— Сам ты бес! — отвечивал Митька. — На кой ты мне сдался? Уходи!..

— Сам уходи! — рассердился Макарьев. — Я хозяин.

— Хозяин! — передразнил Митька. — Хозявы-раззявы-халявы-гнилявы, — посыпал он рифмами. — Ежели ты хозяин, то где твое неводное хозяйство?

— С жиру сбесился, — вставил Макарьев все с тем же недоумением. — Разжирел на нашей сладкой юколе!..

— Так где же твоя юкола? — рывкнул запальчиво Ребров. — Не промышляем ее! С вашей сладкой юколы уйду на свою гнилую хачиру.

Хачира — это сушеная рыба низшего качества, пища ездовых собак и бедняков.

— Мотька, а Мотька!

Он свистнул, как будто собаке. Из-за перегородки показалась третья бабья голова.

— Сколько бабов, — язвительно сказал Митька, — а стряпать нечего. Мотька, пойдём!..

Так совершилось на Колыме восстание первого батрака против первого хозяина.

## IX

Митька и Мотька приютились на Голодном Конце у безносого Кириши Токарева. И на другой день по Голодному Концу поползла удивительная весть.

Митька созывает колымских в полицию на митинг. Всех созывает вообще, казаков и мещан, якутов и всякого народу.

— А чего это митин? — спрашивали не только на Голодном Конце, но и в богатом углу, вблизи полицейского дома.

И знающие люди объясняли:

— Митька созывает — потому оно митин.

В полдень полицейская усадьба переполнилась народом. Места в избе нехватало, люди толпились на улице. С тех пор, как стоит Колымск, это было первое народное вече. Даже в церкви на Пасху ни разу не сходились столько.

Исправницкий зальчик, в котором некогда веселье ноги кавалеров и дам откалывали лихо вальс-казак и ланцу (лансье), был набит битком. Колымчане следили друг за другом с некоторым изумлением. Откуда взялось столько? В городе было восемь десятков домов и населения пять сотен, не больше. К тому же средние люди по достатку и по возрасту и даже молодняк постарше были на дальних тонях. В городе остались

старые да малые, нищие, больные, бедняки. Остались и купцы, неотступно сторожившие спрятанное добро. Были якуты из ближайших поселков, которые тщетно старались достать хоть осьмушку кирпича. Чайный кирпич резали на восемь частей и за осьмушку брали по два горносталя, и то в виде милости.

Бабы, старухи и мальчишки переполняли митинг. Группа подростков с Викешей во главе, это зерно будущего комсомола, протолкались вперед и жадными глазами смотрели на зеленое сукно, покрывавшее казенный стол, широкий и пузатый.

Старухи теснились значительной плотной группой. На сборище вообще замечалось расслоение участников по разным признакам, по возрасту, по полу, по богатству, по городским концам и даже, наконец, по болезням.

Сифилитики, «больничные» и «вольные», держались особо.

Колымчане вообще к сифилису относятся терпимо: «Больного не кори! Бог накажет и рога привяжет».

Но эти были ужасны. У них приходилось на восемь человек всего два с половиной невыданных носа. Больничные совсем потемнели и засохли от голода. С начала разрухи их кормили недостаточно и скудно, хуже, чем упряжных собак.

Только прокаженных нехватало. Их панически боялись и им не позволяли выходить из больницы на свет.

Зальчик состоял из двух половин, соединенных аркой. А по самой середине была ступенька предательского свойства. Эта ступенька представляла удобство для официальных приемов, поднимая начальство над толпой обывателей, как будто на эстраде. Но во время танцев она была камнем преткновения для самых бой-

ких пар и не раз подставляла им подножку и валила их на земь в самом живописном и разливчатом юлентце.

Спереди были поставлены скамьи. Задние стояли.

Маленький Трепандин и тяжелый Еким Катеринич сидели за столом на эстраде, изображая правительство. Они чувствовали себя не особенно уверенно, особенно старый Трепандин. Узенькие глазки его все время перебегали по странной колымской толпе. И, правда, в толпе понемногу поднялся ропот, сперва смутный, а потом совершенно явственный.

— Мука!

Овдя Чагина, корявая, язвительная баба, напомнила Екимше командиру о сомнительных прошлых делах.

Действительно, вышло неловко: сторожами при казенном имуществе стали заведомые, патентованные казнокрады.

Арсений Дауров, жилистый, косматый старик в ровдужной <sup>1)</sup> куртке и дырявых тюленьих обутках, не стал больше сдерживаться.

— Клади булаву! — крикнул он хриплым басом. Неизвестно откуда и как он откошал в глубине своей памяти этот прадедовский старо-казацкий призыв.

— Какую булаву? — спросил Катеринич испуганно.

Митька протолкался вперед и уверенно влез на эстраду.

— Вот что, — сказал он решительно, — печать положи!

Трепандин беспрекословно вынул из кармана казенную печать и положил на стол.

— Казну и товары опосля сдадите. А теперь пошли отседова к матери!..

---

<sup>1)</sup> Ровдуга — местная замша.

Толстый Екимша замылся.

— А этого хошь?

Митька с какой-то особой веселой готовностью под-  
сунул к Екимшину носу свой жилистый темный кулак.

— Тоже сторожа... Прочь, гады!

— Объявляю, открываю этот митинг!.. Слушайте  
меня, старики!!..

Это было обращение традиционное, но не вполне  
уместное. В переднем ряду толкались мальчишки, без-  
усые, с веселыми глазами, ничуть не похожие на  
стариков.

— Горожана!

Это был более понятный вариант еще непонятного  
нового слова «граждане».

— Как будем жить сей год? Рыбы недолов. В сети  
корова пролезет. Купить-продать нечего. Сами не  
пьем <sup>1)</sup> и не курим. Как будем жить?

Митьке в ответ раздались вздохи старух, пере-  
шедшие в всхлипывания. Тяжко горожанам было  
жить без пойла и без курева. И вздохи сгустились  
и стал буйный ропот, родивший единственное слово:  
«Табаку!»

— Трубки искрошили под курево! Табачные дощечки  
искоблили. Табаку, табаку!

Весь митинг повторял это единое слово. Сифили-  
тики, иссохшие от голода, выпамкивали тоже своими  
изуродованными ртами: «Табаку!»

Это было, как в древней сказке про заморскую тор-  
говлю на далеких островах в океане, где все живое,  
и люди, и духи, и невидимые призраки, и ветер в обла-  
ках, и рыбы в подводных глубинах, зывали к подъез-  
жающему гостю: «Табаку, табаку!»

---

<sup>1)</sup> Не пьем — чаю.



— Пальцы ли нам зажигать да курить? — вопили старухи. — Другие вон курят!..

Костлявая Чагина вскочила и уставила длинный прямой обличающий палец в левый угол. Там на передней скамье сидело семь человек, степенных и гладких, задумчивых и молчаливых. То были колымские торговцы — «большие люди».

Сидевший с краю Ковынин, маленький, рыжий, сухой, повязанный бабьим платком, ответил Овде злым и испуганным взглядом. Палец ее выдавался вперед, как копые.

— Шаманка проклятая, — визгнул Ковынин голосом тонким, совсем как у старухи. — Колотье наводишь на меня. Чтоб ты сама усохла.

Русские на Колыме имели своих шаманов, не хуже, чем туземцы. И каждый шаман мог напустить болезнь и колотье не только на человека, но даже и на духа. Выставленный палец обращался в копые и насквозь пронзал обреченного незримым острием.

— Ты, небось, куришь! — кричала неугомонная Овдя. Другие старухи тоже вскочили и уставили в левый угол такие же костлявые обличительные пальцы. Это, действительно, было похоже на шаманское заклинание.

— Курите, пьете (чай)! Жирок лопаете! Все у вас есть! — визжали они иступленно.

— Слышите, обчество! Они нашу жизнь спрятали, смерть нашу выпустить хотят. Кровососы, людоеды.

Направо мужики с Голодного Кюнда завопили густыми голосами:

— Гады, воры!

Напротив одутловатый сифилитик успокаивал толпу: «Буде, буде!» Выходило у него гнусаво, на м, так что нельзя и напечатать.

Митька схватил шумовку, лежавшую на столе, в виде дирижерского жезла. Ее прихватила Матрена. Она стряпала в своем жалком очаге кашу из древесной заболони. Если хорошо уварить это свежее дерево, то глотать ничего, можно. Только надо постоянно мешать мутовкой и шумовкой, чтоб варево не пригорело.

Как Митька ее кликнул, Мотька успела отставить котел от огня, а шумовку впопыхах прихватила с собой и, не зная куда девать ее, положила на стол перед Митькой.

Теперь она ему пришлась кстати. Он схватил ее за деревянный хвост и стукнул по столу. Головка отломилась и с треском отлетела вперед на толпу, как будто граната.

— Тихо! — крикнул Митька. — Слушайте.

Крики затихли. Все ожидали, что скажет Митька. Но Митька только повторил:

— Слушайте, тихо!

— К вам говорю, купцы! — пояснил он, наконец, тыкая влево своим обломанным жезлом.

— Слышите вы, как общество плачет? Объели вы его и опшили. Слушайте и думайте.

У старого Даурова в его неистощимой исторической памяти проснулось другое впечатление: вместо атамана с булавой — посадский голова с мошнэй.

— От стариков слышал, — сказал он туманно, — случилось, беда, — купцы помогали обществу, кто сколько.

Настало тягостное неловкое молчание. Так, должно быть, было в нижегородской сборне, когда Минин Сухорук призывал торговцев к пожертвованиям, а они пыжились и пыхтели и никто не хотел выступить первым.

Карамзин, как известно, утверждает, что будто купцы кричали: «Заложим жен и детей и выкудим оте-

чество!» Но ведь это легенда, парад. На деле, очевидно, и в Нижнем на Волге было не лучше, чем в Среднем на реке Колыме.

Все глаза, как по уговору, уставились в Макарьева. Он был купеческий козел-коновод.

— Даю, жертвую! — проговорил Макарьев отрывисто.

«Сколько? — мелькнул мучительный вопрос в уме. — Мало нельзя. Время такое, побьют. А много, так еще страшнее. Скажут: взаправду, кровосос. Вот сколько припрятал добра».

-- От последнего даю! Табаку десять (папуш), чаю пятнадцать (кирпичей). Платки, сахарок...

Общество молчало. Он как раз угодил. Дал мало, всего рублей на шестьдесят, но как раз столько, чтоб общество не взбесилось от злости.

Соседи его тоже молчали.

— Поддержите коммерцию! — обратился он с кривою усмешкой в сторону Ковынина. — Не я один.

— Тоже даю! — сказал один, потом другой. — Чай десять, табак пять, платки десять.

Торговцы выкрикивали названия и цифры колымской торговой валюты.

Лица у общественных стали разглаживаться.

— Покурим, — сказала Чагина с лихорадочной веселостью и облизнула губы.

Табаку и чаю в общем собралось достаточно.

— Постойте, — перебил эту радость настойчивый Митька.

— Старухи, старики, послушайте, что я вам скажу. Не нас надо пожалеть, наших маленьких деток. Голодные будут сидеть. Не нам пить и не нам курить... В чукчи надо ехать, оленей колоть, мяска натаскать. Вот, что я скажу.

— Ах! — заревели старухи. Обещанное угощение только показалось и уже угрожало уйти от ртов и носов.

— Стыд поимейте, — уговаривал Митька. — Дети наши — самое, что есть дорогое. Опустеют дома наши. Кого будем кормить? Для кого будем жить? Подумайте, общество!

Он задел у общественных самые чувствительные струны. Дети на Колыме ценились дороже всего, даже дороже питья и курева. Мерли ребята, как мухи. Были постоянно бездетные бабы и бездетные дома. И население с трудом держалось на прежнем уровне и давно перестало расти. Тем более чуткий инстинкт повелевал хранить эти скудные, быстро гаснущие человеческие искры.

Старухи заплакали в голос.

— Бери, отдаем! Твоя правда, бери! Для маленьких, для внуков, для детей!

Митька махнул жезлом и общество опять замолчало.

— Слушайте, общество, что я скажу: с той капелькой, что дали эти жили, разве поедешь к чукчам? На смех да на стыд... Однодневно собак не прокормишь.

— Слушайте, купцы. Я буду говорить. По общественной раскладке приходится с тебя, Макарьев, табаку сума, чаю место, жидкой ведро, платков сотня, сахару голова, — высчитывал он безжалостно.

Купцы ахнули и взвыли. Сума — три пуда табаку, место — пятьдесят кирпичей чаю. И даже, о горе и ужас, целое ведро жидкого золота, спирту. Это была контрибуция неслыханная и нестерпимая. Но Митька громовым голосом заглушал галдеж и гам, выкрикивая страшные цифры.

— С Ковынина пуд табаку, чаю полместа, жидкой полведра.

— Не дадим! — взлаял Макарьев, — столько не дадим! Облопааетесь, черти!

— Компания, иди! — сказал он по-казацки, обращаясь к товарищам.

— Пойдите, — сказал спокойно Митька. — У нас тоже есть компания. — Ребята, вперед!

Вышли вперед восемь мальчишек подростков и с ними шесть девочек. Тут были Викаша, Андрей и другие. Они до сих пор сидели смиренно, и на них никто не обращал внимания. Но теперь они сразу вышли вперед и стукнули об пол прикладами. И общественники увидели с удивлением, что у них были ружья, правда, не у всех, а только у четверых. Ружья эти были казацкие, брошенные служилыми казаками в сборне. В самый час митинга мальчишки заглянули на сборню и разобрали ружья, лежавшие совсем на виду.

— Слушайте, воронья охрана, — сказал Митька чуть насмешливо. — Присмотрите за этими гадами, чтоб, как общество сказала, так было сделано.

— Мальчишков натравливать на нас! — кричал Макарьев вне себя. — Кто они таки, недопески!

— А ты пес! — подал свой голос впервые Викаша Казаченок.

Недопески — молодые, не дошлые песцы. Песцы бывают вольные, а псы ездовые в ошейниках. Друг против друга выступали здесь две близкие, но враждебные породы.

— Ратуйте, кто в бога верует! — закричал неожиданно Макарьев.

Общественные засмеялись.

— Не любишь, — сказал Митька язвительно. — Ничего, слюбится.

Лицо Макарьева замкнулось и стало упрямо.

— Столько у меня нету, — сказал он твердо. — Хоть режьте меня.

— Ничего, мы найдем, — успокаивал его Митька. — Я знаю, где ты прячешь, — прибавил он значительно.

— Слухай, воронья охрана! Завтра поутру зайдите, да взыщите. Вот с него первого. Товару не дадут, тащите самих. Мы их самих повезем до чукоч и поколем на мясо.

— Теперь ступайте отсель! — спокойно и жестко предложил он купцам.

Так кончился на Колыме первый митинг. «Сбор Митин», — как называли его потом в рассказах и песнях. Ибо местные поэты тотчас же сложили песню об этом бурливом и памятном сборище.

Придите вы на митину,  
богаты мужики!  
А я из вас повытяну  
Чай да табаки!

Открылся на Колыме Октябрь в июле 1918 года.

## X

Рано поутру в стеклянное окошко полицейского дома постучала торопливая рука торговца Макарьева. За стеклом показалась широкая рожа Дмитрия Реброва, вчерашнего батрака, а ныне, пожалуй, колымского диктатора. Он, кстати, и домой не ушел в свою закоптелую хибарку на Голодном Конце, а остался в квартире исправника вместе со своей «очелинкой» Матреной. Запасов у исправника не было, жрать было нечего, но постель оставалась такая же барская, как была и в прежние дни.

Итак, они легли на это господское ложе. Митька заменил его высокородие, а одна очелинка Матрена заменила другую очелинку, барскую барыню, Палагу.

Митька ответил Макарьеву на стук стуком и махнул рукой, что означало с очевидностью: «Сейчас выйду».

Через минуту он показался у ворот. Был он в исправничьем кителе с ясными пуговицами вместо своей варваретовой куртки, но голову покрыл не форменной фуражкой, а тем же старым меховым шлыком. Штанов на нем не было вовсе. Митька, таким образом, с первого дня переворота явился санкюлотом <sup>1)</sup>.

В качестве зачинщика Митька открыл на Колыме тот своеобразный водевиль с переодеванием, который всегда сопровождает революцию. На Колыме этот водевиль начался с первого дня. Лишней одежды на Колыме мало, каждый казачий мундир или яркая пуговица имеют свою цену. На худой конец их можно обменивать ламутам или чукчам за шкуры и за мясо.

— Что рано? — спросил Митька раннего гостя. — Заказы принес?

— Забрали! — прокаркал Макарьев каким-то заданным голосом. — Эти кулюганы твои, недопески или как...

— Так ведь я им велел, — спокойно возразил Митька.

— Да они не тебе повезли! — задыхался Макарьев. — Взяли, потащили через мост на Голодный Конец.

— Зачем на Голодный Конец? — недоумевающе спросил Ребров.

---

<sup>1)</sup> Санкюлот — буквально «беспштанник», «голодранец». Французские революционеры во время великой революции называли себя санкюлотами.

— Маленький, не понимаешь! — с горькой насмешкой сказал Макарьев. — Жидкую тоже, табачок... «Погуляем!» — говорят.

— Фью! — Митька от удивления даже свистнул. Потом помолчал, засмеялся и сказал:

— Эка, елова голова.

Это было самообращение. Митька разговаривал с Митькой. Он даже ладошкой похлопал по собственному лбу для пущей наглядности.

И как это он проворонил и сам не догадался наперед. Нет, видно, устраивать бунт — дело трудное. И ему приходилось еще многому учиться.

Ребров отвернулся и вошел обратно в полицию. Через минуту он вернулся. Он надел свою варваретовую куртку и подпоясался блестящей полицейской португеей с тяжелой исправничьей саблей. Штанов же на нем попрежнему не было.

— Дашь и еще! — сказал он, возобновляя прерванный разговор. — Мы тебе устроим такую мирики... рикими... микиризацию.

— Какую еще микиризацию? — спросил с беспокойством Макарьев.

— Ми-ки-ри-зи-ру-ем тебя! — отчетливо, слог по слогу, произнес Ребров.

— Я и так Макарьев, — обиженно сказал купец, — почто меня макаризировать?

Митька, как заправский зачинатель, переделал для колымской практики великое слово «реквизиция».

«Макаризировать» Макарьева — это было естественно и даже благозвучно. Кстати сказать, новое слово и действие привились на Колыме с большой быстротой: макаризация купцов. Там и поднесь говорят: «макаризировать», «макаризнуть», но ныне уж только говорят и больше не делают.



— Не дам, вот бог, — забожился Макарьев.

— А в угарную хошь?

На Колыме, как сказано, холодной не было. Но для экстренных случаев в караулке у Луковцева был такой узкий холодный чулан с огромною русской печкой. Сочетание было престранное. Печь была больше комнаты. Но при этом ее никогда не топили. Она была полуразрушена, дымила и угарила. В этот чулан запирали, кого надо, и тогда затапливали печь и тотчас закрывали ее с огромным угаром. Угарного чулана особенно боялись чукчи, непривычные к клеткам.

Макарьев упрямо крутил головой.

— Ну, пойдем, — предложил коротко Ребров. — Где эти мальчишки проклятые? — Он нахмурился. — Вот я их погуляю! Так их...

— Черти проклятые, — сказал он, широко ослабившись, — идем, ну!..

У Макарьева сердце упало. Утренняя встреча с недопесками не была особенно приятна. Они стучали об землю прикладами так близко от макарьевских черных обутков с их щегольской оторочкой, даже задевали обутки по острым носам. Колымская обувь мягкая и от удара ничуть не защищает.

— Чорт с ними, — сказал он отрывисто, — я лучше домой пойду!..

— А ты лучше с нами пойди, — уговаривал Митька. — Все равно не спрятаться тебе! Иди, — может, и ты погуляешь. Может, угостят... Так иху...

Он не докончил ругательства и опять засмеялся.

— Бык ты! Буде упираться! Идем, угощу! — пригласил он его прямо и по-своему великодушно, бесцеремонно взял под руку своего бывшего хозяина и повел через мост.

— Эка гудуть! — сказал Макарьев, качая головой. — Мертвых разбудят.

Пирование действительно шло на поляне между Голодным Концом и церковью, и почетные покойники, лежавшие у церкви, могли бы при желании привстать и попросить стаканчик прямо из могилы. Шуму было много. Тренькали балалайки, визжали самодельные скрипки, со смычками из якутского конского белого волоса, даже ухал тяжелый шаманский бубен. Нехватало только церковного колокола.

Бубен притащили от старого Савки Хумулана, якута, которого протоиерей Краснов выселил из Олбута в город по подозрению в шаманстве. Олбутские якуты были, провожая шамана. Он был их собственный поселковый шаман. Когда-то безродный сирота, о чем говорило его прозвище Хумулан — «иждивенец», — он постепенно занял положение советчика, знахаря, врача.

— Зачем забираешь наше счастье, — укоряли попа якуты, — мало тебе своего?

Они предложили ему выкуп за Савку, припрягли к его санкам двух молодых коньков, жеребца и кобылку. Поп коней взял, даже благословил (плодиться будут) и по обычаю оставил их тут же на Олбуте у старосты в стаде. А Савку все же взял с собой.

Савка ничего не сказал, остался в городе, выписал жену и детей и, разумеется, бубен и шаманский кафтан и рогато-оленную шапку, и стал продолжать свою практику. Он словно повысился в чине и значения. Из шамана поселкового стал кудесником общеулусным, даже общеколымским.

«Якутский протопоп!» — называли его русские. Они охотно лечились у Савкиных чертей, при звуках тяжелого бубна, под бряканье железной бахрамы, когда Савка плясал у огня в кафтане и рогах, и даже прото-

поп настоящий, православный иерей, тот же самый отец Алексей Краснов, в январе заведужив, после доктора послал и за Савкой и попросил его отслужить ему «молебен по-черному».

Правду говорили якуты, что отец Алексей отнял у них Савку для собственного счастья.

Савка, однако, попов ненавидел, и церкви, и иконы. Скорее, пожалуй, как соперников. И теперь он зачужд новое и пошел в открытую. Сам он на площадь не вышел, был он стар и к тому же слегка парализчен. Но его старший внук, парень разбитной и веселый, водивший знакомство с Вижешинной командой, как только затрещали балалайки, утащил у деда его музыку и вытащил на улицу.

Пир шел на весь мир. Все люди были тут, даже больные и расслабленные. Одну старуху принесли на ковре и положили у костра. Костер горел широко и ярко, на длинных жердях висело десятка полтора огромнейших чайников. Сума с табаком зияла распахнутым устьем. Все трубки дымились, пожалуй, штук пятьсот. Табачное сизое облако клубилось до церкви и кладбища. Здесь любящие дети курили на могилках, «накуривали» покойников, стараясь и им уделить частицу от общего праздника.

Но центром всеобщего внимания была, разумеется, «жидкая». Ведро спирту влили в большую сорокаведерную бочку, на кованых обручах, и дополнили водой, правда, не доверху, а всего ведер пять — чтоб хватило на всех. Вышла и вправду «жидкая» — градусов 15—18, но это было не важно. Пьянка на севере не только техническое действие по формуле: «перегоняю водку из бутылки в глотку», — а скорее внушение. Пьют (если есть) неразведенный спирт и даже не пьянеют. Но могут пить простые ополоски и тут же захмелеть.

Притом же захмелеть, запататься и даже упасть считается шиком и светскою грацией. Иной и не хмелен ничуть, а качается нарочно: глядите, как я накачался. По улице выводит кренделя и сам собою любителю больше людей.

У бочки стоял виночерпием маленький Пака. Бочка была повыше его самого, но он взобрался на пень и царил над толпой, как волшебник или гном. В руке у него был железный уполовник с длиннейшей ручкой, каким снимают пену при выварке жиру. Жир варят в челноках раскаленными камнями и камни подхватывают из костра все тем же уполовником. Оттого ручка должна быть длинная. Пака запускал свою длинную цедилку в глубину и потом подносил ее жаждущим прямо ко рту. Они были, как дети, а он раздавал им лекарство волшебною ложкой.

На лужайке плясали в кругу, не видно было, кто. Только тренькала и пилила музыка. Зрители хлопали в ладоши и пели:

Ах, моя дудочка,  
серебряна юпочка!  
Куды, дудка, ходила,  
юшку замочила...

## XI

Увидев столь беспашашный разгул, Митька рассвирепел сразу до беспамяетства. На него иногда находили такие припадки. Тогда он бросался на обидчика с ножом, с топором. Люди говорили, что так на него напущено. Разговорить его умела только Мотька очелинка, которою в другое время он помыкал, как рабынею. Припадки у Митьки были редкие, раз в два года. Революция, однако, еще более редкий припадок.

Она случается однажды в столетие. Естественно, что одна редкость вызвала другую.

— Так вы бунтовать! — крикнул Митька яростно на всю площадь. — Я вас научу!

Он вытащил пашку из ножен и стал наступать на Паку с его бочкой, черпалкой и другими атрибутами.

Публика в ужасе шарахнулась. Митька был похож на старого исправника, не того, убежавшего недавно, а другого, что был перед ним и умер на Колыме от удара. Тот был во хмелю буен и в летнее время, бывало, напьется и бегаёт по городу, с пашкой наголо, сам тоже совершенно голый.

Даже Пака, бесстрашный обличитель исправников, на этот раз струхнул, соскочил с пня и уронил уполковник в бочку. Не зная, куда деться, Пака спрятался за бочку и выглядывал оттуда, словно они собирались играть в пятнашки или жмурки.

Митька шел вперед, а люди бежали с дороги. Только остался один Викеша Русак.

Он стоял и присматривал за сумой с табаком. В руке у него был деревянный бичик с костяным наконечником, каким погоняют оленей. Аленка подошла, запустила руку в суму. Викеша ждал. Она порылась в табаке, отщипнула от папуши сверток прессованных листов и вытащила вон.

Была она повязана алым платочком из «макаризированных» запасов. В толпе повсюду мелькали алые головы, как крупные дикие маки.

Аленка потащила табак.

— Брось! — сказал Викеша и легонько ударил ее бичиком по пальцам. Сверток упал обратно.

— Растаскивать нету закона! — сурово объяснил Викеша. — Здесь раскуривайте.

— Да я бабушке, — попросила Аленка.

— Которой такой? Все бабушки тоже пришли.

— Такой, старенькой! — тянула Аленка. — Твоей бабке Натахе! — выпалила она и стрекнула от сумы.

Натаха, действительно, одна из немногих не явилась на пир. За несколько лет Натаха совсем одряхла, согнулась в три погибели, не ела, не пила и все бормотала что-то невразумительное.

Викеша помолчал.

— Пускай и Натаха придет, — сказал он решительно. — Такой день, пускай до последнего идут.

В это время стал подходить Митька с его сверкающей шашкой.

— Ты чего? — сказал он негромко и зловеще, подходя к мальчику вплотную. Он понимал, что весь этот праздник прежде всего Викешина затея.

— А ты чего? — отозвался Викеша, ничуть не отклоняя головы.

— Вот это у меня! — Митька взмахнул своим полицейским сверкающим мечом.

— А это у меня! — Викеша взмахнул своим тоненьким гибким бичом.

Оружие было не равное, да и Митькиной силы хватило бы на троих недопесков. Но Викеша надеялся на ловкость и внимательно следил за острым концом полицейского вертела Митьки.

Эта нелепая сцена окончилась бы кровопролитием, но явилась неожиданная выручка. Мягкая широкая рука легла сзади на Митькино плечо, стараясь повернуть его. Митька и сам повернулся, как уколотый. Увесистое женское тело качнулось вперед, прямо в его объятия. Он бросил шашку на землю, чтоб не поранить его. Это была Мотька, в полной нагрузке, пьяная и даже мокрая. Вот она куда выбралась до свету с мяг-

кой исправничьей постели. Митька заметил это поутру, но впопыхах совсем забыл. Мотька обхватила Митьку за плечи и расцеловала его в щеки и губы при всем честном народе.

— Митя, любовушка, — икала она, — орел сизокрылой. Праздник у нас, раз в год стервам праздник!

Она отшатнулась от Митьки и чуть не упала, но справилась и громко зашела:

Ты верей, верей,  
ты верешка,  
поддержи меня,  
бабу пьяную.

— Митя, любитель!..

Она схватилась за Митьку, вместо верей.

— Смотрите на глупого! — закричала она снова, указывая пальцем в «любителя». — Баба догадалась, а он не догадался! «Чукчам», говоришь, — передразнила она его. — Им курить, им пьяниться! А у нас разве души собачьи?.. Столько лет ждали!..

Бабы смотрели на нее с удивлением. Она выкурила трубку и выпила ложку. С чего тут опьянеть? Она опьянела от воздуха, от шуму, от огромной перемены. А, может быть, она притворялась пьяней, чем на деле.

— Орел сизокрылой! — кричала опять неумная Мотька. — Вот он, колымской орел! Слыхали, горожана: без Митьки, а что бы у вас вышло? Ура!..

«Горожана» набежали с различных сторон.

— Правда, ура!.. Митька Ребров! Без Митьки бы не было! Ура, Митька! Качать Митьку Реброва!

Его подхватили за руки и за ноги, и через минуту он взлетел высоко в воздухе. Раз, другой, третий.

— Бросьте, черти! — вопил он то сверху, вниз, то снизу вверх. — Душу вытряхнете.

— Ну, будя! — подтвердил Викеша. Неугомимые недопески, разумеется, старались над Митькой больше всех. Странно присмирившего, растрепанного Митьку поставили на ноги.

— Выпить Реброву! Покал Реброву!

Появился огромный, начищенный медный поднос, тоже, как видно, «макаризированный». На подносе одиноко и нелепо, посредине стоял пузатый хрустальный бокал с золотыми разводами. Солнце ударяло огненными стрелами из меди в стекло и отскакивало острыми зайчиками.

Поднос и бокал подносила на костлявых руках долговязая Овдя Чагина.

Это было, как феерия из «Сплошного зыка», — появление Стеньки Разина перед толпою восставших казаков.

— Пака, наливай!

Но у Митьки хватило простого и здравого смысла.

— Да что вы, черти! Что я вам «взаболь» <sup>1)</sup> исправник?.. Я атаман Пятаков из Колымских лесов. Иди-ка ты, старая, с покалом!.. Пака, дай ковшик!..

Он выпил ложку, потом сразу другую и явно захмелел.

Бился, рубился Иван Пятаков,  
он много полонил киселя с молоком,  
чашки и ложки, все под меч склонил,  
шаньги, пироги во полон полонил, —

запел Митька досельную колымскую былинку.

— Ну, шут с вами, гуляйте! — сказал он примитивным голосом.

— Постой, постой, еще одна грешная душа. Архид, сюда! — покликал Митька.

---

<sup>1)</sup> Вправду.



— Я здесь! — откликнулся Макарьев, довольно неожиданно, у самого Митькина локтя.

— Выпей, Архипка! Пака, ковшик! Пей, хозяин, свое, не покушное, — смеялся Ребров.

Макарьев выпил ковшик. Как опытный торговец и кабатчик, он лучше разбирается в напитках. Это не водка, не спирт, а, так сказать, вода с вином, вроде крепкого квасу.

О, диво! Макарьев тоже захмелел. Сегодня все пьянеют удивительно легко от Пакина чудесного лекарства.

## XII

Кругом полубочки-обреза, пустой, опрокинутой, похожей на огромный барабан, собралась воронья охрана. Все те же мальчишки, Егорши, и Мирши, и Савки, и девчонки, подголоски и помощницы, Дуки и Лики и Наки. А в центре опять-таки Викеша Русак. Он сидит на пне перед своим опрокинутым столом и перед ним, в диковину сказать, разостлана бумага. Правда, не новая бумага. Синий, исписанный лист из колымского архива. И можно прочитать:

«Ея імператорскаго величества самодержицы всероссийской, імператрицы Екатерины Вторья Нижнеколымскому частному командиру Александру Михайловичу в лето 1782 мая 15 дня Омотского родового старосты со сродниками.

Дойдя до самой совершенной крайности и не имея уж никакой надежды, так что уж третий день не вкушая никакой пищи, принужден прибегнуть начальственному призрению, будучи обоего полу в 27 душах».

Уже целый год, за неимением бумаги, вся Колыма нужнейшие дела пишет на архивных листах. Конечно, на обратной стороне, а то и на полях, как придется.

Любопытные старинные отписки XVIII века, написанные вязью, гусиным пером. Они называют губернатора — якутским воеводой, а писаря — подьячим и ерыгой, а отца протоиерея — черным колымским попом. И рассказывают они о поборах, платежах, ясаках, о жестоком изнуряющем голоде. Голод и ясак — это основное слово колымской старины.

Но до этой старины нет никому, никакого дела. Что недопескам история! Они сами делают историю.

Выпили по ложке недопески и легонько захмелели. Сегодня поречане хмелеют один за другим, и самые молчаливые начинают болтать языком.

Суматошный Пашутка Гагарленок кричит:

— Почто нас бранят недопесками, запишем себе новое имя, такое, чтоб бросилось в нос.

— Такое, чтоб комар носа не подточил! — предлагает Берестяный.

Оба «про нос» — и по-разному.

— А как нам писаться? — спрашивает Викеша солидно и покусывает карандаш.

— Партия — пиши!

Эта колымская «партия» — любимое казачье словечко. Такие казачьи слова: партия, компания, команда. Старые и новые слова. Колыма знает все новые слова, ни разу не слышавши.

«В ваших новых словах и лозунгах старина моя слышится», — могла бы сказать Колыма.

— Молодцами пиши! — предлагает Андрейка.

— Разбойники Брынских лесов! — настаивает Микша Берестяный.

— Думайте, ребята!

Это репинские запорожцы сочиняют не послание турецкому султану, а свой собственный список-реестр. Викентий стучит по бочке карандашом.

— А что думать? Мы кто есть, молодые? Давайте так и зваться и писаться «молодые».

Новый лозунг. Впрочем в то время не только Кольма, омолодилась огромная Россия, и в разных концах независимо смыкались союзы молодых.

— Ура, молодые! — кричат недопески кругом.

Как свадьбу празднуют.

Революция действительно похожа на огромную свадьбу, только венчаются такие молодые все больше со смертью.

Обвенчала нас сабля вострая,  
положила спать мать сыра земля.

— Выьем за здоровье молодых! — кричат, шебаршат недопески.

Все потянулись опять к винному источнику, к Паке. Но Пака пришел им навстречу.

От бочки до бочки.

Две бочки, одна с вином,  
другая пустая...

— Меня пиши в партию! — кричит в азарте Пака. — Мы тоже молодые.

Недопески смеются.

— Ты старая гагара, у нас молодой гагарленок.

Гагара хмурится на сына и грозит ему пальцем:

— Старая гагара... Ах, ты, сопляк! Старая, да чище молодого.

— Трех пишите, — молодые... Луковцев, иди!

Сзади надвигается фигура примечательная, Луковцев, сторож магазина, бессменный и летом и зимой.

Уже лет тридцать Луковцев стоит на посту. Исправники приходят и уходят, а Луковцев все тот же. Это настоящая опора колымского казенного хозяйства. Он тоже небольшой, однако не Паке чета. А главное, расплывчатый, вязкий, тугой, как сырая смола. Смола сырая — рыжая, и Луковцев рыжий. А лицо у него бабье, в морщинах и без всякой бороды и даже голова цо-бабьи повязана платком.

Луковцев не курит, а нюхает. Он только что смолот немного свежей «прошки» из праздничного дара и залустил себе в нос первую огромную понюшку. Он отвечает на приглашение Паки оглушительным чохом — апчки!

— Тьфу, будь здоров! — смеются молодые недосески.

— Нет, ты пиши, — настаивает Пака. — Ее пиши, она тоже молодая.

«Она» — это Луковцева баба, казачка, в отличие от мужа, сухая и плоская, как жердь. По росту она гренадерша, самая высокая баба по всей Колыме. Странная тройца. Луковцев старый старик, Пака помоложе, а баба гренадерша без возраста. Пака давно овдовел. Детей у него пятеро. А у Луковцева детей не бывало. Баба гренадерша обшивает и моет суматошных Гагарленков.

И так они трое живут. Про них говорят, что живут они в чукотском браке — два мужа, одна баба. И еще говорят — гренадерша таскает своего Паку в кармане.

— Я знаю, она молодая! — настаивает Пака.

Недосески смеются, галдят.

— Пиши, все одно. Старый, молодой... один умрет, другой родится, все в дело годится.

Так основался в Колымске «союз молодых», который потом, разумеется, стал комсомолом. Впрочем, и

здесь Колыма переделала по-своему южное имя и стала говорить: максолы, максуны. Максолы (и максолки) сближались с налиम्бей печенью — максой. Максуны — это рыба порода, обильная на Колыме.

### XIII

Пака в сущности не пьет, он подбирает из каждого ковшика последнюю капельку. Ковшиков много, и Пака навеселе. Он неожиданно становится в позицию, топает ножкой.

— Делай, — кричит он ухарским тоном, — шевелись, мертвые!

Опять составляется круг. Паке надо даму. Взрослую нельзя. Он слишком малорослый. Ему вталкивают в круг тоненькую девочку, Феньку Готовую. У ней белые волосы, как чистая кудель. Среди мешанной колымской русско-якутско-юкагирской крови все же попадает порой такая славянская отрыжка. На расстоянии Фенька кажется тоже седая, как Пака.

Ай, дуду, дуду, дуду,  
она села на леду.

Пака поет и пронзительно свищет. Никто не ожидал, что у такого маленького человека такой большой свист. Мало того, Пака пускается в присядку. Сначала идет хорошо, но потом, не рассчитав фигуры, он осуществляет слова своей собственной песни и садится не на лед, а на довольно влажный мох.

К ковшику прикладываются новые и новые люди.

— Вы тоже тут! — говорит с удивлением Макарьев. Тут вся Колыма. Купцы и дьячки и чиновники. Рыжий Ковынин, Олесов, в черной рубахе, но все-таки с крестиком. Оба попа, Краснов, протоиерей и священник

Кунавин, молодой с пышной бородкой и лукавыми глазами.

Выпивка — дело святое. Она на минуту свела чиновников, торговцев и бунтующую челядь. Впрочем, поречане еще не научились драться, они выпили вина революции, но крови пока не лизнули.

Макарьев глядит на Реброва с привычным дружелюбием. Тридцать лет он привык видеть вблизи себя эту кражистую ладную фигуру. Зато он глядит с неприязнью на двух своих товарищей купцов — Ковынина и Кешку Явловского.

— Лакаете мое! — кричит он с досадой. — Собаки! Свое, небссь, спрятали.

Митька смеется и машет рукой:

— Дай срок, все будет. Все ваше будет наше! — кричит он и скалит свои крепкие белые зубы.

Подходит Викаша и докладывает деловито:

— Чай цел, табаку полсумы... Прикажешь стащить в магазин?

Что можно, он сохранил для общества. Митька во второй раз махнул рукой.

— Еще найдем, — сказал он беспечно.

А Пака опять пляшет. С мокрым задом и мокрыми обутками он топчется на месте и громко припеваает:

Ах, ты, мать моя, Сидоровна,  
высоко ноги закидывала,  
Акулина позавидовала.

Отчаянный Пака!..

Свист, пляска, еще свист.

Ах, ты, Ванька, ты, Ванька Горюн,  
ты почто, Ванька, не женишься,  
ах, и что это за тяжкий грех,  
подымается рубашка наверх...

Неукротимый Пака!..

Вспыхивает удаль недопесков.

— Спляшем!

Микша Берестяный вскакивает в круг и лихо ударяет мохнатую папкою бзель. Его берестяные щеки алеют румянцем, нежным, как лист дикой розы. Губы его, как две ягоды дикой малины. Глаза выпуклые, влажные, как у юного тюленя лахтака. Картина, не парень. Он носится по кругу восьмерками и петлями, выбивая отчетливо дробь ладными подошвами своих нерпичьих сапог. Отчетливо плясать в мягкой обуви на зыбком моховище не особенно удобно.

— Викеша, иди!

Он манит товарища рукой, высовывая пальцы, как острые рога.

Викеша неожиданно сделал лосиную выходку, то есть прошелся по поляне, нагнув голову вперед и выкидывая ноги то влево, то вправо. Микша Берестяный последовал сзади. Они изображали охотника и лося. Так они сделали четыре проходки, две в одну сторону, две в другую.

Якуты, сидевшие группой в сторонке, пришли в неистовый восторг. Савка младший так стукнул кулаком по дедову бубну, что пробил его насквозь. Мипка Слепцов, все время сидевший молча, с суровым лицом, вырвал у него бубен, дернул, пробил головой и надел себе на шею, как новый воротник. Мипка с утра добыл себе бутылку настоящего спирту, выпил и ходил, как чумовой. Он был во хмелю молчалив, но тут его прорвало. С гиканьем, с криком, он пустился выплясывать вместе с русскими новую фигуру той же лосиной пляски. Он изображал самца соперника и шел прямо навстречу проворному Викеше, выставив бубен, как будто бы рога. Он тыкал его в грудь, отскакивал, заскакивал сзади, бесновался, храпел. Бубен разор-

вался и повис ему на плечи, потом опустился до пояса и скатился на землю. Но они, увлеченные пляской, топтали его ногами. Так старинный юкагирский лосиный пляс превратился в начало антишаманской пропаганды.

Викеша запыхался и стал.

— Веня, Викеша, иди-ко, бабушка пришла!

Натаха ползет по земле, нагибаясь так низко, будто совсем на четвереньках. Две девушки, Фенька и Аленка, пытаются вести ее, но она нетерпеливо отбрыкивается и отталкивает их палкой.

Так постепенно она доползает до бочки, берется руками за пень, приподнимается и становится на ноги.

— Что это, свадьба? — спрашивает она хрипло.

У бабушки Натахи в голове опять спуталось. Ей чудится, что это свадьба ее собственной дочери Дуки, и кругом не Середний Колымск, а заимка Веселая.

— А, здравствуй, Куропашка, — говорит она старому Паке.

Митрофан Куропашка, весельчанин, уж тоже на том свете, как и бедная Дука. Правда, и у Паки, как у Куропашки, красные глазки и сутулая спина.

— Бабушка, выпей!

Пака зачерпнул и поднес наполненную ложку, но бабка оттолкнула ее рукой.

— Викентий! — подозвала она.

Викеша подошел и нагнулся с беспокойством. В глазах у старухи было что-то неживое.

— Бабушка, хочешь курить? — сделал он следующее очередное предложение.

— Ух, хочу, — прохрипела старуха, — давай!

Она взяла трубку, совсем приготовленную и даже зажженную, и жадно затянулась раз, другой. Потом приподнялась выше, упираясь рукою о пень.



— Викентий, а где Дука? — сказала она неожиданно громко. — Покличь ее, скажи, Викеша плачет в зыбке.

У Викеша явилось в уме: она принимает своего внука за зятя и ему же о нем говорит, что он плачет в зыбке.

— Дука, Дука! — кликала бабка Натаха. — Куда ты ушла, на кого нас покинула? — То были слова печального призыва, как в минувшие черные годы. Бабка Натаха переживала поочереды сперва свадьбу дочери, а потом ее гибель.

Она встала во весь рост и стояла, опираясь на палку и придерживаясь рукой за пузатую винную бочку.

— Викентий Русак! — крикнула бабка Натаха. — Ты ее погубил, ты ее и выручи. Вот она летит, Викентий, слышишь? Летит, кричит... Ловите Ружейную Дуку! Дука, стой! Погоди!..

Бабка оторвала руку от бочки и шагнула вперед. Потом вынула из-за пояса свой старушечий нож и стала причитать: «Отрезаю молодца, чужого чуженина, Викентия, отрезаю от Дуки, от любви, от жалости, от сердца, от печени, от всего нашего рода, от всего нашего племени...»

Она хотела докончить свое старое оборванное закливание.

— Отрезаю Викентия Авилова! — крикнула еще раз Натаха и внезапно осунулась вниз и свернулась набок.

Бабушка Натаха на своих старых крыльях полетела вдогонку за летучей Ружейной Дукой.

#### XIV

Наученный опытом Митька молчал до сентября о купеческих товарах и о чукчах. Он понимал, что все макаринизированное уйдет так же непотребно, как пер-

вая партия. Он только сторожил купцов, чтоб они не вывезли товаров из-под его носа и не продали в якутский улус. Это была игра втемную. Купцы могли в конце концов оставить его с носом, но они слишком дорожились и дрожали над товаром и боялись покупателей. Они утешались надеждой, что, может быть, Митька передумал. Но как только стала река и напала пороша, Митька с недопесками сделали набег на купцов и на этот раз более безжалостный и более широкий. Они забрали, что нашли. Чай и табак, ситец и железо, сахар и «жидкую».

Чуть заря проехал по реке невиданный поезд, взобрался на угорье повыше городской черты, покатил по дороге на запад и стал выбираться на тундру. То были колымские собачники. Они ехали к чукчам за мясом, за оленями.

Впереди всех ехал Митька на доброй упряжке в двенадцать подобранных псов. Упряжка, разумеется, была макарьевская, но Митька сам подобрал и выездил ее, и теперь он, можно сказать, вступил в привычное владение. Чувствовал он себя особенно ловко, постукивал тормозной палкой о верхнюю дугу и ухаи и гикал на зубастых своих скакунов.

Он думал с удовольствием, что вот он и невод возьмет у Макарьева и выедет и будет ловить, как прежде. Главное, чтоб было хозяйство, работа, все полное, все первый сорт.

За Митькою ехал Михайло Слепцов, он же Михайло Якут тоже на чужих, макаризированных, собаках другого купца Шевелева.

Макаризация видимо ширилась и заражала все новые души.

Мишка был якутский, городской, без сена и скота, вдвойне презренный для русских богатых людей, как

бедняк и как низшая раса. Лицо у него было широкое. Скудные волосы на губе и на подбородке он искусно выщипывал маленькими медными щипчиками.

Русские мальчишки дразнили его: «Якут, печная заслонка». Положим, у них у самих лица были разве немного поуже; но Мишка тем больше злился.

Он был хорошо грамотный, в свое время научился у бывшего дьяка Колоскова, которому за его полную безносость протоиерей Краснов, родом из Иркутска, не знавший колымских обычаев, запретил участвовать в службе.

Михайло был человек сердитый. Перед самой революцией он зарезал человека за картежной игрой, правда, не до смерти, и ушел и скитался в лесах. Но теперь он явился опять, и в голову никому не пришло спрашивать с него за убийство.

Дальше ехали все недопески, воронья охрана, один за другим. Их было человек двенадцать. Нарты у них были собственные, а собак — у кого три или насилу пять. Но они не смущались ничуть и, как настоящие речные поскакунчики из досельной сказки, бежали по дороге, придерживаясь рукой за дугу и только изредка на спусках и раскатах вставая на полоз ногой. Такая езда была; как костоломка, но этому они научились еще с пятилетнего возраста и умели подлаживать собственные ноги к собачьим.

На большом отдалении двигались другие колымчане, растянувшись, как змей, разодранный на отдельные звенья. Митька запретил беднякам выезжать за ним на тундру, чтоб не очень испугать чукоч. Но они не могли удержаться и выехали после, стараясь все время держаться на расстоянии, чтоб не попасть под Митькин разнос. Чукотское мясо тянуло их, как некий

магнит. И даже слюни уже набегали при мысли о жире быков в два, три, четыре пальца толщиной.

Впереди этой жалкой и жадной команды держался, разумеется, неугомонный Пака. У него были две собаки, косматые и мелкие, как он сам. Они бежали мелкой трусцой, и Пака семенил рядом с ними. Все трое не торопились, лишь время от времени вынюхивали носом, стараясь поскорее уловить лакомый запах горелого жира от чукотских котлов и костров.

Чукчи держались далеко от Колымска, верст за полтора. Поречане ночевали на тундре, не евши, а утром поехали дальше. Поздно вечером собачники въехали в стойбище, большое, в шесть шатров.

Последние верст десять были по дороге, натопанной оленьим караваном. По этой затверделой дороге, взяв дух от уже недалекого стойбища, полудикие колымские собаки ожили, пошли рысью, потом даже галопом. Запах оленьего мяса, крови замороженной, прскисшей и подгнившей, опьянил одинаково голодных колымчан и их зубастую и жадную скотину.

Пака со своей командой, вопреки запрету Митьки, а, быть может, вопреки своей собственной воле, подтянулись за другими и въехали в стойбище десятком воющих голодных потягов.

Из переднего шатра, самого большого, бычачье-головного, как говорят чукчи, вышел старичок, сухонький, в камлейке — балахоне из красного сукна. Это был Тнеськан, довольно богатый оленщик. У него было до тысячи важенок <sup>1)</sup>. На веку своем он трижды разорялся. Два раза от хромой заразы и в третий — от жадности русских. Но страшное упорство

---

<sup>1)</sup> Важенка — самка.

и искусство старика опять успевали выращивать новую оленью пластину из жалкого остатка.

Он посмотрел на русских довольно неприветливо.

— Пришли вы, — сказал он в виде обычного приветствия Митьке Реброву, который привязывал заботливо свою упряжку на ремне между двух кудрявых лиственниц.

— А вы ушли, — сказал Митька, нимало не смущаясь.

Тнеськан кивнул головой.

— Олени ушли от собак, — сказал он двусмысленно. Чукчи вообще называли и русских и их лающих скот одинаково — собаками.

— Куда вы уйдете от нас? — отозвался Митька хладнокровно. — На западе есть тоже русские собаки.

Он был совершенно прав. Эти западные чукчи жили на русской и якутской земле и деться им было некуда. Когда они пятились от русских колымчан, они натыкались на русско-якутских индигирцев, не менее жадных к жирному оленьему мясу.

Чукча пожевал губами.

— Мы товар привезли, — сказал Митька.

— Ага!

— Табак... Чай... Воду...

Митька выговаривал по слову с большими промежутками. «Вода» — это, конечно, была «горькая вода», водка. О какой же другой воде могла идти речь?

— Ну, войдите, — предложил чукча.

— Пять — двадцать — шестьдесят, — окинул он взглядом упряжки и по пути пересчитал русских собак. — Бабы, кормите гостей!

На окрик хозяина из всех шатров словно посыпались женщины, в странной одежде, мохнатой, меховой, но с широкими рукавами и полураскрытой грудью,

и стали таскать мешки с обедками и летним гнилым мясом, чтоб кормить собак. Ведь это тоже были гости. Колымчане рубили мороженую кровь вместе с подгнившей оболочкой. Собаки грызли свои куски, задыхаясь от жадности. Пака нагнулся почти машинально и подобрал осколок «кислой», т. е. подгнившей печени, положил себе в рот и пожевал с наслаждением. Он не пробовал мяса уже с полгода, да и рыбы ел не досыта.

— Брось, не прогай! — крикнула чукчанка, внезапно задохнувшись от жалости. — Не тронь собачьего. В поллог<sup>1)</sup> заходите, накормим! Входите, друзья!

Священная формула чукотского гостеприимства была, наконец, произнесена. Должен был последовать пир, горячее мясо.

Из-за шатров показался пастух, несший на плечах только что заколотого оленя. В олене было пудов пять, но пастух шел так легко, как будто туша, облежавшая его шею, была только из меха, а не из мяса и костей. Был он совсем молодой, безусый, с румяными щеками. Шапки на нем не было, меховая рубаха без ворота, голая грудь виднелась даже из-под оленя. У него были густые брови и волосы на голове чуть курчавились.

— Рукват, скорей! — окрикнула его женщина. — Приезжие голодны.

Женщины ободрали оленя, стали хлопотать, варить, зажгли лампы, т. е. светлые плашки с пластинами оленьего сала. И через полчаса Митька и Мишка и еще коренастый казак Соболюков из партии Паки сидели в пологу у Тнеськана перед длинным корытом дымящейся оленины.

---

<sup>1)</sup> Полог — внутреннее спальное помещение чукотского шатра.

Пака отказался зайти в бычоголовый шатер, хотя его и звали. По завету чукотской демократии он зашел в самый задний шатер к бедной старушке и молча присел у порога. Потом покормился от обрезков, костей и ее худшей, сиротской, почти милостынной доли. Пака среди русских считался в захребетниках, в «задних» и «меньших людях», и ему казалось невместно водиться с «большими людьми», хотя бы на чукотском стойбище. Тут была особая бедняцкая гордость, как она существует издавна на севере.

Напротив, Викеша Русак, непризнанный глава колымских недопесков, вместе с Митькой и Мишкой попал в передний шатер. Его посадили поодаль, но все же на почетном месте. В пологу было тесно, и молодые пастухи просто лежали снаружи на брюхе, просунув голову и руки под меховую стенку. Спина у них мерзла, а голова потела. Но в чукотском быту это самое привычное дело.

Чукотский молодежник, лежавший на брюхе вокруг полога, внимательно присматривался к Викеше.

Его облик и вся фигура совсем не походили на смуглых и некрупных поречан.

— Из дальнего рода? — бегло спросил Тнеськан, кивая головой в сторону красивого максола.

— Отец, — бросил Митька еще короче, на лету.

— Ага, преступняк.

Тнеськан выговорил это слово в якутской манере. Политические преступники звались у чукоч «дальним рсдом», а у якутов буквально «преступняк». Но это считалось особое звание, влиятельное и почетное. Им подавали нередко прошения о разных обидах, подчас даже с обращением: «Его превосходительству, господину политическому преступняку».

Викеша держал себя скромно, подражая молодым пастухам. Он взял с блюда длинную оленью ногу с полусырыми волокнами мяса и жил. Захватил это мясо ножом, дернул влево, потом вправо, два раза полезил в рот. Кончено. Кость была обглодана дочиста, хоть выбрасывай собакам. Сзади послышался сдержанный ропот одобрения. Чукотский удалец, как волк, двумя ударами железного клыка обглаживает всякую кость.

Сзади просунулась коричневая лапа и потянула Викешу за ногу.

— Выйди, — прохрипел за спиной взволнованный голос.

Но Тнеськан повернул голову и цыкнул в пространство. «Успеется! Завтра!» То были его собственные сыновья, которым не терпелось поближе познакомиться с новым неведомым удалцем. Молодые пастухи раскусили, что в этом речном молодце есть что-то новое. Но теперь приходилось подождать.

Митька и Тнеськан, оба думали о деле, не о детских пустяках.

— Зачем приехали? — спросил Тнеськан снова, более смягченным тоном, чем раньше на дворе.

— Олени, — сказал Митька, — голод на реке.

— Русская чайка сыта не бывает, — проворчал Тнеськан.

— А с чем приехали?

Митька молча полез за пазуху, вытащил мохнатую палушу листового табаку и положил у корыта.

— О! — пронеслось в толпе, как вздох. Табак схватили по рукам. Десять трубок сразу задымили пахуче.

— Десять! — сказал Тнеськан, протягивая руки вперед. Это были самородные счеты, дарованные людям



природой. На митинге в городе «десять» без дальнейшего определения указывало число кирпичей чаю или палуш табаку. Здесь на тундре «десять» означало прежде всего оленей. Обе валюты, речная и оленья, встретились и должны были выдержать спор.

Митька подождал пока чукчи накурились, потом достал из своей неистощимой пазухи твердую доску — кирпич прессованного чаю, и положил у корыта, как прежде табак.

— Десять! — сказал Тнеськан с тем же движением рук. — Рука и рука!..

По-чукотски «рука» так и означает «пять», а «две руки» — десять. А слово «считать» обозначает, собственно, «пальчить».

— Чакыыт, чаюем, — усмехнулся хозяин, обращаясь к жене своей Чакыыт, сидевшей слева на женском главном месте.

Тогда Митька полез в третий раз за пазуху и с торжественным лицом вытащил черную бутылку. Поставить такую драгоценность на неохраняемый стол было бы неблагоразумно. Вместо того он налил два стаканчика, неизвестно откуда подсунутые в нужную минуту, и встол собственноручно поднес их Тнеськану и жене его Чакыыт.

— Сам, — мотнул головой хозяин, предлагая по обычаю гостю выпить первому.

— Не стану, — мужественно ответил Митька, преодолевая соблазн. — Дорогая вода, пусть только для вас.

Тнеськан опрокинул стакан в свой огромный рот и крикнул с наслаждением. Спирт был честный, ничем не разбавленный.

— Человек, — сказал он опять и встал с места, как новая единица счета. «Человек» по-чукотски обо-

значало также и «двадцать». И высшая счетная цифра была «человечина людей» — «четыреста».

— Всего два человека, — сказал в объяснение Тнеськан и ткнул пальцем налево, в новую двадцатку, жену.

Митька протянул свои длинные руки налево и направо, схватил без церемонии за волосы ближайших соседей и протолкнул их вперед. Это означало наглядно: три человека — шестьдесят.

Начался торг. Хозяева спорить особенно не стали. Они выпили в мгновение ока русскую бутылку, не дали ни гостям, ни молодежи. Выпили и захмелели и запели, о чем кто думал. Впрочем, все они воспевали оленей, оленьи стада.

— Наша еда кругом нас на ногах ходит, — пел Тнеськан.

— Наша еда растет, пока мы спим, — вторила Чакыгт.

Рультына, младшая жена Тнеськана, пропела об оленьей красоте.

— Сучья костяные, безлиственный лес, проросший на тундре.

Она воспевала рога оленьего стада, которые, действительно, очень оживляют печальную плоскую тундру.

## XV

Чем свет пастухи пригнали стадо и начался убой. Здесь надо было убить 30, а верст за десять подалее у хозяйского двоюродного брата Вельванго другие три десятка.

Пастухи, щеголяя удалством пред чужими гостями, не стали загонять убойных оленей в ограду из саней, все-таки поставленную по обычаю, и хватали оленей на ходу арканами. Все происходило с молниеносной

быстротой. Раз! — и пастух остановил оленя на бегу арканом, потянул, захлестнул и быстро перебирает руками по ремню. И вот он схватился руками за рога и уверенно вонзает нож под левую лопатку. — Бабы, опростайте! — Женщины вспарывают брюхо и вываливают наружу требуху.

Максолы разобрали у чукоч запасные арканы и стали тоже хватать пробегающих оленей.

Андрейка бросил аркан первым и сразу промахнулся. Чукчи засмеялись.

Викеша молча достал из своей нарты собственный аркан, сплетенный еще матерью из тоненьких полосок кожи дикого оленя, и вышел на дорогу.

— Зачем аркан у тебя? — спрашивали с удивлением чукчи. — Ты разве оленный?

Викеша кивнул головой:

— Мои олени дикие!

Он стал на дорогу и бросил аркан в пробежавшего мимо оленя поймал его на огромном расстоянии, затащил, но не стал подбегать, а, напротив, потянул оленя к себе, стоя на месте. Ветвисторогий бык мотал головой и брыкался, но все же приближался к ловцу.

— Так и диких ловишь? — недоверчиво спрашивали чукчи. Об этом приеме ловли говорилось лишь в старых сказках.

— Кабы были, ловил бы, — ответил Викеша. — Ваши чукотские быки потоптали все мхи.

Это была старинная вековая распря между охотником на диких и пастухом домашних оленей. В прадедах у Викешы числился Пимка Чуванец, и костяное кольцо на аркане по преданию было от него.

Ружья максолы поставили в возы и к ним определили часового. Теперь ружей было восемь. Чукчи подошли с любопытством.

— Чьи ружья, казачьи, якутские, «дальние»?

— Были казачьи, — сказал часовой, — а теперь стали наши.

— Все ваше будет наше! — прибавил он по-русски. Эта старинная формула получила на севере толкование революционное.

— А это что? — спросил с любопытством Рукват.

На нарте у Викеша было увязано прекрасное ружье с тонким граненым стволом в серебряных насечках. Кедровое ложе было с глубоким червленым узором.

— А это моя серебрянка, — отозвался Викеша, почти с нежностью. — Серебрянка — сестрица моя... Смотри клеймо.

На вороненой стали стояло английское клеймо: John Bickering 1820. То был английский штуцер, попавший на Колыму столетие назад, с одною из ученых экспедиций.

Из этого самого ружья когда-то стреляла Ружейная Дука. И в нем для Викеша было от матери лучшее наследство и лучшее благословение.

Максолы оживились. И часовой замурлыкал негромко известную на Колыме песню ружья-серебрянки.

Мой, от Валушка по полошку гулят;  
Серебряночку на плечиках таскат,  
Ну, пойдем, пойдем, ребятушки, гулять,  
Ну, пойдете во дубравушку стрелять.

— Ну, давайте в цель стрелять! — приставали чукчи. — Кто лучше.

— Жаль свинцу да пороху, — отозвался часовой.

Ему и его вопросителю вместе было, пожалуй, лет тридцать, не больше. Но последние два года состарили даже ребятишек. Колымские максолы чувствовали себя совсем взрослыми, вроде новых каких-то казаков.

— Надо по живому стрелять, — вмешался Викеша.

— Грех по оленям, — быстро ответили чукчи. — Расстреляешь оленье счастье.

Домашнего оленя при стаде колют ножом. Отбившего в сторону, как дикого, можно стрелять из ружья.

— Тогда по людям, — сказал Викеша с задором. Чукчи разбудили в нем инстинкты древних казаков.

— Ого, по людям, ого! — зароптали чукчи. — Да разве ты дух — людоед?..

Эта воинственная раса чуждается напрасного убийства, по крайней мере, на словах.

Викеша тряхнул головой.

— Ребята, запоем свою комсомольскую. — Он выговаривал правильно, не спотыкаясь на максе.

— Запоем, заводи!..

Как морские алеуты  
на походе были плуты.  
Они стрелками стреляли,  
мы из ружей отвечали...

— Досельную затянул, — засмеялись недопески.

Викеша вместо новой завел старую досельную казачью боевую песню.

Их чукотская душа,  
а не стоит ни гроша.  
Ша, ша, ша, ша!

Подхватили другие:

А не стоит ни гроша!..

Если бы кто-нибудь из чукотских пастухов понимал по-русски, могли бы выйти неприятности. Впрочем, чукчи и русские часто обменивались такими взаимными любезностями и в прозе и в стихах.

Чукчи слушали с нетерпением русское пение.

— Будет вам выть, — задорно сказал Рукват. — Давайте что-нибудь делать, прыгать, бороться.

Викеша взял длинное чукотское копьё, стоявшее возле загородки из саней, разбежался, уперся и огромным прыжком перепрыгнул через всю загородку и через головы оленей, которые были там привязаны.

— Го! — сказали удивленно чукчи. Для таких прыжков они были слишком тяжелы и неуклюжи.

— Прыгают речные, как зайцы, — дерзко засмеялся Рукват. Он хотел указать, что зайцы, хотя и прыгуны, у людей и зверей не в почете.

— Бороться давайте!

Он подошел к Викеше совсем близко, лицом к лицу. Оба они были одинакового роста, с широкими плечами и длинными ногами. Один был коричневый, с черной гривой, а другой белолицый и русый. Несмотря на различие лиц и волос, во всей их осанке было много общего.

— Ну, раздевайся скорей! — бросил Рукват. — Попробуем, кто лучше.

Через минуту они стояли друг против друга, обнаженные до пояса, несмотря на холод. На севере в виде противоречия борются с голою грудью и спиной даже в январские морозы.

Борцы походили немного, уставив головы, как молодые быки, потом бросились, схватились двойным, замкнутым обхватом и покатались в ложбину, уминая белую порошу своими разгоряченными телами.

— Гук, гук, гук! — кричали чукчи, ударяя ладонями в такт.

Максолы в озорстве запели:

Ванька Мишку не поборет,  
Мишка Ваньку не поборет.

Минуту — и оба разомкнулись и стали на ноги, красные, мокрые от снега и от пота. Рукват неожиданно ослабился.

— Ух, какой здоровый, — сказал он просто-душно. — Полно драться, давай мириться. Езди гости! Вот приезжай к нам на гладкошерстный праздник. Да мы с тобой всех борцов, как телят, перекидаем, все ставки заберем.

Надо было одеваться.

— Давай, поменяемся верхнею шкурой, — предложил неожиданно Рукват.

Он подобрал на снегу Викешину рубаху и стал надевать ее задом наперед.

— Путаная русская сбруя, — ворчал он недовольно. Недопески подскочили со смехом и надели на него рубаху, беличий жилет, ровдужную куртку с подбоем.

Викеша с своей стороны натянул его двойную «кукашку» из пышного пыжика с собачьей и волчьей опушкой.

Чукчи кричали в неистовом восторге:

— Поменялись, поменялись!

— Это Рукват! — и они указывали на Викешу. — А это Викень! — и они указывали на переодетого Руквата.

Простодушный пастух даже побледнел от волнения.

— Ежели я по-вашему оделся, — начал он, — то хочу быть, как вы. Я вижу: вы не таньги<sup>1)</sup>, не прежние таньги! Как вы себя говорите — камчолы? — произнес он по-русски на чукотский лад. — Я тоже камчол. Пусть я буду чукотский камчол!..

Так перебросилось первое семя союза молодых с реки Колымы на западную тундру.

---

<sup>1)</sup> Таньги — русские.

## XVI

Вместо романовского царства, царство макаризации прочно укрепилося на реке. Максолы обыскали у купцов всякие мышьиные норки и вывезли без жалости все, что там было, прямо в казенный цейхауз. Учета на товары не велось, и они исчезали поразительно быстро. Впрочем, и было товаров не особенно много.

Безикряная стала Колыма, безжирная, сухая, как вяленая щука-сардонка. Правда, съездили к чукчам еще раз и повезли честь-честью чай, табаки и жидкую но только поменьше прежнего, и оленей опять привезли. А в третий раз поехали без всякого обменного товара, только с уговором словесным во рту и свинцовым уговором на нарте, и опять ничего, привезли сорок штук.

Тогда же Михаил Слепцов снарядил экспедицию в улус к якутам. С этими совсем не церемонились, брали и мясо и скот и вывозили в город. Ничтожный городишко, в пятьсот человек населения, как будто угрожал съесть весь огромный округ.

Улус и тундра роптали: «Вы берете, ничего не даете!» Особенно роптали якуты. Они снаряжали в город ответные, так сказать, походы, экспедиции с одеждой и пушниной, чтоб купить за какую бы то ни было цену заветный табачишко и чайшко. Но купить было нечего и не у кого. На всей Колыме на три тысячи верст не было чилима табаку, ни зернышка сахару, ни волоконца ситцу или бязи.

С юга ничего не возили. Понемногу доходили лэзунги и директивы. Приходили газеты по-русски и якутски. И такие слова, как советы, диктатура, партийность. И самое звонкое слово — комсомол. Его перделали тотчас же, как было указано выше, в максол, в связи с жирною максой, печенью налима. И стали



молодые союзники — максолы и максолки, или по-иному — камзолы и камзолки. Имя это стало на Колыме известным и грозным. Камзолская организация победила и подмяла под себя Колыму.

Обучать камзолов военному строю приехал особый инструктор. Но камзолы отнеслись к нему холодно.

У них был свой собственный инструктор, безрукий Егорша — солдат, и, подумав, они сплавили чужого вниз по реке до самого устья. Там, дескать, организуй песцов и тюленей, а нас не замай.

Но существенное с юга не приходило. Ропот восходил по ступеням. Город роптал на Якутск, а наслег<sup>1)</sup> и стойбища проклинали прожорливый город. Но камзолы с ружьями терроризировали всех. Они совались со своими неизменными ружьями во все закоулки крупнейшего края и вытаскивали «жизницу», какая где была.

В Эгинском наслеге дошло до восстания, и максолам пришлось пострелять. Правда, и стрельба, и восстание вышли по особому колымскому обряду. Эгинские якуты весь свой скот отогнали в Омеконские леса, а максолы переняли и стали стрелять. Пули попадали, но только не в людей, а в быков, что, разумеется, лучше. И вышло в результате: сверх пополнения установленной разверстки: 8 быков да 4 коровы, да лошадь. Наследных быков запрягли и повезли всю эту благодать в городские магазины.

Мясо, рыба, квашеная сора-простокваша, оленина с тундры, все поступало в запасные городские магазины. Проднорма была на Колыме постарше революции. Можно сказать, казенная жизнь Колымы всегда протекала по проднорме. Чиновники, казаки получали

---

<sup>1)</sup> Наслег — часть улуса, якутское селение.

паек отсыпным, даже священник и дьячок и городская акушерка, даже Вивеша казаченок, байстрюк Викентия Авилова.

Половина того, что теперь собиралось, уходило на военную силу. Максолы и даже максолки основались совсем при полиции. Сняли перегородки и отделали три камеры, две мужские и одну женскую. Девчонки шили знамя, пестрое, как сама Колыма. Малиновый бархат церковных облачений шивали со старым кумачом макаризованных юбок и ресефесерские буквы вышивали лосиною шерстью.

Жили, питались, зимою старались учиться по книжкам при свете коптилки из рыбьего жира с тряпичным фитилем, рубили дрова, отрывали наметенный снег и весною спарились естественно и просто, без всяких затей. Опять-таки и этот элемент новой России был издавна свойственен наивно-натуральной Колыме. Шестнадцатилетние парнишки сходились с пятнадцатилетними девчонками, но в холоде и голоде у них далеко не заходило, и к первой годовщине колымского переворота девчонки увидели себя к собственному удивлению в таком же невинном положении, как было в минувшую весну.

По городу меж старшим поколением женщин, между зрелыми бабами, которых в просторечии обычно звали бл-дками, распространился слух, чудовищный, невероятный: «Не тянет!» Проклятая макаризация обезжирила единственную радость бытия колымчан.

И старые женщины с негодованием передавали: «Целоваться — целовались, а до большого доходить неохота». Главная причина: пищи на всех нехватало. В городе, опять-таки по старой привычке ввели карточки. Правда, их называли по-старинке рационы и считали без книжек и бумажек, а просто по биркам.

Мяса по фунту, рыбы полтора, жиру осьмушка в неделю. На таких рационах можно было протянуть ноги, но поречане, привычные к голоду, держались.

В довершение беды вся пища как-то странно изменилась. Мясо по макаризации получалось сухое, как падаль. Рыба ловилась длинная и тощая, как Кирик дьячок. — Кирик был длинный, как жердь, и негодный ни богу, ни людям. — Оленина с тундры приходила, как старая кожа.

Жиру не собирали не только на еду, а даже и на лампу. Сидели по ночам в темноте. О собаках забыли и думать. Им словно объявили: «Кормитесь, как знаете, сами!» И к весне объявилась еще одна беда. Обезжиревшая Колыма на придачу обезживотела.

Трудная была зима, но потруднее вышло лето. Рыба, словно испуганная макаризацией, не пришла из моря, а какая и пришла, ту нечем было ловить. Весенняя ожива стала обманом. Рассыпались пустые бочки. Нечего было солить, не было ни рыбы, ни соли.

Сети совершенно изгнили, и рыба, попавшая туда, вырывала клоч и свободно уходила. В сущности, сеть состояла из дыр, соединенных тоненькими нитками.

— Голод!

Жуткая легенда поползла по реке снизу наверх. В реке Омолоне поймали осетра, больного с раздутой головой, в кровавых красных пятнах, словно от оспы. Больные осетры на Колыме попадают, и даже так бывает, что люди поедят такой осетрины и отравятся и тут же помрут. Но это был осетр особенный. Когда его взяли, он разинул пасть и вымолвил: «Голод!» Жуткое слово вышло вместе с водой из его умирающей пасти. И поречане гадали: какой же еще голод? Какой голод может быть пуще и злее того, что есть.

И будто бы спросили на Омолоне старики поселочного шамана Ваньчу от юкагирского корня, — хоть давно позабыли омолонские юкагиры свой собственный язык и разговаривали по-русски. Но по этому случаю вызвал Ваньча юкагирского беса, а к нему переводчиком призвал русского юкагира, тоже бесовской породы. И втроем они состряпали такое объяснение: это еще не голод, как рыбу да мясо едят, а когда будут есть своих собственных детей, и тятя да мама будут из-за косточки спорить, — вот тогда будет голод.

Правда, бывало на Колыме и такое, и даже у юкагиров. Но русские до людоедства никогда не доходили. О русских при голоде заботилось начальство.

Так и на сей раз начальство, поставленное революцией, Митька и Мишка Якут старались изо всех сил, чтоб унять голод. По старой привычке Колымы к общественным работам, Митька и Мишка сочиняли такие повинности, каких никогда не бывало.

В лето 1920 года объявили они ряд сборов, например, ягоды, сперва смородины, а потом брусники. Максолы даже объявили брусничный воскресник и выехали всем городом на Шатуинские горы. Дня через три оттуда пригнали четыре карбаса, наполненных доверху красною дробью брусники. Эту бруснику потом раздавали населению по биркам, когда не было ни рыбы ни мяса. И была им от этой брусники польза. Голод, был голод, но не было дынги.

Еще собирали дикий лук и квасили в бочках и ставили в запасный магазин за неимением рыбы. Даже лист собирали смородинный и шалишпячный <sup>1)</sup>, потом раздавали вместо чая. Четыре года пила Колыма вместо купленного чая брусничник и смородинник. Но

---

<sup>1)</sup> Шалишпяк — шиповник.

общественный лист почему-то почернел и сгнил и пришлось его выбросить.

Жители давно перешли на древнее питание, как жили, быть может, их предки за тысячи лет. Девицы и бабы без всяких воскресников скитались по тундре с утра и до вечера, копали съедобные корни, сарану и черемшу и крепкую белую осоку. С особенным азартом разыскивали мышиные гнезда. Мышь запасает себе на зиму целый амбар корешков, очищенных и белых, — фунтов, пожалуй, на тридцать. Тут есть чем пожить даже и не мыши.

Грабили бабы мышей и ели их запасы. Только до самих мышей еще не доходили.

Рыбу промышляли всякими мешками и кошелками, как в сказке говорится: старик и старуха ловили налимов штанами. Много ли поймаете штанами? Больше промышляли вершами, плетеными из ивы.

С июля Митька задумал новое странное дело, — устроить, по досельному «через», загородить поперек огромную быструю реку, наделать ворот, а в воротах поставить верши и выбирать всю рыбу, какая попадется.

## XVII

Черезовой плотины на реке не было уже лет сто, с тех пор, как перевелись последние юкагиры. Колыма — река серьезная, на две тысячи верст, а ширина ее у Среднего, пожалуй, с версту. Перегородить с берега на берег такую речницу — серьезное дело. Осенью, по рекоставу, это, разумеется, легче. Прорубай себе лед и запускай рядами перевязанные прясла. Такое бывало и после.

Но летом по полой воде, средь быстрого течения, когда не за что схватиться и не за что держаться,

как же начинать городьбу? Старые юкагиры умели, они многое умели, забытое потом.

Митька-диктатор хотел было выписать сверху живого юкагира. Там, далеко, догорала последняя горсть древнейших обитателей края, забытая среди обезлюдевших и мертвых пустынь. Выручил старый Дауров. Он покопался в своей неистоимой памяти и сказал: «Главное, прясла готовьте, следи, обвязки, — и даже число указал: вот столько и столько. — Сваи забьем, дальше само дело покажет».

Митька, однако, начал от печки, то есть от знакомой и привычной уже макаризации.

Рыбу даже в черезовой плотине не ловят без сетей. Но по сетной части все давно макаризнули. Митька решил пустить в ход чрезвычайные меры и собрать новый сетной материал. Исстари на Колыме лучшие сети заготавливались из белого холста. Его покупали аршинной мерой, нередко за дорогую цену, потом распускали по ниточкам, из ниточек ссучивали прядево, из прядева связывали сеть. Это героическое средство обеспечивало свежесть и крепость драгоценных сетей.

Колыма таким образом вела себя вроде Пенелопы и каждый год распускала по ниточке блестящую плотную ткань.

Митька объявил всеобщую мобилизацию холста. Пошел по дворам с «молодыми», стал собирать простыни, полотенца да скатерти. Простынь было мало, спали поречане на шкурах. Но большие камчатные скатерти были у многих казачек, не только у купчих. Бабы отдавали поневоле, но выли по белым скатертям, как будто по покойнику.

У запасливой старой Гаврилихи вышло драматическое представление. Ей было семьдесят лет. Когда-то

она считалась первой щеголихой на всю Колыму. Это об ее неслыханной роскоши пела насмешливая песня:

По три мыла перемывала,  
по три юбки передевала...  
Звон, звон, эй, ребята, звон,  
по три юбки передевала...

Гаврилиха, шутка сказать, носила крахмальные юбки. По праздникам девки бегали сзади и шептались: «шуршит». Целых полвека Гаврилиха была для приезжих торговых богиней-покровительницей, приветливой хозяйкой и приемной Венерой. Она одна заменяла целое учреждение и притом наивысшего сорта. И странно сказать, еще пять лет назад на нее заглядывались молодые молодчики, быстроглазые и свежие, как репа.

Макаризацию Гаврилихи хитрущий диктатор оставил в торжественной форме. Он явился к ней вкуче с обоими старостами, казачьим и мещанским. Олесэв Микола с неизменным серебряным крестиком нес его всжанный портфель. Митька поклонился Гаврилихе в пояс и вымолвил:

— Бабашка Марья Гаврильевна! Общество постановило просить вас потрудиться выдать для спасения человек от смертного голода, сколько найдется у вас сетного материала.

И бабушка тоже поклонилась и сказала:

— Сетного у меня нету, а прочее берите, что по праву.

И велела принести сундуки.

Но когда «молодые» стали выбирать из укладок и скрывать белые и крепкие полотна, сердце у Гаврилихи упало. И она крикнула Реброву с сердцем:

— Сама разберу!

— Уйди-ка ты, постылый! Сдам сама с весу, пудами. Нечего тебе тут делать! Уходи!

И Митька поклонился и ушел.

В эту неделю лучшие дома Колымы обратились в мастерские для расщипки полотняной кэрпии. Словно воротилось время Крымского похода, когда вся уездная Россия расщипывала корпию для раненых. Нащипанная корпия раненым тогда не попала. Но из колымских расщипанных ниток те же казачки и купчихи связали три огромных мережи для средних прясел «череза». Гаврилиха сама принесла их в «кимитет», — бывшую полицию уже называли комитет.

После того Гаврилиха стала ревностной сторонницей колымского диктатора.

— Так и досельные делали, — говорила она. — В досельное время, когда еще был не Колымск, а Собачий Острог.

Опираясь на это сочувствие, Митька объявил деревянную повинность. Он устроил рабочие партии не только по классам, но также по полу и возрасту. Была партия купеческих старух, которая должна была доставить тридцать вязок резаного тальнику; поповская партия — тридцать двухсаженных слег; больничная команда — ивовые свясла, пятьдесят. Казаки, якуты, чиновники, никто не был изъят. Временное «наредное правление», Трепандин и Качконок, в виде особого штрафа за свою политическую дерзость, давали двадцать саженей совершенно приготовленного прясла.

Долго рассказывать, как забивали копрами обточенные сваи, навязывали прясла, выплетали ивовые морды, пузатые, как бочки. Два месяца работала шальная Колыма над шальной затеею шального диктатора Митьки. Непривычные руки купцов и попов стучали топорами. Проливали чиновники пот вместо нелепых бумаг над свяслами, свитыми из ивовой коры.



Митька спал и дневал на стройке. Равнял, переставлял и прясла и самих работников. Даже губернатор Завойко, памятный в летописях севера, равнявший когда-то население в камчатских деревнях, чтобы ни одна не смела перерости другую, не мог бы ни в чем переплюнуть колымского диктатора. Меньшие и большие люди даже перестали грызться. Они ждали с нетерпением, чем кончится это невиданное дело. В последнюю субботу перед Ильиным днем совершилось небывалое. Река была перетянута с берега на берег узким пояском листовничных свясел с воротами и ивовыми вершами. Волны цедились сквозь утлую плотину, как сквозь частую зеленую гребенку, и процеживались вниз, не сдвинув ее с места. Надо было загружать мережи и потом собирать новый общественный промысел.

И тогда Митька открыл свои карты и выпустил новый декрет о трудовом распределении общественной рыбы. Он объявил, что согласно декретам революции пай выдается: старикам и старухам три четверти, детям до десяти лет полпая, беременным женщинам — с четвертью, т. е. пай с четвертью, — кроме нетрудовых элементов и служителей религиозных культов.

Положим, служители религиозных культов беременны вообще не бывают. Но намерения Митьки были совершенно ясны.

И тут начался в Колыме так называемый трудовой бунт нетрудовых элементов. Они застучали Митьку в комитете и стали показывать ему свои непривычные ладони, набежавшие мозолями, действительно кровавыми.

— Разве же мы не работали?

— Коровым потом, — откликнулся Кешка Явловский, богатый якут, плохо говоривший по-русски. Он

хотел сказать: кровью и потом, а вышло у него по-коровьи. И Митька усмехнулся и показал им свои собственные ладони, крепкие и жесткие, как еловая доска.

— Десять вязок фашиннику я вынес из лесу на своих старых плечах, — заплакал отец Алексей. — Не будет вам счастья, не будет.

— Обойдемся без вашего счастья, — откликнулся Митька.

Тогда трудовые ладони нетрудовых элементов стали сжиматься в тугие кулаки и подскакивать к Митькиному носу.

— Постоите, товарищи, — сказал Митька весьма хладнокровно, — вот вам последний декрет: отдайте одежду, какая у вас лишняя, опять же дома у вас лучше, дрова, у Макарьева на десять годов заготовлено дров. Все поровняйте, тогда я поровняю пай.

Вечером старая Гаврилиха прислала свою внучку в «кимитет».

— А бабушке как?

— Бабушке Гаврилихе пай за общественные заслуги, — галантно ответил диктатор.

В воскресенье загружали мережи. Духовенство, попы и дьячки вышли в облачении на площадь с крестами и хоругвями благословить промысел. Был, кстати, Ильин день, большой колымский праздник. Попы не спросили разрешения, а у Митьки духу нехватило запретить. Пропели молебен, и саженный Кирик затянул своим кислым баском: «Державному, правящему колымскому народу многая лета!» И тогда вышел отец Палладий Кунавин и сказал проповедь. Он начал ее в резких тонах и стал говорить о жадных богачах, отнимавших у бедного последнюю сельдятку и снимавших со вдовы единственную ровдужную парку.

Слушатели кричали, все это соответствовало подлинным житейским делам.

— За грехи богачей разгневался господь и послал недолов. И надо прогнать богачей из храма трудового, как же и господь их прогнал из храма иерусалимского. Надо смирить их дележами, реквизициями, конфискациями.

Он твердо выговорил эти незнакомые слова, вместо обычной колымской макаризации. Большие люди слушали и менялись в лице. Поп перешел на сторону простого народа. Так отец Кунавин приобрел себе новую славу красного священника.

И дальше пространно говорил отец Кунавин о волках, овцах и пастухах. И волки выходили, конечно, купцы, а овцы — мелкота, трудовая и трусливая. Пастухи же суть пастыри добрые, учителя, полагающие душу за други своя. Тут он говорил о политических борцах и указывал между ними поповичей, начиная от Сперанского и кончая Чернышевским.

Колымчане кивали головой. Они политических знали. Бывали между ними и такие из поповского рода, которые умели служить за дьячка и попа и пели обедню, — положим, когда выпьют, и совсем не церковную, а другую, такую оборотную, забористую, с перцем: «Отроци семинарские, среди кабака стояще, пояху!..» и прочая неудобопишущая.

А Кунавин заливался соловьем:

— Трудовое священство страдало с народом от насилия властей и корысти торгующих.

Поречане разинули рот. Такие словеса, кудрявые и хитрые, были им в диковину.

— В трудовом единении с господом будем залечивать голод и холод, и благословит бог труды рук наших обильными плодами. Если же в разделении с

богом и священством — не благословит бог труда нашего и не соберем плода рыбного ни в реках бегущих, ни в озерах широководных, — не будет нам рыбного промысла...

Из этой проповеди вытекало ясно: трудовому священству надо дать пай наравне с молодыми недеспесками и всякой общественной службой. Если же не дать, то не даст бог рыбы.

От угрозы молодые нахмурились, а жители струхнули:

— А ну, как и вправду не даст, что тогда?.. Столько работы понарасну, — как будем жить?

Но Митька вышел вперед и сказал добавочную проповедь, тоже о божественных вещах:

— Бог, кровь, веру... Богородицу, печенку, селезенку... Рыбы пошам не дадим. Что поп, то и клоп. Толстые, толще кушцов.

— А бог, где бог? Бог так бог и сам не будь плох. Глупости это о боге, а черти вправду есть. Но бога попы выдумали. Пускай же он их и кормит. А в случае чего — хватъ боженьку за ноженьку и об пол. — И он погрозился в пространство еловым кулаком.

Мережи загрузили в воскресенье. В понедельник, день тяжелый, был первый высмотр, и вышло совсем против бога и против тяжелого дня. Орудовали безбожные недопески и вытащили полные мережи и полные морды. Три часа таскали корзинами рыбу и «лили» на берег. Грудную <sup>1)</sup> рыбу на Колыме не высыпают, а льют, как воду.

Тут были нельмы, как толстые бревна, сытые налимь, носатые, осанистые максуны, длинные злые сардонки, пузатые чирь и всякая другая благодать.

---

<sup>1)</sup> Грудный, от груди — «обильный».

И тогда Митька выпустил третий декрет: на пай половина, другая половина обществу, будем варить на сирот и на бедных, хлебать из одного котла, как хлебали досельные.

В тот день на Колыме был праздник побольше учредительного митинга на площади церковной. Варилась в огромных котлах трещучая, жирная рыба, и все черпали и ели, кто сколько осилит. Тут уж хватило для всех, для богатых и для бедных, для попов и дьячков.

— На-ко, что выдумали, — говорили про себя колымчане с искренним удивлением. — Без сети, без невода промыслили едушку.

Но к утру получилась перемена. Кунавинский бог оказался и метильным и чутким. На Митькино насмешливое слово он ответил потопом, как при праотце Ное. Хлынула сверху вода, как это бывает на северных реках, и к вечеру затопила и верши и прясла и поднялась до краев берегового яра. Недопески поехали в лодках, но плыть приходилось как будто в вышине и из лодки можно было заглядывать через берег и видеть зеленую тундру до чернокаменной Едомы. Едома — это града на запад от Колымска.

К плотине было не приступить. Течение рвало и несло, и можно было видеть, как гнутся и трещат еловые вершинки под водой. Викеша покачал головой.

— Мережи-то где ловить будем, разве на заимке Веселой?

— Все этот поп напортил, — угрюмо сказал Гагаренок. — От бога отбил. Язык у него ядовитый.

— Так неужто покоримся! — вспыхнул Берестяный Микша. — Попу али богу, али чорту, прости господи, да ни в жисть, ни за что!

— Даешь рыбу!

Он вскочил, рискуя опрокинуть лодку, и протянул вверх с угрозой руку.

Все недопески вскочили и подняли руки и крикнули:

— Даешь рыбу!

Это было похоже на заклинание.

Викеша плечами пожал:

— Нет рыбы, так есть птица.

— Здесь ничего не выходит. Бабы, купцы да попы. Мешают своим духом. Митька-то старался, теперь нам надо постараться. Какие же мы молодые? Поедем на озеро за птицею. Там на слободе добудем, как надо, и никто не помешает.

— Даешь птицу!..

## XVIII

У колымской молодежи было любимое местечко. Оно называлось «на бревнах». Бревна лежали на самом берегу, пожалуй, лет двадцать. Их приплавляли сверху на постройку прибавочного флигеля к полиции в пышные исправничьи дни. Но теперь, разумеется, было не до стройки. Были они такие огромные, что даже распилить их на дрова никто не покушался.

Зато собираться на бревнах было чрезвычайно удобно, конечно, не большими компаниями, а отдельными парами. Каждое бревно представляло скамейку и, если угодно, кровать. В первые августовские ночи, которые приходят на Колыму, густые, как чернила, начинались свидания на бревнах, объятия и вздохи.

В августовскую ночь Аленка-поречанка вышла на бревна к Викеше Русаку. У ней были на уме не любовные утехи, а серьезные дела. Максолы собирались на совет по поездке за птицей, а максолок к себе не позвали.

— Значит, нас не берете? — спросила Аленка сердито.

Викеша молчал.

Аленка неожиданно закинула ему руки на шею и прижалась в темноте к его жесткому широкому плечу.

— Меня возьми, — пролепетала она своим шепелявым говорком. Вышло у нее: «меня вотьми».

Ей было только пятнадцать лет, и она вообще обниматься еще не любила. Когда приставали к ней парни, она отбивалась, щипалась, царапалась, как кошка.

Но кошки при случае умеют тоже мурлыкать.

— Вотьми меня!

— Сами не знаем, как ехать! — возразил неохотно Викеша.

Аленка откинула голову.

— А я все-таки поеду! — сказала Аленка с привычным упрямством.

Викеша молчал.

— Матка твоя за медведем ходила, — сказала Аленка. — Пусть мы хоть за птицей!.. Поедем, все равно...

И Викеша потупился и молвил:

— Попробуйте, ежайте.

Так через день слыли по Колыме четыре карбаса, нагруженных доверху живым человеческим грузом, маколами Колымска. За карбасьями были завязаны стружки и легкие «ветки» <sup>1)</sup>. Девчонки ехали отдельно от мальчишек. И даже подняли на мачте особый флажок и вместо обычных букв *С М*, «союз молодежи», вышили *С Д*.

То был не девиз меньшевистской социал-демократической партии. То был союз еще более древний: «Старые

---

<sup>1)</sup> Стружок — челнок, долбленный из тополя, ветка — легчайший дощаник.

Девы». И этим девчонки хотели сказать, что им мальчишек не нужно.

С собой захватили максолы и девы метательные доски да дротики, ружья да луки со стрелами. Дорожные запасы были в реке или в воздухе. В амбаре на их долю нашлось по три горсти муки, да и то окаменелой, подмоченной, вязкой, как глиняные комья. Да еще по десятку хачинок, тоненьких, как пленки, таких, какими и собаки брезгают.

Было их 17 человек мальчишек и полдюжины девчонок.

По полной воде лодки стремительно сплывали вниз. Плесо за плесом разворачивалось и свертывалось, как гладкое полотно. В первую ночь пристали к мысу и долго искали хорошего местечка, где развести огонь. Все было затоплено. Река переливалась через свои берега, и каждая низинка стала затоном или озером. Костер развели перед самым утесом. И, когда заварили мучную болтушку и смородинный чай, из утеса неожиданно вылез какой-то толстый зверь, попал в огонь, опрокинул и чайник и котел. И пока он отплевывался и отфыркивался дымом, они его убили просто палками. Это была росомаха. Уходя от наводнения, она явилась на ночлег раньше максольской команды и поплатилась за свою раннюю поспешность и позднюю медлительность.

Росомаха медвежьей породы, но вместе и куньей, и мясо ее не годится на еду. Впрочем эта росомаха опрокинула котел и влезла в огонь добровольно, как будто желая изжариться. И на этот раз они поужинали жестким куском росомашины, поджаренной на угольях, чтоб уничтожить ее неприятный запах.

На втором ночлеге река послала им настоящий промысел. То был дикий олень, согнанный с другого бе-



рега каким-то сердитым лесным жителем, возможно, медведем, и опустившийся в реку как раз против огнища. Он плыл через реку, как будто на маяк, и заметил одновременно рыжий огонь на берегу и легкий челнок, вылетевший навстречу, как злая змея.

Оленье мясо было получше россомашьего. Это была настоящая, правильная, речная еда.

От Черноусовой протоки свернули на запад и выплыли на тундру. Здесь пошли по переузьям и горлам, переходя из озера в озеро по глубоким извилистым вискам. Стали попадаться линялые гуси и крохали. Они подрезали им шею развилистой сатиной, пущенной с узенькой дощечки навесно по воде. И вечером котлы их были наполнены мясом, молодым и душистым.

Девчонки добывали себе свое мясо сами. И разводили особый костер. У них было так чисто, уютно, подметено по ночевищу и устлано хвоей.

И когда ребятишки пришли к ним в гости, они пропели им насмешливую песню.

Бонданды, Бонданды,  
пойди зверя убей,  
нам на постельку,  
себе на одеялко.  
Сверху карбас плышет,  
там девки хорошие,  
таки большеносые,  
А я девок увидал,  
в балаганчике ускочил.  
Ко мне девки пришли,  
в роте воду принесли,  
стали меня прискать,  
стали меня тискать...

Они плясали и щелкали пальцами у парней перед носом. И плевали в их сторону, словно обрызгивали

водой застенчивого Бонданды. И так обруселые потомки и наследники юкагирского Бонданды убрались ни с чем во-свосяси.

В поселке Горлах стали дневать. Обитателей не было. Промысловые избушки были не заперты и пусты. Там не было имущества. Даже мусор и обычные рыбьи кости подъели песцы да росомахи.

Сторожевая башня еще не до конца рассыпалась. Верхняя связь стояла на земле, словно кто-то огромный и сильный снял ее сверху да так и поставил на землю.

Нижняя часть совершенно исчезла.

И Машуха Широкая стала, по обычаю, рассказывать, не дожидаясь приглашения:

«В досельное время сюда наезжали речные с Колымы за промыслом чира, и старики им говорили: «Опасно ходите!» Было опасение от чукоч. И на башне днем и ночью стоял часовой и смотрел в тундренную сторону. Однажды осенью промысел был грудный; рыбы, как грязи. И заметил народ: с чего-то воронье летит с тундры на гору и все каркает, все каркает.

«Один старичок говорит: — Вы как себе хотите, а я уйду на реку. Это не к добру! — Котомку за плечи, кликнул сынов и пошли. А другие безо внимания. Вот и набежали на них чукчи, кочешные головы, мужиков перебили, баб, девок по рукам разобрали. А двоих молодцов стреляли и стреляли до последнего. Бегают кругом майдану <sup>1)</sup>, сколь их ни стреляют, а не могут попасть. Они стрелы меж пальцев ловят, стрельцам отбрасывают.

«Наконец того одному подрезали нитки (сухожилья) на правой ноге. Он и упал. А брат бегаёт. Он и гово-

---

<sup>1)</sup> Майдан — площадь.

рит: — Эй, брат, брат! Без меня ли хочешь на солнце смотреть? — Так тот и поддался стрельцам. Обоих убили и на шкурах положили, одного-то на пеструю, другого-то на белую. Дивуются, какие молодцы.

«А один молодец затаился, как будто он мертвый, и все видел. Вот через малое время старая старуха с палемкой <sup>1)</sup> и поползла по покойникам, смотрит, слушает. Который вздохнет, тому сейчас и горло перережет.

Доползла до этого притворщика. А он и укрепился, глаза завел, как неживой. Вот она стала исподтиха палемкой той рубить ему переносицу: тук, тук! Ну и укрепился, стерпел, виду не подал. Изрубила, отошла. Этим кончилось».

Жуткий досельный рассказ словно оживил и наполнил тревогой это упавшее место. И Машуха продолжала:

«Поделили чукчи тех баб. Русские с реки пришли выкупать свой полон, жен да ребятишек. На выкуп за бабу котел медный, за мальчика нож. А если какая явилась с чукотским пригулом, такого за ножку да об пень».

Мальчишки притихли.

— А что бы ты вытерпел, Кеша, — спросил с содроганием Андрейка, — если бы тебе эта гадина рубила палемкою по носу?..

— Стал бы я терпеть! Я бы бился до того, пока меня убили бы.

— Смирнее стали чукчи, — сказал Микша Берестяный.

Викеша пожал плечами.

— Смирнее до время. Время такое придет, и сами заведем с ними бойку, не лучше, чем досельные.

---

<sup>1)</sup> Палемка — женский нож, вроде косаря.

На озеро Седло вышли на новую неделю. Оно лежало на тундре, как огромная звезда, раскинув во все стороны свои узкие прямые кулиги (заливы). Охотники сразу забыли, кто парни, кто девчонки. С челноками, с собаками, разбившись на несколько групп, они стали скружать осторожно широкое Седло. Вышло так, что Викеша и Аленка оказались на одной стороне и поползли рядом, направляясь к крайнему заливу под каменной грядой.

— Гляди-ка! — указал Викеша спутнице. — Сторожит.

На кочке среди кулиги стоял длинношейный лебедь. Он словно поднялся на цыпочки, чтоб стать выше, и во все стороны ворочал свои беспокойные глаза.

— Эй, лебедок, на кокушок, — шепнул Викеша и осторожно показал фигу лебедю.

Фига по-колымски кокушок. Показать фигу — жест заклинательный не только на Колыме.

Неожиданно в разных концах вскочили охотничьи собаки. Раздались крики, лай и пронзительный свист. Озеро ожило. Из разных кулиг уже выгребали охотники на легких своих челноках, с сатинами — дротиками, с метательными досками, с длинными и гибкими водяными копьями, выпугивая всякую живность на середину широкого бассейна.

Гуси выплывали широкими серыми пластами, лебеди белыми стайками, утки кишели, как мухи, но на них никто не обращал внимания.

— Лебеди, лебеди! — кричали охотники.

Лебедь — главная охотничья птица севера, и преем отступает всякая крылатая живность.

Пака Гагарленок двинулся с страшной быстротой на своей узкой ветке в объезд лебедям. С другого конца выплывал на долбленом челноке Берестяный. Они выгоняли лебедей из кулиг и грудили вместе. Вот оба с разных сторон поехали кругом стада, встретились, разъехались и снова поехали кругом.

— Взяли, взяли! — кричали охотники.

На каждой охоте, особенно на водной, важнее всего объехать добычу кругом, сгрудить ее вместе и отнять у ней перед.

Лебеди сгрудились вместе. Их было много, пожалуй, штук триста. Тут были молодые черношейные и старые белые, без одного пятна. Они сбились в кучу и стали, как остров, слепленный из белого пуха. На острове росли три сотни лилий с белыми цветами — головами. Лилии вертелись беспокойно и громко кикали: «киги, киги!» Это лебеди заранее оплакивали предстоящую смерть.

Уже пять челноков скользили по вольной воде кругом лебединого стада. И выплю впопыхах, что в одном челноке, вместо долговязого парня, сидит вертлявая Фенька Готовая, сама больше похожая на птицу и цветок, чем на сильного охотника.

— Наш челнок, наш! — завизжали ее товарки в разных местах обходной пешей линии. — Не троньте ее!

Фенька показала язык ближайшему соседу мужчине и выплыла вперед. Гребца на челне не догнать и не ссадить словами, хотя бы и крепкими.

Лебеди кикали.

Два охотника ездил по кругу. Третий наехал на стадо и ловко отрезал «головку», четверку благородных бескрылых, огромных лебедей. Четверку лебедей на четыре свободных челна.

Лебедей выпустили на вольную воду, и каждый челнок помчался в догонку за лебедем. Это было состязание красивое и странное, как будто в водном цирке. Лебедей ловят руками без всякого оружия. Охотники молча и бесшумно скользили по воде. А лебеди кикали и хлопали об воду своими линялыми крыльями. Они одновременно плыли, бежали и летели по воде, но гибкие челны летели еще быстрее. Два раза прогнали охотники своих лебедей назад и вперед по широкому Седлу, затем чтоб стволы их маховых перьев скорее наполнились сгустками крови. Когда обессилятся крылья, лебедь опустится на воду и станет нырять.

Первого лебеда взял Николай Берестяный. Он наехал на него на поныре, закинул ему лопасть весла на шею, подтянул к себе и тотчас же опрокинул его на спину и сломал ему шею рукой у самого затылка.

Раз, раз, раз!

Четыре белых пушистых комка плавают по озеру в разных местах. Тоненькая Фенька управилась с своим лебедем быстрее парней. В ее маленькой ручке железная хватка. Она словно женка горноста, живая стрела, или шило.

Раз!

И лебедь опрокинулся на спину и даже не бьется. Еще четыре и еще четыре. Двенадцать убитых лебедей плавают мешками по воде.

Плавающий остров сжался, как белая глыба. Если бы забросить ~~невод~~ <sup>невод</sup>, можно было бы глыбу вытащить сразу на берег.

— Долго ли возиться! — ворчит Николай Крутобокий. Ему трудно втискивать в челн свою крутобокую тушу. Челнок оседает под ним, как будто под грузом железа.

Правда, ежели брать по четверке лебедей, можно провозиться по меньшей мере сутки.

Фенька наехала на стадо и отбила три лебедя, но вместо торжественного гона, тычет одному и другому веслом под крыло. Вот это скорее. Но колоть на воде вертлявого скользкого лебедя труднее, чем оленя. А третий лебедь обезумел. Он распустил крылья и сам нападает на Феньку. С криком, с хлопаньем, он вскочил прямо в челнок, большой, как собака. Раз, раз! Хлопает крыльями по жестким бортам. Жик! Левый борт раскололся, как фанера. Лебедь вытягивает вперед свою длинную шею-змею. Он чуровит долбануть своим черным молотком по бледному лицу среброголовой Феньки.

— Мотри, мотри! — кричат ей товарищи.

Челнок переполнен водой, но Фенька смеется и взмахивает в воздухе чем-то светлым. Лебедина голова дрогнула и отлетела, все-таки вперед, через Фенино плечо. Из перерубленной шеи бьют две кровавых струи на серебряную Фенькину голову. Теперь Фенька белая с красным. Она перерубила лебединую змею коротким дорожным топориком.

Все это — так, пустяки, в пределах охоты.

Фенька выбрасывает лебедя вон, вычерпывает воду и опять наезжает на стадо.

Охотники вертятся кругом стада и подкалывают понемножку лебедя по лебедю. Они объедают стадо по крупинкам, как глыбу подмокшего сахара. Лебяжий остров тает. Но надо быть осторожным, чтоб не расстроить пластины. Нельзя ни кричать, ни стрелять. Лебеди в гипнозе. Какой-нибудь взбалмошный выстрел может вспугнуть и рассеять пластину на тысячу хлопков. Тогда лебедей не найти. Они разбегутся по дальним кулигам и зароятся в топкий зыбун. И там

отлежатся на дне, подняв свою голову вверх и чуть дыша кончиком носа, высунутым вон из воды.

Полстада как не было. Озеро покрыто белыми толстыми хлопьями. Являются обычные пайщики. На северном конце к берегу прибился белый ком. И какая-то острая мордочка работает над ним, тербит, затаскивает вверх. Лисица, песец? Викиша хватает свою «серебрянку». Нельзя стрелять, распугаешь лебедей.

Над озером проносится черная фигура, как лодка на косых парусах, на миг отражается в темной воде. Это живой самолет, тундренный беркут. Он перелетает через озеро и падает в воду на той стороне и тоже принимается возиться над белым комком. Видно, как он когтями терзает добычу. Киш, проклятый! Вот этот распугает лебедей. Но он отвечает охотникам задорливым клетотом.

— Стрельнуть, а? — соблазняется Викиша.

Лебяжья пластина внезапно взволновалась. Торжествующий клетот орла вывел лебедей из неподвижного оцепенения. Орла они боятся не меньше, чем боятся человека. Один ужас рассеял другой. Остров как будто закипел и рассыпался на белые хлопья. Лебеди кинулись прочь врассыпную, прямо на охотников.

— Раз, раз, раз!

Каждый из шести челноков убивает по лебедю, потом по другому. Но целая сотня прорвалась из страшного круга. Кулиги застрелили белыми фигурами. Лебеди лезут в беспамятстве на пеших людей, на собак, борются с ними, перепрыгивают через них и спасаются в зыбуне.

Огромный самец с распущенными крыльями выскакивает в Викишином углу и лезет бесстрашно вперед, прямо на Аленку. Она вскакивает и кричит и в азарте расставляет руки. А лебедь расставляет крылья. Он



такой же высокий на ногах, как Аленка. Его шея, как плеть. И широкие крылья, как полы живого пальто. Лебедь обнимает Аленку этими живыми полами, словно запахивает ее и поднимает над нею свою белую змею — молоток. А Аленка хватает его за подкрылья обеими руками и увертывается с необычайной ловкостью. И вот она сзади на лебедь, почти верхом и крутит ему страшные крылья, как руки буяну. Лебедь отклоняется назад. Вот они свалятся оба в глубокую кулигу.

— Держись! — восклицает Викиша. — Минуту! Аленка, крепись! Живого возьмем!..

Он словно подпирает Аленку и лебедя своим крепким плечом. Вдвоем они скручивают лебедя, как двое полицейских — буяна. Стягивают крылья, завязывают ноги и голову. Лебедь, обращенный в пакет, беспомощно лежит на берегу.

Слышится выстрел направо. Это Берестяный расправился с беркутом за распуганный остаток лебедей. Теперь уж не страшно стрелять.

Солнце, должно быть, восходит. Но тундренное небо посылает нахмуренный дождик. Впрочем, охотники и без дождя промокли до костей.

— Гуси на завтра! — командует Викиша.

Охотники собирают лебедей и связывают в белые пучки, как будто исполинские букеты. Эти лебяжьи букеты они волокут с торжеством по мокрому мху на место обеих стоянок.

## XX

Пылал костер. Кипели котлы, набитые доверху молодой лебедятиной. Старые лебеди жестки, но молодые черношейные — отличная еда. Девчонки отложили для каждого охотника по три лебединых крыла. Мозг

из лебяжьего крыла — это редкое лакомство. И Машура Широкая заводит очередную сказку.

«У старого Торганры князца сватался Лямпурга за единственную дочку.

«— Накопи три пуда мерзлого мозгу из лебяжьих крыльев!..

«В первый год пошел Лямпурга за лебедями, набрал один пуд лебединого мозгу.

«На другой год Лямпурга набрал еще один пуд мозгу.

«На третий год набрал третий пуд мозгу. Взял дочку. Таков был Лямпурга, удалый охотник».

Пылал костер. Обе партии были вместе и девушки и парни. Дров не хватило бы на тундре на два очага.

Котлы опростали, кости обглодали.

— Девки, спать!..

— Нет, плясать! — выкликают девчонки и мальчишки. — Ночь наша! Успеем отоспаться.

— Ну, какую?

— Бонданды, Бонданды! — опять выкликают девицы.

— Эй яган, эй яган!

заводит сумасшедшая Фенька.

Да маленький балаган <sup>1)</sup>.

Я лег спать там,

подхватывает Лика Березкина,

Ко мне девки пришли,

В роте воду принесли!..

— Мы девки пришли,

подхватывает весь девичий хор, —

Тебе кашу варить,

И по ягоды ходить.

---

<sup>1)</sup> Лесная избушка.

— Я девок прогнал, —  
хвастает Микша Берестяный, —  
В балаганчик устроил!..  
— Стали девки хныкать, —  
поет девичий хор,  
— Стали девки хинькать, —  
и они «хинькают» — хнычут,  
— Стали тут пужаться,  
— Стали тут страститься:  
Бонданды выгнал,  
Бонданды прогнал!..

И весь мужской хор поет в виде заключительной фразы:

Стало сердце нять (ныть)  
По хорошей девке,  
По пригожей девке!..  
Вышел в лес, сел на кокору,  
лови, хватай который котору!..

Девки бросаются в разные стороны, забегают далеко от костра. Парни гоняются за ними и ловят, у кого было сговорено. Теперь бы колымские бабы не стали браниться: «Не тянет!»

Костер гаснет. На тундре темно.

Проспали до полудня, не беда. Стали собираться на гусей. Гусей руками не возьмешь. Надо строить особый загон. И возиться с поимкой не менее суток.

Пора уходить на Седло. Но в это время Савка протянул голову, понюхал воздух, как собака, и сказал:  
— Люди подходят. Пол-кось.

По-якутски «кось», по-русски поберд, это верст десять-двенадцать, сколько лошадь или собачья упряжка пробегает до первого отдыха. Пол-кось это все-таки верст пять.

— Кто люди? — спрашивает Берестяный. — Пойдем-ка, посмотрим.

Все лодки были переполнены птицей, лебедями и гусями, даже сидеть приходилось на гудах побитого мяса.

Хороший ворошок охотники зарыли на тундре под мох, задавили камнями, чтоб волки и песцы не добрались. За этим следовало приехать зимой на собаках.

Итти было трудно. Лодки приходилось тянуть на бичеве против течения с таким тяжелым грузом. Но самый тяжелый груз была эта таинственная весть об идущих откуда-то «беглых». Идут через Алазею на восток.

Поречане ошиблись в одном. Беглые пришли не с запада, а с юга. То были, действительно, «беглые», остатки пепеляевских отрядов, разбитых на Охотском берегу и вторично разбитых в Якутске.

«Беглые» и белые враги наступали на северный край.

---

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ  
ПОЛКОВНИК АВИЛОВ



# I

— Сто-о-ой!...

Отчаянный женский крик огласил долину. Пестряк обернулся, оскалившись, словно усмехнулся. Он не одобрял женских погонщиц, к тому же чужих. Упряжные собаки устали и были непослушны. И Варвара Алексеевна правила сегодня собаками впервые.

Вместо того, чтобы бежать по караванной колее, собаки ни с того ни с сего свернули в сторону, за тенью воображаемого зайца, и теперь неслись, очертя голову, вниз по косогору. Откуда и прыть взялась. В полном отчаянии Варвара Алексеевна опрокинула нарту на бок и зарылась ногами в глубокий снег, чтоб задержать свою непослушную свору.

— Стойте, черти!

Этот второй окрик относился уж не к собакам, а к каравану, упорно уходившему вперед.

Полковник Авилов, шедший впереди каравана на своих огромных лыжах, свернул в сторону так же круто, как собаки его спутницы. Безостановочно скользя по косогору, он описал огромную дугу и спустился на место крушения.

Строптивые собаки, остановленные на ходу опрокинутой нартой, в виде отместки перепутались и теперь походили на огромный ком живого собачьего мяса, с

задами, обороченными внутрь, и головами, торчащими в разные стороны.

Авилов водворил порядок несколькими крепкими пинками, терпеливо распутал собак, свистнул и заставил упряжку повернуться обратно наверх, головами к дороге.

— Посадите меня, — капризно сказала Варвара Алексеевна, в изнеможении падая на нарту.

— Да вы и так сидите, — сказал Авиллов своим спокойным, низким голосом.

— Ботики снимите, в ботики снегу набилось.

Так же терпеливо и быстро, как с собаками, Авиллов управился с Варварой Алексеевной, снял и вытряхнул ее неуклюжие белые ботики, совсем непригодные для горной езды, свистнул опять и поехал в гору, догоняя караван. Он шел рядом на лыжах и без особого усилия поддавал на ходу нарту вперед, вместе с ее живым грузом.

Нарта обогнула караван и вышла вперед на обычное место.

Варвара Алексеевна отдохнула и снова заковылялась. Она подняла свои новые лыжи, лежавшие на нарте, и, кое-как приладив к своим валеным ботам ремненные петли завязок, встала и пошла на лыжах, подражая своему другу. Но ее непривычные ноги не могли угнаться за размашистым шагом Авиллова. Она отстала, сперва от передних, а потом от всего каравана, стала торопиться, задела ногу за ногу и рухнула на бок и опять ушла в снег, уже головой, не ногами, как раньше.

— Ой!..

Отчаянный женский крик опять огласил окрестность. И снова Авиллов явился на выручку, распрокинул, поднял, отряхнул, привел в вертикальную позицию и опять



пустил в ход этот беспокойный и хрупкий женский элемент.

Так Варвара Алексеевна старалась сделаться опытной северной странницей. Авилов не терял терпения и все время выправлял ее непредвиденный, капризный и безответственный путь.

Варвара Алексеевна была единственная дама, даже единственная женская особь этого странного шествия. Их было сорок человек, восемнадцать оленей, двенадцать лошадей, три быка и двадцать шесть собак. Собаки и и кони и быки были холощенные. Двуногий элемент был, напротив того, весьма кобелиного свойства. Но на четыре десятка кобелей приходилась всего лишь единственная сука.

Полковник Авилов шел впереди, ломая мягкий снег для дороги каравана и превращая его в широкую твердую лыжницу. Он был в полном расцвете сил и красоты. На его огромном теле не было ни одной лишней унции жиру, был он, как лось в человеческом образе, с крепкими ногами, в пружинах тугих сухожилий. Его меховая рубаха, шерстью наружу, казалась естественной шкурой и только тяжелый нагая у пояса прибавлял к звериному еще и человеческое. Стрелял же Авилов без промаха и был на расправу необычайно скор. Выстрелит, как собака укусит, убьет на ходу человека и не поморщится и дальше пойдет. А порою, напротив, захватит человека и держит огромною лапой, рассматривает с холодным интересом, словно какую козявку, а убить — не убьет.

О поступках своих и вообще о прошлом Авилов не раздумывал. Прошлое, однако, несло за плечами его, как стая мелькающих птиц, догоняло, налетало на плечи и таяло, и пропадало.

Яростные птицы с огненными перьями  
пронеслись пред тихими райскими преддверьями.  
Пламенные отблески отразились в мраморе  
и исчезли вестницы, улетели за море...

Положим, преддверья были не райские, а адские. Но буйная стихия не тяготила Авилова. Он дышал огнем, как будто саламандра.

Прошло пятнадцать лет после амнистии «пятого» года. Авилов опоздал к революции и попал, можно сказать, к шапочному разбору, т. е. к политическим убийствам и «эксам», один другого безумнее. Он сразу угодил в дружину фантастическую, сумасбродную, в полосу удачных и кровавых нападений, с трупами, с деньгами.

Поезд. Трое чужих. Двое своих. Сто тысяч наличными.

Почтовая станция. Трое и трое. Двести тысяч — двойная порция.

Что делать с кровавыми деньгами, они, в сущности, не знали. Покупали оружие, строили побег, а главное кутили, кутили. Авилов принял свою долю кутежей так же спокойно и просто, как и тихую жизнь на далекой заимке Веселой. Он шел, не пьянея, как скиф, разыгрывал «Жизнь игрока» во всех подробностях, не увлекаясь и даже не особенно интересуясь. Дружинники на половину были провокаторы. Но это делам не мешало. Провокаторы стреляли и грабили отлично. Однако, дружина убывала, как кровь убывает из раны. Авилов остался одним из последних, подумал две минуты, и махнул через весь материк обратно в Восточную Сибирь. Может быть, он думал добраться до Колымска. Но вместо того застрял на Ленских приисках. Тут он занимался самыми головоломными делами. Был спиртовозом, скупщиком краденого золота и стал заодно под-

готовлять чудовищную выемку золота, неизбежно «по мокрому делу», — мокрому от крови.

Ленское побоище переставило пешки в игре. И вместо выемки Авилов подготовил нападение на ротмистра Терещенкова. Но сибирские провокаторы были ловчее петербургских. И Авилову снова пришлось убираться долой.

В виде разнообразия он махнул на Кавказ, на нефтяные промысла, нанялся к хозяину, ростовскому греку, губастому, черному, — он называл его папуасом, — стал атаманом промысловой охраны и между прочим отбил у соседа три вышки рукой вооруженною. Вошел к папуасу в доверие и в заключение женился на дочери его, молодой папуаске, и прижил с нею маленького папуасчика, такого же губастого и черного, как и все папуасское ростовское колено.

Ребенок родился в апреле. А первого мая Авилов попал на массовку, со знаменем, с оружием и, конечно, с нападением жандармов. Тут уже Авилов из собственного маузера уложил околоточного и опять приходилось ему махать поскорее и подалее.

Свою папуасскую семью он бросил еще легче, чем колымскую, и на этот раз махнул за границу, чорт знает куда, через всю Европу, через всю Америку, на Аляску, в Ном-Сити и опять заработал по северу и по золотому делу. Тут он проделал карьеру «старателя» по всем рецептам Джека Лондона. Золота, конечно, не нашел, нашел все те же знакомые снега, морозы, езду на собаках, диких мужчин и еще более диких женщин. Сильные руки и плечи выручали Авилова. Он побывал лесорубом в Ванкувере, потом меховщиком на далекой фактории Гудзонова залива. Тут он собирался жениться в третий раз и тоже на дочери хозяина. Бабы и девки

липли к Авилову, как мухи на мед. Но на этом последнем этапе взорвалась мировая война.

## II

Авилов приветствовал войну, как старую желанную знакомую.

— Вот для этой войны я приехал из Сибири, — сказал он себе. И сразу из Канады устремился обратно в Россию. Проехал через Германию раньше других, но не в plombированном вагоне, а злее того. В Берлине он имел разговор с Альбертом фон-Шнее, техником германской контрразведки. Выслушал ряд предложений и принял их угрюмым кивком головы.

Но войны, разумеется, Авилов не принял. Ему были отвратительны неожиданный восторг и новорожденный патриотизм вчерашних революционеров. Он сразу стал на пораженческую линию и объявил войну войне по-своему, активно. Он был из тех безвестных и темных людей, кто взрывал пороховые погреба, сводил поезда с рельсов, даже снимал одиноких часовых, на плохо охраняемых постах. Правда, ротмистру фон-Шнее он не посылал донесений, ни прямо, ни косвенно. Но, должно быть, узнав об его подвигах, фон-Шнее с удовольствием потер бы себе руки. То была вода на его мельницу, до поры и до времени.

Вторая революция опьянила Авилова и выбила его из колеи. Она перехлестнула через все его частное буйство, дерзнула через верх его одиночных дерзаний. Тогда впервые он стал искать партию. Попал к анархистам, по прежней памяти, но они показались ему беспредметны и мелки. Их тоже вышибло из колеи. Одно время Авилов работал с левыми эсерами, участвовал в киевском убийстве генерала Эйхгорна и на

улицах Москвы палил из пулемета в пресловутом восстании.

Большевиков Авилов возненавидел сразу, хуже, чем старых царистов. Попытку внести в революцию порядок он принял, как личную обиду. В непрерывных боях и восстаниях он был сперва с зелеными, потом собрал разбойничий отряд и после стычки с красными перешел к белым, внезапно и почти молниеносно. В этой нелепой войне он нашел свое настоящее призвание. Ездил на тачанках, с пулеметом, делал набеги в советском тылу, не хуже Мамонтова, наступал, отступал, и так доотступался до южного берега Крыма. Эвакуировался с Врангелем, но за границей ему не было места. И он в третий раз махнул в Восточную Сибирь, на этот раз морем. Тут как-то неожиданно он стал просто белым офицером, начальником отряда, полковником Авиловым, — словно выцвел, слинял, старый анархист, буйный Викентий Авилов.

С Дальнего Востока вышибли на север. Авилов попал на Аян, из Аяна в Охотск, из Охотска в Олу. Из Олы он стал отступать через горы и на этот раз направился уже несомненно на реку Колыму.

Отряд у Авилова был пестрый до крайности. Были офицеры, Дулебов и Мухин, российские дворяне. Впрочем и Авилов был родом такой же дворянин.

Дулебов был розовый, стройный, в разговоре необычайно вежливый, даже скверными словами ругался неизменно на «вы». Мухин сухощавый и длинный в пенсне, растерянный, словно спросонья. При них ординарцы из старых солдат.

Горбоносый Алым Алымбаев, выдававший себя за черкеса, за «кнеза» (князя), уголовный дворянин, неизвестно зачем прилепившийся к отряду. В этом ужасном климате он неизменно щеголял в своей нескладной

кавказской бурке, раздутой, как колокол, как дамский кринолин.

Двое Новгородовых, дядя и племянник, якуты из богатого тойонского <sup>1)</sup> рода, бывшие судейские чиновники, ранее усердно насаждавшие в Якутии культуру. Они на революцию обиделись, смертельно обозлились, воевали, убивали и в конце концов стали отступать от собственных косяков и должников.

Барвара Алексеевна Словцова пристала к отряду в Владивостоке, — не к отряду, к Авилову. Была она смешанного типа: певица, девица. Но вместе с авиловским отрядом она отступала на Охотск и так далее. Авилов относился к ней так же спокойно и бережно, как ко всем предыдущим женам. Делиться Авилов не любил. И как-то по утрам, после ночного покушения, только посмотрел на розовые щеки Дулебова. Розовый Дулебов побелел, и мужчины отряда тотчас же превратились опять в монахов или евнухов.

Солдаты отряда состояли в большинстве из башкир и чувашей. Их родина была далеко, неизвестно где. Заброшенные в эту пустыню после стольких переходов, они чувствовали себя как будто на том свете и, не зная куда деваться, слепо шли за своими вожжами и делали страшные дела без мысли, без всякой заботы.

Было несколько русских, — российских и сибирских. Из них выделялся унтер Карпатыч Тарас, родом украинец из амурских новоселов. Он упрямо называл себя не украинцем — хохлом, кацапов ненавидел, башкир презирал. С некоторым страхом он относился к Авилову за его нечеловеческую силу и угрюмое спокойствие.

Как это ни странно, в отряде было трое ольских мещан, шедших с товарами на север. Они собирались

---

<sup>1)</sup> Тойок — господин (Якут.).

выменять пушнину по дешевке на богатой Колыме, а потом на побережье сдать ее в три дорога на японские шхуны, шнырявшие все время у берега взад и вперед.

Ольские мещане, однако, дороги не знали. Отряд вел Авилов без карты, по компасу, а главное по рекам, как делали старые казаки. Он намеревался подняться по реке Тарымче до вершины хребта и спуститься на какой-нибудь поток, спадающий на север к бассейну Колымы.

Товары, впрочем, были и в отрядной казне, которую Авилов распорядился единогласно и бесконтрольно. Все нарты были загружены чаем, табаком, сахаром и «жидкой валютой», ситцем и холстом. Все это скопилось в Охотске и в Оле, в обширных складах местных контор Чурина и К°. Чуринские приказчики дали товары Авилову, рассчитывая плату получить все той же колымской пушниной. Таким образом у отступательно-карательной экспедиции был также экономический подход.

Муки было довольно, но характерная подробность: мяса и рыбы для людей и собак захватили совсем недостаточно. Охотское побережье вообще кормами бедно.

Авилов не задумался: «Достаем по дороге!» — и выступил в поход. Он вспоминал, что пустыня на севере кормит обильно людей и зверей.

### III

Отряд подвигался вперед. Быстро вечерело, лес давно кончился, но теперь исчезали последние поросли приземистых кустов, открылась безлесная, голая, горная тундра. Снег сыпал целый день, но здесь, на нагорье, дунула пурга и завывала. Надо было остановиться на ночлег. Якуты и мещане стали выдирать из-под снега скрюченные корни кедровой и ивовой сланки, почти полуподземные, и сносили их в кучу.

Авилов вырыл под склоном холма своей огромной лыжей квадратную яму. Привязали голодных собак, оленей отпустили, лошади тоже ушли на поиск подножного корма. Но черные быки стояли понуро и не двигались с места. Их нужно было кормить из запаса, так же как собак.

— Сено все вышло, — сказал старый Новгородов молодому. — Чем кормить будем?

— Зарежем быка, — предложил по-якутски племянник.

— Резать не дам, — отозвался Авилов. — Рано.

— А чем кормить будем? — бранчливо повторил Новгородов, уже по-русски.

Авилов молча встал, снял с нарты берестяной туюс — ведро, потом развязал мешок муки и развел жидкую кашу-болтушку. Быки подошли и понюхали и стали хлебать, как-то не особенно охотно, скорее философски. Так накормил Авилов одного за другим крупчатой болтушкой всех троих отрядных быков. Ольские мещане смотрели, разинув рот, на эту расточительность. Мешок крупчатки стоил, пожалуй, не меньше хорошего быка.

Очередь была за собаками.

— Тесто месите, — сказал Авилов коротко.

Двое ординарцев стали послушно замешивать пресное тесто в ведре. Огонь уже пылал ярко. Жесткие корни были пропитаны смолой. Солдаты поставили на палках у огня двадцать шесть лепешек, потом поднесли их собакам. Собаки ели с отвращением и гримасами, но все-таки ели. Собак вообще кормят сушеной рыбой, а не белыми лепешками. Но у этого странного отряда все было навыворот.

Только теперь стали заботиться об ужине и о ночлеге.



Ночевщице устроили по всем правилам полярного искусства. Оградили брезентами-чумами с подветренной стороны. И в ногах развели линию костров. Чайники кипели, но тундренное топливо не давало достаточно тепла. Сидеть было холодно. Достали из ящичков остатки дорожных продуктов, сушеную рыбу, сухари. Непривычные рты обжигались одновременно горячим кипятком и мороженным маслом, холодным и твердым, как мрамор. Оно прилипало к нёбу, как железо на морозе, и таяло только политое горячим настоем.

Спать было еще холоднее, чем сидеть. Странники натаскивали на себя всякую мягкую рухлядь, старые палатки, истрепанные шкуры. Огонь прогорел и мерцал на снегу багровою грудой углей. И Михаев, чуваш, вымолвил уныло и несмело:

— Как будем дойти?

— Я доведу, — сказал Авилов.

Он притащил огромный кошменный мешок, служивший ему для спанья. Потом бесстрашно разделся на морозе донага и залез в свое ночное обиталище. Одетый в мешке не согреется и только одежда отволгнет.

— Голодные будем дойти? — сказал вопросительно Михаев.

Авилов протянул из мешка свою голую руку.

— Обоз съедим. Вот этих быков, оленей и собак. В нужде поедают и собак. Обоз — наша пища. Ну, спать пора, — сказал он сурово.

Варвара Алексеевна разделась на глазах у соседней со вздохами, даже со слезами, едва преодолевая колючую дрожь, и влезла к Авилову в мешок. Солдаты, офицеры, башкиры и чувашаи тоже залезли в мешки, большей частью попарно. Вдвоем теплее. Но и кроме того в дорожном товариществе стали вырабатываться

особые нравы. Люди не умеют и не любят быть совершенно одинокими.

Якуты и мещане из Олы закапывались в снег, как сурки, лишь бы продержаться до утра, заснуть и во сне не замерзнуть.

Нагие, мужчина и женщина, лежали в кошечном мешке, согревая друг друга. И женщина сказала печально и мечтательно:

— В такие часы я, бывало, в Царицыне ванну принимаю. Теплая вода и бутылка соснового экстракта... Лежишь, как в парном молоке. А горничная Маша на вытяжке стоит. Была жисть...

Авилов ответил густым храпом. Он брал ванну из свежего воздуха и крепкого сна...

---

Двух быков съели. Тощие были быки, сухие, как падаль. Кишками кормили собак. Кладь разложили по нартам. Оленям и собакам стало еще тяжелее.

— Куда идем? — роптали непривычные солдаты. Это путешествие было труднее и страшнее всех прежних.

И Авилов протягивал руку вперед, укрепляя оробевших.

— Там Колыма, там вдоволь оленины, рыбы...

Дорога поднималась безжалостно в гору. Не было ущельев, особенно крутых и обрывистых тропинок. Только вечный ветер дул без устали. Снег превратился в твердый, как камень, убой, — ножом не уколупнуть. На последнем ночлеге не было топлива. Всю ночь просидели без горячего, в морозных палатках, прижимаясь друг к другу, как куропатки в бурю. Утром взойшли на перевал. На юг и на север открылись волнистые долины. Круглые сопки тянулись одна за другой. Все было бело, пустынно, погребено в снегу. Как будто на всей этой земле не было дерева, не было живого

человека или зверя. Ни зверя рысучего, ни червя ползучего, как сказано в сказке.

Куда идти? Казалось нелепым спуститься в это снежное волнистое море и двинуться на север в холодную и мертвую пустыню.

Однако Авилов повел по перевалу своим полевым биноклем и увидел на левом подъеме три черные точки или пятнышка, маленькие, но подвижные. На снежной рубашке горы они походили на блох. Но в полевой бинокль это оказались горные бараны, самец и две самки. Самки паслись на площадке, выкапывая из-под снега копытами какие-то стебли и волокна. Под снежным убоем скрывалась растительная пища. Самец стоял неподвижно на краю площадки, поводя своими тяжелыми рогами. Он сторожил своих жен.

Свежее мясо было соблазнительно. Но с этой стороны подобраться на выстрел к баранам не было возможности. Однако, обводя биноклем перевал, Авилов увидел поодаль, на той стороне четвертое черное пятнышко. Оно было уже и вместо рогов несло перед собою прямую полоску. Это был зверь двуногий, гораздо опаснее не только баранов, но даже и волков. Какой-то охотник с ружьем подбирался к баранам на выстрел. На той стороне тропинка вилась меж наваленных камней, и подобраться к добыче было легче.

#### IV

Авилов и младший Новгородов вскинули винтовки и стали спускаться с горы, намереваясь обойти охотника снизу. Он подбирался к барану, они стали подбираться к самому охотнику. Охота получила вдвойне непредвиденный характер. Караван остановился вверху, в ожидании развязки.

Охотиться на человека было легче, чем на зверя, ибо увлеченный охотничьей страстью охотник не думал, что сам может оказаться дичью. Они разошлись широко направо и налево и спустились к подножью сопки, потом стали взбираться и красться, пользуясь каждым прикрытием. Теперь они видели ясно охотника, не нуждаясь в бинокле. Он был длинноволосый, в коротком кафтане, расшитом обильно бисером и спереди и сзади. Ружье его с узеньким ложем и с сошками у дула было, несомненно, кремневое. Это, очевидно, был ламут с потустороннего стойбища. Его нужно было поймать и расспросить, однако не причиняя ему зла.

Ламут подобрался к последнему камню, вскинул ружье; хлопнуло, визгнула пулька, сторожевой баран ринулся вперед, сделал прыжок ввышину и рухнул с обрыва почти к ногам удачного стрелка. И в ту же минуту из-за нижних камней выскочили двое с берданками:

— Стой, стой!

Но ламут, как кошка или рысь, стал карабкаться в гору, как будто собираясь заменить убитого барана на его сторожевом посту. Впрочем, пугливые самки давно уже умчались, как ветер.

— Стой! — кричал Авилов своим трубным голосом, поднимаясь по камням тропы. Расстояние ничуть не сокращалось. Ламут был проворнее и легче его на бегу.

Нечего делать. Авилов навел берданку. Пуля пропела мимо самого уха убегающего, но не задела его. Авилов не хотел его ранить, а только утратить и, если возможно, остановить его.

Якут тоже выстрелил с другой стороны в воздух, не целясь.

Ламут остановился, дрожа, опустив ружье дулом вниз, в знак покорности.

— Кто ты? — спросил Авилов, подходя.

Ламут посмотрел с удивлением и страхом на высокую фигуру полковника.

— Там, — отвечал он покорно на вопрос, указывая вниз, к северо-западу. Как многие из горных тунгусов<sup>1)</sup>, он немного говорил по-русски.

— А вы скуль? (откуда) — спросил он в свою очередь.

— Увидишь, — коротко ответил Авилов. — Новгородов, помахайте им.

Якут забрался до половины подъема, вышел на открытое место, потом привязал к ружью шейный платок и стал махать над головой, подавая сигнал каравану. Через четверть часа караван обрисовался на склоне горы во всем разнообразии животных и людей.

Пленник даже хлопнул себя рукою по колену. Они были еще довольно далеко, но его изощренное зрение уже различало отчетливо нездешние лица и ружья.

— Убивающие!..

Это характерное имя дали туземцы на севере русским военным отрядам.

«Застрелят, — думал ламут. — Столько ружей... И как прозевал, не заметил, увлекся охотой».

— Нашли человека, — крикнул Авилов отряду с заметным торжеством.

— Веди! — велел он ламуту.

«Там» ламута оказалось весьма далеко. Они спустились целый день по горной тропинке, более неровной и обрывистой, чем на приморской стороне.

К вечеру олени и лошади выбились из сил. Авилов велел раскинуть привал, — кстати опять появилось жесткое горное топливо. Но люди были неутомимее зверей. Десять человек самых испытанных и сильных — с

---

<sup>1)</sup> Ламуты — северные тунгусы.

собаками, с ружьями в руках, продолжали спускаться. Утром на свету, наконец, увидали ламутское стойбище. Три аккуратных шатра, седла и вьючные сумки, весь скудный, словно игрушечный скарб оленных всадников.

Солдаты рассыпались цепью. Усталости словно не бывало. Их возбуждало желание, самое сильное и острое в мире. Глаза их странно блестели, у длинного Тараса Карпатого даже слюна показалась в уголке рта. Ламут посмотрел по сторонам и прямо направился к стойбищу, уже не оглядываясь на своих свирепых спутников. Он словно позабыл об их страшных ружьях и далеко хватающих пулях. Это был его собственный дом, женщины, двоюродные братья.

На стойбище залаяла собака. Упряжка отозвалась в двадцать шесть воющих глоток. Из переднего шатра вышла девушка, молодая, полураздетая. Из-под узкого нагрудника откровенно и наивно выглянули ее молодые груди. Она улыбнулась навстречу знакомому лицу, но тут же увидела бороды и ружья и в ужасе крикнула:  
— Абау!

Это было непривычное слово. И за словом последовал жест. Обеими руками она хлопнула себя спереди.

— Абау! — То был меряк, особая болезнь, полярная истерия. У ламутов, как у русских, все бабы поголовно страдают меряком. И каждый внезапный испуг они отмечают неприличною бранью и жестами.

Карпатый набегал по дороге позади ламута. И возглас и жест подействовали на него, как будто приглашение. Еще через минуту должно было случиться неподправимое злодейство, какие описываются в сказках и сагах о северных сражениях:

«Мужчин перебили тотчас же, а от женщин лишь ноги попарно видны из-под стенки шатра. Вместо козяцких будут чукотские дети».

Так поют о коряцких поражениях чукотские былины. Таковую же былинку разыграли бы здесь чувашки и башкиры и русские.

— Стойте, проклятые! — крикнул Авиллов и даже замахал своими длинными руками, как мельничными крыльями. Он был тут же вместе с другими, а Варвару Алексеевну оставил на стойбище до нового утра. — Ко мне подойдите, собаки!

Четвероногие псы ответили разнообразным лаем. Двуногие стали подходить с опущенными головами и опущенными ружьями.

— Учить вас, чертей! — гудел Авиллов. — Собак привяжите, достаньте еду и товары.

Солдаты привязали собак, выгрузили запасы — «три белых, два черных», как говорят на севере, т. е. белую муку, круг белого масла, голову белого сахару и черный табак и черные доски кирпичного чаю и помимо всего еще и дубовую фляжку со спиртом на четверть ведра. Из патров выбежали женщины, дети, мужчины. Мужчин было еще двое, старик и молодой, а женщин было пять, старуха, две бабы, две девки и до десятка детей, полуголых и невообразимо грязных.

Увидев российские припасы, ламуты позабыли о ружьях. Такого богатства под этой горой люди не видали уж три года. Они забормотали, засмеялись и стали доставать из мешков свои собственные лакомства.

Через час в среднем патре у бывшего пленника шел пир горой. Оленьи языки, сушеная сохатина-лосина, колобки из кедровых орехов и ягод с салом, топленным и толченым, встретились с морскими галетами и желтым японским леденцом. Особенно плоская фляжка потрясла ламутов. Каждый из них за единый глоток водки мог бы при случае не только имущество отдать, а соб-

ственный палец отрубить, вырезать кусок мяса из собственной груди. А тут давали чистый спирт и даром.

Этот день, с утра превращенный в ночь, привел и русских гостей к исполнению желаний. И все обошлось мирно и почти бессознательно. Даже молодые девки так напились, что перестали отличать, где свои, где чужие. Русские были не более разборчивы. Так что и ламутская старуха удостоилась доли внимания, которое ей приходилось по расчету: 5 : 9. Ибо десятый, Авиллов, рассудил не трогать солдатского счастья и остаться при своем.

— В любви не делюсь — таково было его неизменное правило.

К вечеру пришел караван. На стойбище дневали. По-братски разделили старые и новые припасы, включая и живые. Потом захватили с собой ламутов, с шатрами, с детьми и с оленями и двинулись вперед.

Ламуты, после первого угара, стали ощущать себя совсем неестественно, словно во сне.

Чай с сахаром, белые лепешки, не разведенный спирт, высшее блаженство и экстаз, доступные людям. А с другой стороны, их захватили и ведут, неизвестно зачем. Оленей забрали под русскую кладь, а русских отпустили, ибо они выбились из сил. Одну жирную важенку убили на еду. Одним словом, имуществом стойбища распоряжались незваные странные гости. Русские присвоили женщин и, главное, понравились женщинам. И даже старуха перестала принимать своего захудалого спутника, с которым прожила вместе тридцать лет.

Теперь караван шел лиственничными<sup>1)</sup> лесами, с песнями, с прибаутками на разных языках. Встретили по дороге еще одно ламутское стойбище. Мужчин и

---

<sup>1)</sup> Лиственница — хвойное дерево.



олений забрали на работу, а женщин опять разобрали по рукам, по праву присвоения и временной покупки или мены.

## V

К вечеру скатились с перевала на спокойную реку Крестову. Ее называли ламуты дочкой реки Омолона. Река Омолон был сыном реки Колымы. Реки, как люди, имеют свои семьи. Здесь на Крестовой реке нашли широкую дорогу, вытопанную мелко сотнями и тысячами оленьих копыт. Начинались владения чукоч, богатых и сильных, гордых своими большими стадами, стойких в защите, неукротимых в нападении.

Собаки по твердой дороге подхватили в галоп. Сзади бежали трусцой утомленные олени. Их никогда не пускают вперед, чтобы не раздражить без меры и нужды свирепую упряжную свору.

Однако на сей раз «убивающим» не удалось захватить врасплох чужих стойбищ. Жители вышли навстречу им сами с винтовками в руках. Их американские винчестеры были несколько не хуже российских военных берданок. Они их купили у бродячих чукотских торговцев, выменивая их на песцов, которые уходят в Америку.

Чукотских воинов было человек тридцать. Некоторые надели на себя дедовские панцири, искусно изготовленные из костяных и железных пластинок, связанных и стянутых тугими ремешками. Железные панцири весили более пуда.

В этом отдаленном углу чукчи никогда не видали даже местного русского, тем более пришельцев из России с длинными ножами на ружьях, готовых убивать налево и направо. И при виде подходивших солдат, особенно огромной и мрачной фигуры Авилова, молодой

чукча Ваип ощутил вдохновение и запел старинную былинку о Якунине, русском вожде, которому чукчи два века назад нанесли такое страшное поражение.

Якунин, худобивающий, в белоблестящем панцире, шагает, как белая чайка.

У входа в ущелье стоит молодой Кеургин с луком в руках и пьет из чаши воду.

«Пей хорошенько, Кеургин, больше не будешь ты пить на этой земле!»

Якунин был русским майором и его настоящее имя было Федор Павлуцкий. Его поражением и страшною смертью в 1747 году окончилась бесславно русско-чукотская война.

— С чем вы? — сказал старый Кека, патриарх и хозяин на стойбище. — С добром или злом?

Авиллов молчал. Маленький ласковый Дулебов выдвинулся вперед.

— Мы вам не сделаем зла, — сказал он убедительно.

Кека покачал головой:

— Кхо!.. Не понимаю!

Первый ламут подошел и перевел. Кека пожал плечами. Его молчаливые жесты были достаточно понятны.

Чукчи с живым любопытством рассматривали ружья с ножом на носу, как у ворона, и длинный пулемет с железным хоботком, прилаженный на санках.

— На кого вы идете? — спросили чукотские воины.

— На русских речных, — сказал отрывисто Дулебов. — Это враги наши, они царя убили.

Кека покачал головой.

— Солнечного господина убили, — сказал он задумчиво. — Не оттого ли так много дождя и тумана и легче солнце затмилось... Но, может быть, теперь перестанете детей переводить.

Русского царя чукчи называли пышно: Солнечным владыкой, но они сложили про него жуткую легенду: будто во дворце его есть под ледяными (т. е. зеркальными) полами глубокая дыра, которую слуги царя затыкают дорогими мехами. Для того и собирают ясаки, подати мехами с юкагиров и чукоч. В той дыре обитает жадный чудовищный дьявол, который питается мехами. А если не хватит лисиц с соболями, надо добавлять волшебную затычку головами казачьих детей.

Чукотская легенда, в сущности, близка к правде. В царских дворцах и парламентах, действительно, есть под полом загадочный дьявол, который поглощает все собираемые подати и глотку ему затыкают головами человеческих детей.

Обе стороны молчали и ждали. Воины в панцях, желая показать удалство, стали делать упражнения. Они подпрыгивали высоко на месте, встряхивая тяжелой железной юбкой, привешенной к панцрю, и выпадали копьями далеко поверх высокого обводного щита воротника. Двое сошлись и стали фехтовать, косье на косье: спереди, сзади, спереди...

— Кека, суди! — послышался ропот среди оружейных бойцов. С американскими винчестерами нельзя было делать воинских упражнений. Надо было просто стрелять или просто мириться.

— Станьте в соседях, — сказал Кека, подумав, — сегодня мы рассудим.

В чукотской дипломатии имеется несколько словесных оттенков. Слово «соседи» еще не означало ни дружбы, ни гостеприимства. Но оно не означало вражды. Первое сближение означает словом «гости». Второе, более тесное сближение, словом «друзья» и третье, интимное, словами «связанные вместе».

У чукоч на стойбище был большой осенний праздник одежного убоя. Они убивали сотнями молодых черных пыжиков, назначенных на зимние одежды. В это время олени бывают особенно жирные и шерсть на них лоснится. К богатому Кеке съехались соседи со всего околотка. Ели жирное мясо и сало, устраивали игры и скачки, бегали взапуски, боролись. Любовные пляски перемежались с торговыми обрядами, с шаманством, с гаданием. Вот отчего на стойбище Кеки собралось довольно молодцов, чтоб встретить «худобубивающих» суровой и плотной стеной.

В эту ночь в югромном хозяйском шатре после ужина собралось совещание. По обычаю племени собрались все взрослые мужчины, носители копьа и ружья. Молодые имели тоже голос.

— Ваип, скажи, — потребовали юноши у самого задорного стрелка. По обычаю младшие всегда начинали и в битве и в совете.

Ваип вышел вперед, опираясь на посох. Посох был вместо ружья, ибо с ружьями ходить на совет воспрещалось.

— Я допою свою песню, — сказал он просто. И начал все тот же напев, что недавно при встрече отряда. Он, собственно, не цел, а говорил нараспев старую любимую былинку.

Якунин худобубивающий, в белоблестящем панцыре, шагает, как белая чайка.

Отчего худобубивающий?

Оттого: — чукотских мужчин пополам разрубает железным топором.

Женщин разрывает надвое, как сушеную рыбу...

Пришел к русскому царю.

Привез трое саней, груженных чукотскими шалками.

— Всех детей Беломорской Жены перебил я.

— Не верь, Якунин!

— Еще много остроклювых пташек прячется на тундре в осоке...  
Вышел Якунин вперед. Машет копьём.  
Прыгает высоко, как вершина дерева.  
Железный котел на его голове, две дыры вместо глаз.  
Мальчик Кеургин выстрелил стрелкой из китового уса.  
Попал ему в глаз.  
О ты, худобубивающий! У нас нет топоров из железа.  
Но на малом огне, как рыбу, изжарим тебя...  
Стукнули Якунина дубиной по железному горшку.

И воины в панцях вышли вперед и топнули ногой в свирепом восхищении и тряхнули железными юбками.

— Что скажете, люди? — спросил негромко Кека.  
Но для ответа певцу вышел высокий Лилет. Он был вдвое старше задорного Ваипа, и на верхней губе его чернела полоска усов, признак совершенной зрелости, умственной, телесной, семейной и хозяйственной. Он был, одним словом, «сам с усам».

Он поглядел с полупрезрением на молодого певуна, но вместо речей и доказательств ответил и сам другим речитативом. То была песня о братстве, спетая впервые тундренными удальцами тоже давно, но гораздо позднее Павлукского. Ибо с этой песней чукчи помирились и даже побратались с казаками и начали обильную и соблазнительную торговлю.

Кто напоит меня чаем душистым и крепким,  
до-сыга накурит пахучим и черным табаком,  
жидкого пламени выпить мне даст, рождая веселье?  
Это мой милый земляк, русский двоюродный брат.

Эту песню пропели чукотские воины в 1789 году исправнику Баннеру на первой чукотской ярмарке, снова испробовав русских товаров после полувекового перерыва. Теперь тоже был перерыв и не было табаку.

И дядя Ваипа, Кеуль, широкий и черный, как медведь, зажмурился сладко и даже простонал:

— Табачок!.. о, табачная горечь, сладкая, как сахар!..

— Люди, решайте, — напомнил собранию Кека.

И Чанго, почтенный хозяин соседнего стойбища, покачал головой и изрек:

— Спокойных не троньте. Сели в соседях, так пусть и сидят.

## VI

Счастливую неделю провели «худобивающие» припельцы в своем вольном лагере по соседству с чукчами. Лучшего лакомого мяса было вдоволь. Даже усталые собаки отдохнули и разъелись. Русские олени паслись на моховище, вместе с чукотскими стадами. С утра до вечера шла бойкая торговля. Чукчи привозили готовую одежду, пышную и черную, дорогие меха, и продавали их за бесценок. Они вытащили из мешков даже драгоценнейшие товары — патоку в бутылках и конфеты, перекупленные через несколько рук от американских торговцев в Беринговом проливе. Жевательный табак американский встретился с курительным русским. Жгучий корабельный ром — с охотским самогоном, вонючим и сногсшибательным.

Еще одно удобство. Чукотские женщины были красивы и рослы и, по старому обычаю, чужеземцы получали права гостеприимства на-ряду с приезжими чукотскими соседями из более далеких стойбищ. К концу недели каждый солдат и денщик имел своего особого дружка с женой или сестрой, и при этом дружке он состоял на правах официального друга дома.

Ламуты и ламутки отошли на задний план. К ним чукчи отнеслись с пренебрежением и плохо их кормили. И главная обида — их не приглашали на попойки.

Они замолчали и надулись, и на шестое утро Карпаты и Михаев обнаружили, что ламуты ушли со всем своим скарбом и немногими оленями. Авилов обругал их трехэтажным словом и велел посмотреть ламутскую дорогу. Они ушли на северо-запад к реке Колыме, опережая «худобивающих» на будущем пути.

Еще через день произошла крупная размолвка с чукчами. Ваиц, Лилет и Кеуль, трое самых заметных удальцов на стойбище Кеки, пришли к русским с особо торжественным видом. Русские жили под собственным кровом. Они поставили палатки или просто заплели шалаши из ползучего кедра. Палатка Авилова стояла впереди, как подобает начальнику. Чукчи вошли, поклонились и положили на землю три дорогие шкуры: пеструю рысь, белого северного волка и пышного бобра, перекупленного у американцев.

Они сложили их к ногам Варвары Алексеевны и степенно сказали:

— Приглашаем на вечернюю пляску.

Вместе с Авилковым в палатке были оба офицера, Мухин и Дулебов. Они только ахнули. Этот чукотский обычай был им известен. Ибо в начале недели каждый из них плясал эту пляску с чукотской партнершей, предварительно сложив к ее ногам жертвенно-любовную постель. Дама наутро постель забирала себе. На праздниках иные красавицы заметно богатели дорогими мехами.

За неимением мехов русские клали кошемки. Чукотские любовные дары были богаче и пышнее.

Авилов молчал. Но лицо его наливалось густою коричневой краской.

— Ступайте прочь, — сказал он искусителям, — мерзавцы!

Чукотский язык беден бранью. И слово «меркичиргин» — мерзавец, в одноэтажности своей является вполне многоэтажным.

— Наших брали, — сказали чукчи с каменной твердостью. Ссориться они не желали, но хотели настоять на своем.

— Не я, — они, — указал Авилов презрительно на братьев офицеров.

— Родня твоя.

— Собачья, — отозвался Авилов с презрением.

Разговор велся по-чукотски и офицеры не понимали слов. Но они понимали, в чем дело и разбирали интонацию Авилова. Они хмурились тоже и упорно молчали. Спорить с Авиловым не хотелось ни одному из них.

— Вы тоже собаки, — перешел в наступление Авилов. — Ступайте прочь отсюда!

Чукотские первые любовники только головами трянули. Это было совсем несправедливо. Собаками издревле назывались у чукоч русские, всех званий и всех партий, вместе с их лающей скотиной.

Кеуль, самый старший из трех, начал хмуриться.

— Знаешь обычай, — сказал он сердито, — я вижу, ты здешний, ты знаешь: голову за голову, женщину ва женщину. А братья по женам до смерти кровавой на одном берегу.

Такие переменные и сложные браки считаются у чукоч священными и нарушение взаимности принимается за кровную обиду. Но Авилов промолвил насмешливо:

— Пускай хоть и до смерти... до вашей!

— Сами возьмем! — крикнул запальчиво высокий Лилет и дерзко сделал шаг по направлению к женщине. Авилов протянул руку и схватил его за шиворот. Вы-



шла бы, наверное, резня. Но Варвара Алексеевна ступила вперед и наступила на черную шкуру.

— Сама пойду, — сказала она истерическим тоном. — Плясать, так плясать. Я спляшу, а они пусть посмотрят.

— Я тебе спляшу, — сердито отозвался Авилов, сжимая кулаки. — Шлюха такая.

— Шлюха, так шлюха, — сказала Варвара без злости. — А плясать — я плясала довольно. В ресторане на столах, пред офицерами. А, бывало, под столами, и даже и под офицерами... Музыка, играйте!.. Я буду плясать!..

В этот вечер в большом шатре у богато-оленного Кеки, в наружном помещении, при свете большого костра, Варвара Алексеевна Словцова плясала на разостланных кожах, лощеных, как паркет. Плясала она свой собственный танец, одна, без кавалера, но весьма убедительно. Начала круто, фокстротом, проскакала матчишем, а закончила русскою пляскою. На ней было красное платье и красные сафьянные чуваки на ногах. И ее золотистые волосы были распущены на плечи. И когда ее статная фигура прыгала в стороны, за нею взметывался красный хвост и она походила на кобылу, красную, с рыжим хвостом. Ее тяжелый танец удивительно шел к ее крупным, но все еще стройным формам. И время от времени в приливе удали она вскрикивала по-цыгански: га!..

Чукчи смотрели на нее, как зачарованные. Их глазам, привычным к бесформенным мехам их собственных женщин, эта буйная русачка казалась, как голая. И в то же время она вся была одета огненным платьем своим, огненными волосами, одета огнем. И молодые удалцы от оленьего стада вспоминали предание о Йигине, Солнечной жене, рожденной от медных лучей днев-

ного светила и столь прекрасной, что при одном взгляде на нее земные мужчины падали от сладострастия, умирали от трясения хребта.

— Пить, — сказала она коротко, утирая пот с лица.

Лилет поднес ей серебряный ковшик, налитый рыжим напитком, купленным от американцев. Напиток был лютой крепости и он подходил по тонам к ее волосам и фигуре.

Она стала пить, медленно, но без отдыха и вышла ковш. Потом пошатнулась на месте и вышла из шатра, направляясь к своей собственной палатке.

— Не надо, пусть идет, — сказал черноусый Лилет, почти со страхом. Но потом обратился к Авилэву. — Пускай по-твоему. Но если не через бабу, так ты сам должен с нами побрататься.

— А если не стану? — с усмешкой спросил Авилэв.

— Тогда война, — серьезно ответил Лилет.

— Как братаются у вас?

— Через спирт и через мухомор. Спирт по-вашему, мухомор по-нашему...

— Давайте по обоим...

В эту ночь в большом шатре у богатого Кеки творилось торжество. Трое чукотских удальцов и русский полковник Авилэв братались через мухомор. Лежа на шкурах рядом, они жевали жесткие волокна сушеных мухоморов, запивая холодной водой. И духи мухоморов овладели ими и увели их в различные страны по своим мухоморным путям. И заставляли их переживать мухоморные усилия, пробиваться наружу сквозь твердое, вырастать под землей и потом разворачивать головой тяжелые верхние пласты земли.

Чукотских удальцов мухоморы увели в далекую западную землю, в неизвестную страну СССР и сделали их ростками питательного хлеба и заставили пробиваться

из почвы тяжелыми круглыми булками. Ибо мухоморы, живущие в чукотской стране, не знают ничего о посевах зерна и хлеб представляют себе в виде круглых булок и квадратных сухарей.

И железными копьями сделали духи мухоморов троих удальцов и просунули их из-под земли железным наконечником наружу. Ибо не знают мухоморы ничего о руде и о выплавке металла. Им ведомы лишь копья, готовые ножи и тесла и котлы.

А полковника Авилова увлекли мухоморы на Северное море и сделали его тюленем, который живет подо льдом и лед пробивает головой через каждые четверть часа, чтобы глотнуть воздуха, и сделали его желто-опушенным гусенышем, рожденным в яйце и долбящим своим роговым клювом твердую и круглую темницу.

Так всю ночь до утра водили за собою мухоморы испытуемых витязей. А братанье было на утро. И совершилось оно выделением их собственного тела. Но не кровью, а иным. Ибо на путях мухоморов все соки человеческого тела исполнены мудрого пьянства и годны для опохмела, но не от себя, а от товарища. Это создали всемогущие мухоморы на новый опохмел для естественного братства.

Выпили братскую чашу Кеуль и Лилет и Ваип удалый от русского полковника. И пригубил полковник Авилов от троих чукотских удальцов их смешанной мочи. У него жестоко болела голова от того распроклятого гусеныша, колотившего всю ночь роговым своим клювом по яичной скорлупе, и ему было все равно, чем опохмелиться.

## VII

Покинув чукотские стойбища, неделю шел отряд с увала на увал, добираясь до русских селений. Был

лес для топлива и мясо для еды. И порою встречались, как вежи, чукотские стойбища и юкагирские жительства. Итти было не трудно и не страшно. И так перебрались каратели с вершины Омолона на воды Колымы.

На восьмой день стали доходить до крайних рыбачьих поселков по речке Слизовке, притоку реки Колымы. Наскучив ночлегом в снегу, солдаты мечтали о топленных избах, о бане, о вареной еде и о женщинах, одетых в русские ткани и говорящих на понятном языке, — положим, не особенно понятном для чувашей и башкир.

И словно позабыли солдаты, что идут не в прогулку, а на новую войну, в карательную экспедицию.

Но первая встреча с колымчанами окончилась:

Дымом пожаров,  
пеной крови братней...

Это случилось на заимке Евсеевой, пониже Слизовки. Было на заимке два дома, русский и якутский. Якутам было имя Масаковы, а русским Берестяные. И неведомо как и откуда дошла к ним весть: подходят «убивающие». Но думали, может быть, пройдут мимо. Пустыня широка и бездорожна и путников не манит. Однако жили опасно и сторожко. Высылали разведчиков на охоту и вместе на охрану к юго-восточному краю своего охотничьего околотка. На первую неделю ноября очередь сторожить выпала на русскую семью.

Рано поутру вышел Микша Берестяный, еще один Микша Берестяный, не тот, наш знакомец из Середнего, а его двухродный братан, впрочем, лицом и поведением похожий на колымского максола.

На лыжах и с кремневым ружьем отправился второй Берестяный вдоль берега на поиски за белками, а если попадется олень или целый сохатый — так еще

того лучше. Перебираясь через сопки и замерзшие ручьи, он забрался верст за десять от родного поселка и вдруг как-то ощутил, не слухом, а телом и фибрами нервов: подходят враги. Спрятался за елью, мохнатой и огромной, и ждал в молчании.

И вот в причюном редколесье показался все тот же баснословный уродливый поезд: лошади, олени, собаки, солдаты, офицеры, якуты. Микша глядел на них с остолбенением. Таких людей и таких упряжек он никогда не видал на своем коротком веку. И привлекаемый непреодолимым любопытством, он стал пробираться поближе, перебегая от дерева к дереву, как легкая лисица. Солдаты не останавливались и шли вперед, угрожая отрезать его навсегда от родного поселка. И тогда не выдержал Микша и пальнул из кремневки почти машинально и снял одного, не офицера, не воедья, а просто рядового чувашина, с самого краю: все-таки одним меньше.

Забил другой заряд и снял другого, тоже не великого зверя, мухинского денщика. Он щеголял в португее и в новенькой шапке с кокардой и заплатил головой за свое щегольство. Откуда было знать речному стрелку, какие бывают денщики и какие поручики.

От дерева к дереву, прячась, мелькая, как быстрая тень, назад, назад уносился Берестяный Микша. Но солдаты уже спохватились и мчались в погоню, рассыпавшись веером по лесу. Лес был редкий, каменный череп прибрежной горы имел мало поросли, и прятаться было трудно. Младший Новгородов скользил впереди, тоже от дерева к дереву, весь отдаваясь веселой охоте за живым человеком. Михаев и Карпатый неслись не отставая. А справа огромный Авилов ломил через лес, словно мамонт, не разбирая дороги и совсем не опасаясь неприятельских пуль или стрел.

Берестяный почувствовал, что они его догонят. Он снял свои лыжи почти на ходу, забросил их на спину и смело начал спускаться на реку по крутому обрыву горы. Цепляясь за камни и за корни, он быстро соскользнул прямо на лед под обрывом. Посредине реки змеилась накатанная полозница, обычная зимняя дорога приречных поселков. Но Микша не вышел на дорогу. Он двинулся вдоль берега назад, укрываясь под скалами, обогнул выдающийся в реку Шершавый Бык и вышел на новое плесо реки. Извилистая Колыма тут отворачивала вниз почти под прямым углом. Запутав следы, Микша смело выскочил на гладкую дорогу и помчался впереди на своих скользких лыжах, пожирающих пространство.

Охотники за человеком спустились на реку повыше беглеца и сразу не нашли его следов. Отдаваясь направлению охоты, они двинулись вверх по реке, тоже вдоль самого берега. Но якут Новгородов посмотрел по реке вверх и вниз, прикинул изгибы реки и положение Шершавого Быка и понял, в чем дело.

— Непременно он за плесом, — крикнул якут и вынесся на лыжах по дороге. Трое других помчались вдогонку за передовым. За мысом по дороге летела живая добыча, быстро уменьшаясь и съезживаясь в мерцающем пространстве. Она была уже вне выстрела, но спрятаться ей было негде. Плесо Колымы от Шершавого Быка так и называется Длинным. Оно простирается верст на пятнадцать, и следующий нижний отворот у Зеленого Камня чуть брезжит впереди.

Началась лыжная погоня. Карпаты и Мухин немного подержались с передними, но после отстали. Зато сзади выкатились на реку еще несколько фигур. То были ольские мещане и солдаты из Сибири, тоже умевшие бегать на лыжах.

Новгородов и Авилов мчались рядом. Новгородов внутри полозницы, по накатанной дороге. Тут было узко и можно было сквырнуться на раскате. Раскатами зовутся на севере ухабы полозниц. Но зато было легче скользить по гладкому, лоснящемуся снегу.

Авилов шел рядом по мягкой целине. Снег садился под его лыжами, но он не отставал. За минувшие недели он воротил все полярные навыки, и неистовый дикарь, живший всегда в его мрачной душе, снова как будто оброс меховыми одеждами и вместо российских колесных дорог и кавказских хребтов воротил своим подошвам живое ощущение мягких колымских снегов.

Прошло минут десять. Фигура впереди перестала уменьшаться, но ничуть не росла. Они не упустили и еще не нагоняли беглеца. Тогда рассердился Авилов. Даже в глазах у него потемнело, потом вспыхнуло красною жаждой убийства. Он сдернул винтовку с плеча, выстрелил, не целясь. Пуля улетела куда-то далеко, но не только не попала, а даже не догнала беглеца. Авилов заскрипел зубами и дернул лыжами, словно тоже скрипнул, и вынесся вперед за Новгородова.

— Стой, стой, — кричал пораженный якут.

Он не ожидал, что этот русский облом обгонит его, коренного лыжехода с Алдана-реки, на первом перебеге. Но остановить Авилова было так же невозможно, как удержать паровоз, когда в половине дороги он начинает надавать ходу.

— Шш! — лыжи шипели, и убегавшая фигура теперь выростала и словно приближалась. Полковник Авилов, наконец, догонял беглеца. Время от времени он срывал ружье с плеча и стрелял, попрежнему не целясь, да и невозможно целиться на таком быстром бегу. Но он хотел напугать беглеца. А кроме того какая-нибудь шальная пуля могла как-нибудь все же

попасть. Новгородов отстал безнадежно. Уже было так, что и сзади Авилова чернела такая же узкая полоска человека, как и впереди. Другие солдаты были как уколы на белом покрове реки.

При последнем выстреле Авилова беглец, наконец, повернул поперек, снял с плеча малопульку и выстрелил в Авилова. Неожидавший этого Авиллов тоже свернул поперек и чуть не опрокинулся. При меткости колымских стрелков он мог бы почитать себя убитым. Но выстрела не было. Застреливши Авилова, беглец бы ушел невозбранно. Другие бы его не догнали. Но кремневка не хотела стрелять.

Быстро, как молния, у Авилова мелькнуло в уме: в капсуле засечка, не прочистишь, так не выстрелишь. Кремневые ружья после двух-трех выстрелов нередко угощают охотника такими сюрпризами. На охоте капсуль прочищают особенным шилом. Но Микша ведь был не охотник, а добыча. И у него не было времени.

«Живого возьму», — торжествуя, подумал Авиллов.

— И-го-го-го, — заржал он, как веселый жеребец, и не стал беспокоить винтовку. Прямо в упор он помчался на затравленного зверя, как огромный военный снаряд. Берестяный не стал убегать. Он вынул из-за пояса рожок и подсыпал на полку блестящего крупного пороха. Порох этот был американский. Его доставали через чулоч с Берингова пролива. Поречане говорили, что этот американский порох совсем не годится для их узкоствольных кремневок.

Еще раз выстрелил Берестяный, чуть не в грудь полковнику, страшному воину с далекой Руси. Вспыхнуло пламя на полке, шикнуло и сгасло. Кремневка стрелять не хотела. Авиллов уже набегал. Он показался Берестяному высоким, как сосна, широким, как изба.



Он уже заслонял от его глаз ясное солнце и весь белый свет.

Берестяный брякнул о землю своим бесполезным ружьем, оборвал свои лыжи и вскочил на дорогу свободными ногами и вдруг завизжав, как лисица, бросился навстречу врагу. Он даже не выдернул из-за пояса древнейшего оружия — ножа. С голыми руками, как был, по-звериному, он бросился на огромного противника, схватил его когтями за шею и зарылся в плечо разгоряченным лицом, стараясь запустить свои острые зубы сквозь мокрую одежду в живое и тугое человеческое мясо.

Авилов отодрал его от груди, как щенка или кошку, и поставил пред собой на расстоянии руки.

— Чей ты, — спросил он сурово, — и где ваша займка?

Микша раскрыл рот и завизжал. И в голосе его не было человеческих слов. Он трепетал и изгибался в крепкой руке Авилова, как лисенок, закушенный собакой.

— Бей, не боюсь, — закричал он, наконец, — русскую кровь проливаете.

Формально он был не прав. Первую русскую кровь на реке Колыме пролили именно его собственные меткие пульки. Теперь пришел черед пролиться и его крови.

Поровнялся Новгородов. Свернул с полозницы, проехал вплотную мимо Авилова с пленником и, выдернув нож из-за пояса, ударил Микшу под ребро, так же хладнокровно и точно, как убивают оленей. Микша подскочил и повис, как тряпка, у Авилова в руке. Удар был нанесен прямо в сердце.

— Сволочь, зачем? — крикнул Авиллов, вне себя от изумления и гнева.

— Они сволочи, — цыркнул Новгородов ядовитым голоском. — Надо их душить до последнего, сукиных гадов таких.

— Гадина ты, — сказал с отвращением Авилов.

— Меня самого полоснул на Алдане такой же полуродок, — объяснил Новгородов. — Квиты теперь. Я, видно, лучше пластаю. Волк однажды хватает, да метко берет.

Авилов пожал плечами.

— Хотя бы расспросили, где их заимка проклятая. Новгородов презрительно хмыкнул.

— Сами найдем. Теперь на следу. Дорога-то вон... Да ты и сам, чай, знаешь.

Авилов даже вздрогнул, словно толкнули его. Он, действительно, узнавал знакомые места. Вот там был Евсеевский остров, Отцова тонея. На этой тоне они неводили лет двадцать назад, в первый год его политической ссылки.

## VIII

Набежали другие лыжники и с любопытством обступили убитого.

— Что смотреть, — жестко сказал Авилов. — Убили — так убили.

И он слегка потрогал носком тело убитого.

— Зарыть? — спросил Карпатый.

— Не время, — сказал Авилов. — Идем на Евсеево..

Так оставили белые первое тело колымского воина, убитого ими, без погребения, без четья-петья могильного, на пожор горносталям и лисицам.

Евсеево было за островом в протоке, верстах в четырех. Жители слышали выстрелы. Поднялись суета и разгром. Женщины в безумном страхе хватали детей и убегали в лес, в чащу, рискуя замерзнуть без крова.

Мужчины грузили на собак жалкую рухлядь, запасы и уезжали вниз по той же наезженной дороге.

Белые видели их на реке, но не стали преследовать. Им не терпелось добраться до домов, до русского уюта. Но на жилом угорье, над рекой, было тихо. Копошились облезлые собаки, которых за старостью никто не запрет. И из каждого дома вышло на встречу по паре, старик и старуха. Они не хотели уехать и бросить: «житье-бытье, имение». И думалось так, что белые — беглые, старых не тронут.

Передний старик был Ивака Берестяный. Белые только что убили на реке его старшего внука. Черкас подошел и ударил его прикладом по шее, однако не больно, скорее для примера.

— Квартиру, еду, — крикнул он грозно.

Он был интендант, квартирмейстер, даже финансист отряда карателей. Он реквизировал, грозился, при случае даже расстреливал. Впрочем, это последнее дело не требует умения, а только охоты.

— Все подавайте! — крикнул еще раз интендант.

Старик только рукою повел: все, дескать, ваше.

В эту ночь белые каратели, наконец, поели и вздохнули по-человечески. В двух Евсеевских жильях было четыре избы, две зимних, две летних, но прекрасный колымский чувал, деревянный, помазанный глиной камин, был во всех четырех. Затопили веселый огонь, обогрелись и разделись, сварили похлебку из рыбы с мучною и масляной забелкой. И те же старухи стали таскать из амбаров своеземную еду, соленые пупки, брюшка от омуля и нельмы, мороженную печень налима, копченые гусиные полотки.

Масаков, как якут, имел недалеко у родичей по травяным озерам коров. Оттого чай пили с морожеными пенками, снятыми с густого варенца. Офицерам

даже поднесли деревянное блюдо керчаку, густо взбитых сливок, вместе с растертыми ягодами божественной княженики. Это, действительно, было княжеское блюдо, подходившее и почетному званию карательных вождей. Хозяева в заимках были позапасливее городской гольтепы. На далекой Колыме были такие же город и деревня, как и в Московской губернии. Город реквизировал и грабил и пухнул от голоду. Ограбляемая деревня ела в три горла и пухла от сытости.

Спирт лился щедрою струей. Это было первое завоевание белых на реке Колыме. Угостили стариков и старух и каких-то детей, которые выползли к вечеру из тайных прикрытий. Но женщины не возвращались. Офицеры заставляли плясать подгулявших старух, и одна покорилась и пошла выделывать русскую. Впрочем, скорее это была пляска смерти, чем русская.

Однако Карпаты, выпивавший с офицерами, пришел от этой пляски в неистовый восторг и с размаху стукнул кулаком по столу. Старуха подскочила, изругалась нехорошим словом, потом с болезненным визгом схватила топор с лавки и пустила через комнату в голову Карпату. Попасть не попала, однако топор вонзился в еловую притолоку и остался торчать.

Чуть не зарубили офицеры визжавшую старуху. Но вступился Авилов и сказал, что и это болезнь меряк и что колымских старух безнаказанно трогать нельзя.

Мерячки вообще способны на капризы. То отвечают на окрик покорным исполнением приказа, даже самого нелепого и грязного, а то реагируют камнем, ножом, топором. И все это внезапно и безвольно.

Веселье оборвалось. Офицеры выпивали и дальше и впали в чувствительность.

— Отделимся от России, — предложил мечтательно Дулебов, — чорт ее возьми, объявим великое княжество.

Как это у красных говорится, автономия, что ли? Разведем и себе такую антимонию. Для каждого по княжеству, Авилов в великих князьях, а мы себе в малых князьках, по уделам. У каждого будет свой собственный удельный департамент.

Дулёбов не был силен в истории и смешивал княжеские уделы с царским удельным ведомством и автономию с антимонией.

В эту ночь Карпаты и Михаев лишили обеих старух их старческой невинности. Старухи покорились. Они были так испуганы и сбиты с толку, что если бы даже их резали, они бы приняла это как неизбежное и молча.

## IX

После возвращения максолов с лебединой охоты, Митькино царство небесное держалось в Колымске еще два месяца. Но при первых более прямых известиях о приближении врагов в городе вышла сперва паника, а потом даже бунт. Белые — беглые с ружьями, с бомбами, с военным начальством наводили смертельную оторопь на самых удалых. Прибежали ламуты, те самые, из плена, и сказали: Идут. Начальник идет впереди, высокий, как лесина. Голос такой, что люди от него гложут, а звери от него дохнут. И с ними какая-то девка или баба, баская <sup>1)</sup>, с рыжей косой, как будто заря-зореница.

Митька тотчас же созвал полицейское вече, и народу пришло больше, чем в первый раз, но все они были напитаны страхом, как губки.

Митька открыл совещание пламенной речью:

— Идем защищать Колыму.

---

<sup>1)</sup> Краспвая.

Но казаки и мещане потупились и сказали:

— Не пойдем.

Особенно уперлись казаки — военная косточка. Не пойдем ни за что. Ляжем под столами и под лавками. Пускай нас забивают хоть палками. Потом повернулись храбрецы и ушли из избы.

Остались: дружина максолов и другая дружина, поменьше, постарше, из друзей и поклонников Митьки, компания Паки с Голодного Конца, кучка якутов с Мишкой Слепцовым во главе. В общем человек семьдесят, мужчин за полсотни, а женщин поменьше двух десятков. В сущности с этими силами можно было защищать Колыму. Но о белых говорили, что идет их целая тысяча и что ведет их особый полковник-генерал, по имени Гаврила.

С другой стороны, казаки и мещане заняли угрожающее положение. Они собрались особо от Митькиной команды в сборной якутской избе и прежде всего послали выпустить заложников из караулки у Луковцева. В то время были уже заложники: Трепандян с Катериничем, неудачное правительство, отец протоиерей Краснов, — красный священник Паладий Кунавин был оставлен на воле. А еще многообиженный Макарьев, которого даже и Митька диктатор не мог избавить от постигшего испытания. Сюда же привезли бежавшего исправника из Быстрой. О нем вспомнил злопамятный Пака, который все время левел и среди колымских коммунистов занимал положение практического анархиста. Замечательное дело: исправнику вернули его мундир с полицейскими пуговицами и пристроили его в караулку под крыло к бабе гренадерше и обоим ее мужикам. Отныне Луковцев, вместо казенного амбара, в котором было пусто, должен был сторожить свою подневольную команду.

Два старые казака, Дауров, не Арсений, а другой, Алексей, побогаче и построже, и Василий Домопонкин, с именем довольно неприличным, тоже торговавший по малости, пришли к караулке, дали безвинному Луковцеву два раза по шее — каждый по разу, и пленников привели с торжеством в разборную избу.

Исправник, однако, не пошел. Он где-то достал тройку полумертвых собак, — вместе им было полвека от роду, — и уехал тотчас же к Палате на Быструю займку.

Но Макарьев обозлился совсем по-настоящему. Или, может быть, Митька его заразил пылом гражданской войны. Он стукнул кулаком по столу и произнес пламенную речь в Митькином стиле, но совсем наоборот:

— Каратели идут на этих хулюганов, безбожников. Белые они или беглые, а все-таки не думайте — начальство. По высокому скажем — князь. Теперь будут в беглых — эта камзольская рвань.

— Товары, слышь, везут, — сказал он, торжествуя, — большой караван, чаек, табачок. Покурим и попьем.

И он облизнулся, как некогда Овдя на митинге.

— Торговать будем, поживем, откроем дорогу до Охотска. Слава тебе, господи!

И он перекрестился широким крестом.

— Горожана, примаете беглых? — обратился он к сборищу.

— Примаем! — закричали казаки. — Пошлем епутатов навстречу. В епутаты избираем Архипа Назарыча, от мещан — старосту Веселкина.

— Ступайте к князьям! — кричали старики. — И скажите князьям: «земля наша богатая, большая, а порядка в ней нету. Придите, наведите порядок».

Это было новое призвание варяжских князей. Ведь Рюрик и его пресловутая братва были тоже из беглых,

приблудных, вышибленных с родины, бродяг неудачников.

И тогда Макарьев послал к Реброву посла, Алеху Выпивоху, казачка, как равный к равному:

— Двум медведям в одной берлоге не ужиться, — сказал он ему. — Уйдите отседа добром, к чортовой матери.

Ребров оглядел компактную группу сторонников: с Макарьевым и стариками справиться было возможно, но тут подходили на подмогу другие враги, страшнее.

— Мы уйдем, — сказал он медленно. — Но попомните слово мое — заплачете вы.

Алеха Выпивоха казачок был маленький как Пака, постоянно ходил распояской, был он холостой, дома, двора не имел. Такие постоянно держали сторону богатых.

— И еще заказывал Архип Назарыч, — пискнул он, — сдайте оружие.

Митька осканился молча, как скалитися волк. Не то это усмешка, не то он сейчас укусит.

— Ну, половину, — по собственному почину убавил Алеха предложение сердитых стариков.

— На, видал, — ответил Ребров выразительным жестом. — Пошел вон, дурак! Скажи этому Архипу и другим дуракам, что мы еще вернемся.

— Торговать, слышно, хочет. Пускай же опробует у белых, почем стоит ковш лиха. Лихом ему торговать, старому дуриле!..

На заимке Евсеевой белые сделали две блаженные дневки. Приладили черную баню из старого амбара и мылись впервые за три месяца. Раскалили огромные камни, обливали их снежной водой, рождая лютый пар. И сами раскалялись, как камни, чуть не докрасна и



выскакивали в лютый, кусающий снег. И тело их дымилось и потело на зимнем ветру.

Женщины вернулись из лесов. Они покорились неизбежному, отдали пришельцам последние запасы и собственное тело. Последнее, впрочем, считалось ни во что. Ведь женское тело, как море. Оттого не споганится море, что пес полакал.

Хуже было то, что придется остаться на зиму с малыми детьми без пищи, без запаса.

Лучшего охотника убили. Берестяная бабка, та самая, что пустила топором в Карпатого, горькими слезами плакала об зарезанном внуке. Она привезла его с реки на нарте, сама, без собак, своей собственной старушечьей силой, обмыла и одела его и вместе с Берестяным дедом вырубил яму на камне в вечной мерзлоте. Тело спустили без гроба, завалили большими камнями. Тело замерзло, как мороженая рыба, и, толкаясь о камни, звенело. Лежи, почивай, не оттаивай до страшного суда!..

Надо было, однако, карателям уходить с ограбленной и съеденной займки. Не то после рыбьих пупков и гусиных полотков пришлось бы, пожалуй, приняться за последнее мясо, которое осталось, — за мясо обитателей.

На утро решено было тронуться вниз к городу и дать бой красным. Об их силе евсеевцы рассказывали несуразные вещи. У них была сотня ружей, сто тысяч патронов. Смерти они не боялись, как хищные волки. Митька вдобавок был колдун и пули ловил на лету и складывал в кармашек на будущий случай.

Евсеевцы, разумеется, ввали. Но первая стычка на реке смутила карателей. Убитый мальчишка один не побоялся напасть на отряд. Что будут делать другие? Офицеры решили идти на Колыму осторожно и медленно, от займки к займке. Вяткино, Бугрово, Дебальцево,

три заимки на пятьдесят верст. Везде были запасы, деревянные избы и женщины. Но к вечеру прибыли из Колымска трое депутатов с предложением о сдаче. Они не принесли с собой ключей. У Колымска не было стен и ворот и нечего было отмыкать. Белые, впрочем, потом доказали, что они не нуждаются ничуть ни в ключах, ни в отмычках.

Все-таки встреча вышла торжественная.

Трое депутатов вошли, как человеческая лестница. Высокий Макарьев, широкий Веселкин, а третьим прислали тщедушного и старого отца Алексея.

Авилов принял их сидя. Дулебов и Мухин сидели поодаль на лавках.

— Челом! — сказал Архип Назарьич, кланяясь.

— Ниже, — ответил Авилов своим густым басом.

Архип удивленно тряхнул склоненною кистью руки и опустил ее до самой земли.

— Ниже, — неумолимо повторил Авилов, пока Архип Макарьев не склонился своею косматою головою до самой земли.

— Вот это челом!..

— Вы что же, бунтовать? — сказал Авилов с угрозой. — Советские порядки наводить?

Он превратился давно в белого полковника, не за страх, а за совесть, но попрежнему его раздражало особенно стремление красных к порядку.

— Те, что бунтовали, ушли, — сказал рассудительно Макарьев. — Придите навести свой собственный порядок.

Глаза Авилова зажглись зловещим огнем:

— Хорошо, наведем. Мы вам покажем порядок.

Отец Алексей подошел последним.

— Попов не люблю, — сказал откровенно Авилов. — Почто, батька, людей не учил, чтоб жили по-людски, не по-собачьему?

Отец Алексей покачал головой. Он очень одряхлел от последних событий и голова его тряслась.

— Как мне их учить, — сказал он смиренно, — мы сами мало учены.

— Ага! — вторично пообещал Авиллов, — ничего, мы вас научим.

Слова его звучали угрозой, но он включал в них отчасти обещание. Он действительно думал устроить в колымской глуши особую базу для себя и для своих близких, Колымское княжество, отчего бы не так? Был же у чукоч до самой войны особый король, поставленный русскою властью, — с наследственным званием, на-зло безначалию и буйству неукротимых чукоч.

Колыма далеко от России. Три года скачи, пожалуй, сюда не доскачешь. Здесь можно отсидеться от всяких врагов... Княжество Колымское. Великий князь Викентий Авиллов I.

## Х

Белые вступили в Средний под звук колоколов, т. е. под звуки единственного колокола, тикавшего жидким тенорком на своей деревянной караулке: «Омуль, омуль, лить, лить».

Так колымчане толкуют колокольные звуки, вместо обычных российских: «Четверть блина, полблина, блин».

Одряхлевший отец Алексей служил благодарственный и приветственный молебен. На помощь отцу Алексею выступил было пышнобородый Палладий Кунавин, но торговцы, забыв о благолепии места, встретили его криками: «вон, прочь!» Они не могли ему простить его летнего предательства и всей его последующей красной славы.

Несчастный отец Палладий, проклятый недавно максолами и отвергнутый «большими людьми», остался

ни в тех и ни в сех и поспешил сокрыться в спасительной тени своего собственного дома.

В церкви ожидали Авилова, вместе с офицерством. Но Авиллов церквей не любил. По части безбожия он был, пожалуй, почище максолов.

Он приехал на двор к Архипу Макарьеву, прошел в лучшую горницу, стукнул прикладом об пол и громко объявил:

— Реквизирую этот дом, и объявляю его своей штаб-квартирой.

Несчастный Макарьев, после местной колымской макаризации, попал под настоящую, доподлинную реквизицию, прибывшую с юга. Он чувствовал себя скверно. Надежды на белых были, очевидно, нелепы.

Чувствовал себя Макарьев соответственно жуткой поговорке: «кума, а кума, выбирай сама, на какой веревке тебя повесить, на мочальной али на пеньковой».

— Старосту сюда, — потребовал Авиллов.

И пришлось отправляться к Авиллову тому же Макарьеву.

Авиллов встретил его с нескрываеваемой насмешкой.

— Здорово, знакомец! Давайте квартиры, еду. Да живо у меня! Слышишь!

После того Авиллов встал и величественно проследовал в главную комнату, махнув рукой Дулебову.

— Вот что еще, — заговорил Дулебов мягким и почти ласкающим тоном. — Зачинщиков выдайте, какие у вас есть виноватые.

И Макарьев рассудительно сказал, как недавно в Евсеевой:

— Которые были — убежали, виноватых у нас нет.

Архип Макарьев был все же колымский патриот и не хотел проливать крови в своем родном городе. Он ведь и Митьке сказал: «Уйдите добром»

Мало народу на скудной Колыме. Долго ли всех перебить...

Но Дулебов мягко поправил старика:

— Не может того быть. Везде виноватые есть.

Вопрос о квартирах решился легко. Полицию, новейший «жимитет», правда, мажоры запакастили так, что она не годилась. Но белые заняли просто дома бежавших красных. Правда, то были люди бедные, бобыли, пролетарии. Белые все же захватили их избытки с утварью и семьями и сразу вошли во все права, супружеские и отцовские, над женскими и детскими элементами.

С едой было гораздо хуже. Из казенных магазинов вынули остатки общественных запасов, бочку брусники, какую-то заплесневелую сушеную юколу, похожую больше всего на змеиную кожу, и мясо чукотских оленей. Его было много. Диктатор Ребров спрятал его с прошлого года на самый черный день. Оно давно уже протухло, потом замерзло, растаяло и протухло еще раз. Черкес интендант отбросил с отвращением эти безобразные запасы и на его угрозы и ругательства колымским богачам пришлось раскрыть свои потаенные склады, куда не добрался даже Митька Ребров с недопесками, и кормить эту белую рать изысканными лакомствами колымского стола, которые сохраняются в течение нескольких лет, нисколько не портясь: провесным балыком и мягкой «порсой» и «барчей», тертыми из лучшей рыбы, вместе с очищенным жиром, прозрачным, как слеза. С крупчаткой пополам, которую привезли белые, это давало недурное питание.

На этот раз хуже всех купцов поплатился Ковынин, так как Архипа Макарьева вычистили основательно Митька и его дружина. Особенно обидно было Ковынину, что он должен отдать свои милые запасы пришлым

обжорам по собственной воле. Никто не принуждал его, не обыскивал дома, не являлся с реквизицией. Но было очевидно, что белые не будут шутить. Они не шутили на Евсеевой заимке. Их ружья стреляли быстро и метко, ножи их кололи глубоко.

С болью и желчью выкатывал Ковынин из задних погребов заветные боченки и фляги, вынимал из холодных подпольев обмороженную нельму, покрытую снаружи толстым слоем льда, как будто какая археологическая редкость. В начале сентября, в глухую полночь, словно заговорщик, он сам ледянил ее над прорубью, спускал, вынимал на мороз и опять опускал, наращивая слоями ледянистый футляр, охраняющий от порчи. От Митьки и Викешки уберег и припрятал. Теперь приходилось своими руками отдавать всю эту благодать другим отбирателям.

— Ничего, мы им покажем, — шипел Ковынин. Но это «им» относилось не к новым обжорам, а к старым, откатившимся прочь.

В тот же вечер Ковынин пожаловал с визитом в штаб-квартиру Авилова.

— Ты зачем, рыжий? — окликнул его недружелюбно Архип. Они с Ковынином были приятели, соседи и соперники. Но особенной любви между ними не было. Уж очень они были разные. Волчьей природе Архипа претила лисья хватка соседа, его трусливая жестокость. Самая наружность Ковынина внушала ему отвращение. Ковынин был щуплый, недорослый и вдобавок, как баба, страдал меряком. Внезапным окриком его можно было вызвать на самые нелестные ответы и поступки. — Зачем ты?

— К начальнику, затем, — ядовито ответил Ковынин. — Хитришь ты, Архип, сума переметная. Нет, я им покажу!

Он был налит злобой доверху, как скверный сосуд. И его рыжие зрачки и даже борода как будто кровянились жаждою убийства.

К Авилову его не пустили, но он прошел к капитану Дулебову и просидел у него не больше минут десяти.

И после того Карпатов с чувашскими солдатами забрали из разных домов тридцать человек и загнали под арест в максольскую казарму, в ожидании суда.

Тут была Овдя Чагина, которую рыжий недонесок ненавидел от всего злого сердца. Арсений Дауров, казак среднего зажитка, который не дружил ни с партией Митьки, ни с партией торговцев. А главное, несколько приезжих людей, которых революционная Якутия понемногу, по одиночке, стала присылать на Колыму. Забрали Данила Слепцова, родом якута из Якутска, учителя семинариста. Его прислали вместе с военным инструктором и для него, как и для инструктора, еще не отыскалось настоящего дела.

Но рыжий Ковынин шкюлу ненавидел с фанатической злобой. Взяли фельдшера Макурина вместе с большим служителем, Мартыном Виноватых, — последнего, должно быть за фамилию. Двоих сифилитиков взяли из городской больницы и даже одного прокаженного. Забрали с десятков мальчишек и девчонок, возраста такого же, как бежавшие максолы. Но никто из них не был максолом, кроме Проньки шаманенка, именуемого Савкой по деду.

Савка уйти не решился. У него в это время умирал настоящий Савва, шаман, якутский протопоп. И нельзя было бросить его, не приняв его дьявольской силы. Сын шамана, Пронька, — тоже Пронька, без прозвища, совсем не годился для этого. Он был человек смиренный и духов боялся хуже, чем русских попов.

Очередь выпадала молодому внуку. Он колебался и не верил, и даже насмехался, и все же было ему любопытно узнать, какие у деда «дьявола».

Но вместо шаманских дьяволов и духов он попал в переплет к русским телесным дьяволам, пришедшим из далекого Охотска. Ахнула на утро Колыма. Ничтожный городишко разделился на три части. Первая часть убежала в леса, а вторая часть третью загнала в караулку и дала на убой незнакомым пришельцам карателям.

Собственные свои семена истребляла обезумевшая Колыма.

Овдина дочка, Матрена, пробралась к Архиповым задворкам, вышибла стекло и просунула голову. Она угодила как раз на Авилова.

— Чего тебе? — спросил он равнодушно, без гнева, без удивления.

— Мамоньку мою убивают! — кричала Матрена. — Лицо ее было страшно. Если бы она могла забраться в горницу, она, несомненно, впилась бы в огромного злодея когтями и зубами, не хуже Евсеевского Микши. Но крепкая рама ее не пускала в средину.

— Всех убивают, — ответил Авилов спокойно. — Тебя тоже убьют.

— Тебя скорее убьют, — ответила Матрена, обозлившись. — Собака российская!

Нравом Матрена вышла в свою неукротимую матку.

— Меня тоже убьют, — подтвердил Авилов.

Он как будто исключал возможность какой бы то ни было смерти, кроме насильственной.

Ахала вся Колыма. А рыжий Ковынин потирал свои тощие веснучатые руки. Он прибежал спозаранку к караулке, высмотрел всех арестованных и внезапно пришел в необычайное негодование. Не было старой



Гаврилихи, которую он указывал Дулебову как самую опасную и красную злодейку-бунтовщицу. Он до того обозлился, что прямо из караулки направился к начальству на квартиру. Встретил, разумеется, Макарьева и даже его спросил в упор:

— А Гаврилиху старуху почему не забрали?

Гаврилиху потому не забрали, что чувашские солдаты не сумели найти ее дома. Колыма словно потеряла и память и ум, и каждый указывал ночью солдатам совсем небывалое место. Один раз указали Гаврилиху другую, не настоящую.

И так чувашки помаялись с часок, потом отстали. У них много было хлопот без дряхлой колымской купчихи.

Однако Макарьев не стал объяснять рыжему всех этих подробностей. Услышав об Гаврилихе, он прошипел:

— Ежели ты не замолчишь, я тебя сразу зарезу!

И взялся рукою за ножик, висевший на поясе.

Ковынин немедленно сдался.

— Чорт с нею и с вами, — пискнул он. — Чего больно печалишься! Спал с нею, что ли?

Но к Дулебову он не пошел и об Гаврилихе больше не стал разговаривать.

## XI

Суда, разумеется, не было. Солдаты повели арестованных на лед и поставили рядом у проруби.

— Топить, что ли, будете? — с кривою усмешкой сказал сифилитик, Василий Коза. Он держался совершенно непринужденно, как будто не участник предстоящего действия, а какой-то посторонний зритель.

Авилова не было. Он редко ходил на расстрелы. Розовый Дулебов спокойно отсчитал с краю двенадцать человек.

— Дюжину довольно. Отодвиньтесь, пожалуйста!

Это относилось к другим восемнадцати. Они отскочили от товарищей, словно каждого из них тронули каленым железом. Дулебов подошел к первому из осужденных. Это был почему-то Мартын Виноватых. Он тупо смотрел в лицо палачу своими круглыми, выпученными, немигающими глазами.

— Поверните, пожалуйста, голову, — пригласил его Дулебов, — так вам будет удобнее.

Мартын повернулся. Дулебов вынул наган, неторопливо и удобно приставил к виску осужденному. Выстрел хлопнул. Мартын опустил на лед.

— Теперь продолжайте! — обратился Дулебов к солдатам.

Расстрелы в Авиловском отряде совершались без всяких коллективных залпов, один на один. Солдат подходил с наганом или винтовкой и убивал осужденного. В награду за подвиг он мог снять с него сапоги и верхнюю одежду, но только лишь после убийства, когда все уже сделано.

Карпаты и двое башкир застрелили фельдшера Макурина и двух сифилитиков. Надо было покончить с больницей. На очереди стал прокаженный. Он был страшен, как призрак. У него были вздутые губы и вместо носа на лице была белая площадка. На правой руке все пальцы отвалились и торчала глянцеvitая культяпка с шишкой на конце.

Он стоял, как деревянная раскрашенная статуя, и убить его было не преступление, а подвиг. не лютая казнь, а последняя хирургическая операция.

Но никто из чувашско-башкирских солдат не захотел выйти. Главное, рубище на нем было такое, что годилось разве нарочито лишь для прививки заразы.

Черкес Алымбаев подошел в своей неизменной бурке и, видя нерешительность солдат, вынул наган и шагнул к прокаженному. Он хотел подать солдатам пример исполнительности. Но рука его не поднялась с оружием.

— Не стоит, не могу! — каркнул он отрывисто и отошел в сторону.

И тогда Дулебов вынул еще раз свой собственный наган и в несколько точных движений убил одного за другим шесть человек.

— А, может, из вас есть охотники? — обратился он к публике обычным приветливым тоном.

Ибо публичный расстрел привлек любопытных, и взрослых и ребят, и все с напряжением следили за страшным зрелищем.

Произошло колебание. Потом выдвинулся вперед корявый якут из поселка Дебальцево, полунищий батрак, по имени Никита Слепцов, и спросил:

— А одежда?

— Одежда — твое право, — обнадежил Дулебов.

— В борьбе обретешь ты право свое, — сказал он с усмешкой. Он был чистопсовый монархист, но усвоил себе лозунги партий соседних и дальних и применял их всегда вот так же своевременно и встать, как сейчас.

Одиннадцатым с краю был учитель Данил Слепцов. Он одет был по-якутски чистенько и даже щеголевато. И его серый кафтан-сангях и черные сары-обутки соблазнили оборванного батрака.

— Стреляй, не боюсь, — сказал Данил мужественно.

— Дайте винтовку ему! — крикнул Дулебов солдатам.

Последняя из дюжины, долговязая Овдя Чагина, стоявшая недвижно, как столб, вдруг замахала руками и дико закричала:

— Зараза, зараза собачья! — вопила она, подсовывая добровольцу свои длинные пальцы под самые глаза. — Собаки собак не едят, и вороны ворон не клюют... Чтоб тебя свеяло с ветром!

Убийца хладнокровно навел винтовку, выстрел раздался. Полунищий якут, Никита Слепцов, ухлопал из русского ружья учителя Данила, тоже якута и тоже Слепцова.

— Меня тоже убей! — вопила Чагина выставляя свою грудь.

— Сох (нет)! — отрицательно качнул головой якут. На женщину не брался.

— А вы, сволочи, — обратилась Овдя к толпе, — кровь нашу пришли рассматривать! Красная оспа на вас и черная холера! Двенадцать трясовиц и тринадцатая мать Кумуха!

Зрители отступили в ужасе. Овдя была, как тринадцатая мать Кумуха, начальница хора лихорадок.

— Кто угробит эту ведьму? — сказал Дулебов с ругательством. Вежливость его рассеялась, как дым.

— Руки усохнут, — сказала Чагина. — Помни, собачий огрызок. У меня пальцы длинные. С того света достану, твой нос оторву.

Она вышла из рядов и пошла прямо на Дулебова. И вид у нее был такой решительный, что он посторонился. Она прошла мимо и стала возвращаться по тропинке на угор. И тогда только Дулебов опомнился и бахнул из нагана. Овдя пошатнулась, потом повернулась, протянула к убийце страшные, скрюченные, проклинаящие руки и грянулась навзничь.

— Отгоните эту сволочь, — сказал Дулебов солдатам. Он позаимствовал у Овди этот ругательный термин в отношении к зрителям.

Публика шарахнулась обратно и пустилась наутек, не дожидаясь прикладов башкирских и чувашских.

Остальных арестантов Дулебов разделил по возрасту. Восемь было взрослых и десять мальчишек с девчонками.

— Дайте вот этим по шее, — распорядился Дулебов, указывая на отцов. От жестких прикладов отцы повалились на снег и, даже не поднимаясь, уползли на карачках.

— А этих пороть!

— Мальчишков? — переспросил Карпатый.

— Пори себе мальчишек, — согласился Дулебов. — Я буду пороть девчонок.

Он покраснел и насушился.

Началась экзекуция тут же у проруби. Вместо скамеек служили раскатанные бревна. Мальчишек разложили, одного за другим, как раскладывают рыбу. Над ними работал Карпатый. Лозы нарезали тут же на угорье. С лозой в руках Карпатый перебегал от задницы к заднице, вдохновенно и проворно, как будто играл на органе. И живые клавиши отвечали, издавая различные звуки духового регистра. Но никто не вставал и даже не шевелился особенно.

Дул свежий ветерок, но Карпатый разогрелся. Ему было свежо и приятно. Это была не жестокость, а чистое искусство.

Искусство Дулебова совершалось несколько иначе. Он тоже разложил своих девчонок, обнажил, что полагается, примерился, вымерял лозой одну, и другую, и третью, и четвертую. Девчонки подняли страшный визг, гораздо звончее мальчишек. То был верхний регистр секунционного органа.

Но Дулебов еще раз примерился, выбрал одну и увел ее с собою наверх, бросив других без внимания на бревнах — хотят лежат, хотят встанут.

В горнице на лавке Дулебов опять разложил свою избранницу и стал ее сечь уже потихоньку, не торопясь, выдерживая паузы. И так ее засек до обморока, отлил водой из ушата и опять ее наказывал, ласково, спокойно, методично. Глаза его горели, как у кота, топорщились светлые усики и уши наливались ярче его розовых щек нежным весенним румянцем.

В отряде привыкли к манере Дулебова и не обращали особого внимания на крики и возню. Эти упражнения так и назывались: объяснения в любви капитана Дулебова.

Удивительно сказать. Савку шаманенка вывели на лед вместе с другими арестантами, но не тронули пальцем. Его одного из мальчишек отпустили с большими домой и даже прикладом по шее ему не досталось.

Савка рассудительно приписал свою удачу заступе дедовых дьяволов-духов, которые, так сказать, дали ему аванс в счет его будущей силы и власти над ними.

В ту же ночь он принял шаманскую силу от умирающего деда и стал молодой, «ново-вдохновенный» шаман.

Палладий Кунавин был красный поп. Савка Слепцов представлял новое диво. Это был красный шаман. Красные попы, пожалуй, попадаются всюду. Но красные шаманы доступны только Колыме.

## XII

Убитые лежали у проруби на льду, и голодные собаки приходили и лизали их кровь. Эта картина подействовала даже на белых. И тут почему-то Дулебов решил запросить сурового полковника.

— А что делать с покойниками? — сказал он Авилову. — Ведь воздух заражают. Нельзя их оставить. Опасные такие даже после смерти.

Он жаловался на покойников и как будто хотел продолжать забаву и расправу над мертвыми телами.

— Сожгите их, — спокойно посоветовал Авилов.

— Да как я их сожгу? — спросил с удивлением Дулебов. — Ведь здесь крематория нет.

Крематорий — это печь для сжигания трупов. В Москве и Ленинграде до сих пор не успели построить крематорий, не то что в Колымске.

— Не в крематории, так в банке с керосином, — отозвался Авилов. — Вот вам и крематорий.

Недолго думая, Дулебов сговорился с поселенцем Шакиром Бисуровым, тоже башкиром, но только уголовным и ссыльным. И взялся Бисуров за умеренную плату, за папушу табаку и доску кирпичного чаю, незамедлительно сжечь всю эту дюжину покойников. Это выходило на деньги по гривеннику с туши. Но в Колыме вообще, как указано, на деньги не считают.

Бисуров действовал так же нелепо и ужасно, как его наниматель Дулебов. Повинуясь указаниям начальства, он достал три пустых керосиновые банки и стал резать на части тела, накладывая их в банки доверху. Одно человеческое тело едва поместилось в три банки. Банки эти он вывез в лес, развел большой костер и поставил в огонь. Разумеется, не вышло ничего. Пришлось эти банки выпростать в огонь и жечь, что там было, пока человеческое мясо и самые кости не обратятся в пепел.

Два раза съездил на реку Бисуров, рубил человека на части и замазался весь, как мясник, и в общем за полдня сжег три трупа. Потом он потерял терпение и вывез в лес все трупы, один за другим. Здесь у

костра, чтоб не вовсе отойти от духа приказа начальства, он все-таки резал и крошил человечину, но клал ее прямо в огонь без всяких бидонов и банок. К вечеру, обессилился, не кончил, и остался ночевать у покойников, затем, чтоб лисицы и вороны не очень растаскали казенное мясо казенных.

Два дня длилась эта ужасная работа колымских людоедов. Столб дыма стоял над заречным лесом, ветер тянул, разумеется, к городу, и дым простирался над домами жирной и черной струею. И жителям казалось, что из дыма сыплются порою на город какие-то странные хлопья. То были черные снежинки прилипчивой сажи злодейства, покрывшей колымские дела и людей, и мертвых и живых. Она тянулась от мертвых к живым и пачкала их и душила их.

Жители жмурились, затем, чтоб не видеть, но тем яснее видели все сквозь закрытые веки. Воочию видели трупы и черного балшкира-палача в работе над мертвыми телами. На другой день стало невмоготу терпеть. Слухи поползли, такие же черные, как сажа, и неуловимые, как дым: шаманит Шакир, белые шаманят, накликая заразу на город, — колотье, красную оспу и еще более страшную, мелко-пятнистую корь. На севере шла невинная корь — страшный бич для туземцев и для русских.

— Где наши колымские шаманы? — спрашивали жители с тоской и гневом. — Отчего не заступят за нас.

И скоро, в различных углах, без спроса, без зова, раздалось негромкое пение и постукивание бубнов. То были шаманы различных племен и уклонов: юкагирских, чуванских, омоцких. Все они в обычное время шаманили прямо по-русски, давно утратив родное наречие. Но в эту ужасную ночь они говорили словами непонятными даже для духов помощников, полузабытыми



фразами, которые чуть копошились в их темном сознании. Духи уж как-нибудь поймут, или можно позвать духа переводчика с туземного на русский, ибо меж духами тоже бывают переводчики и даже получают за это особую плату.

С духами выйдет по-хорошему, но беда, если это шаманство поймут русские живые дьявола, которые вдруг завладели Колымском.

Между прочим и Савка якутенок обновил в эту ночь свою силу, только что полученную от деда шамана. Дед скончался в самый день расстрела от волнения за внука. Но все-таки успел передать ему, что надо.

Общий смысл всех этих заклинаний был один: шаманы проклинали этих белых и всех их вождей и большого, с ледяными глазами, и длинного, с стеклянными донцами поверх носа (пенснэ), и маленького, с красными глазами, как у бешеной лисицы, и старались навлечь на них всякие бедствия, призвать на них духов убийц, пятиголовых, с железными зубами и собственные их убийства обратить против них, в кости вогнуть им заразу, сделать их душу текучей, как вода из дырявого котла, тоску нагнать на них, чтобы они обратились, откуда пришли, и погибли по дороге, рассыпались рубленным мясом и распылились, как кровь.

Савка шаманенок, в порыве молодого вдохновения, решился на дерзкую штуку. В дремучую полночь он перешел через реку и поднялся на берег к зловещему месту сожжения.

Там все еще дымился последний костер, и в жирном пепле мерцали угольки, как тусклые взгляды покойников.

При этом тусклом свете Савка собрал несколько чашечек, прилипших к разбросанным обрубкам, и вынул из огня уголек железной ложкой причудливой формы,

взятой из дедова наследства. И в этом уголке он спалил последние частицы мертвецов. И этим последним зловещим огнем он проклял одновременно черного Шакира Бисурова, последнего раба, и белого Викентия Авилова, главного начальника пришельцев.

После того он завалил огонь снежными глыбами, сколько мог, изгладил следы ужасной работы башкира и вернулся домой. За эту ночь он постарел на десять лет. Перестал улыбаться и болтать и стал, несмотря на свою полудетскую юность, удивительно похож на деда своего, Савву шамана, якутского протопопа.

Авилов не думал о трупах или заклинаниях. На уме у него было другое. Он приказал Архипу Макарьеву принести ему точные списки всех жителей города Колымска и ближайших заимок.

— Если для раскладки, так сделано раньше, — мрачно отозвался Архип.

Авилов улыбнулся.

— А, может, для раздачи товаров, — сказал он двусмысленно. И в голосе его звучала насмешка и вместе как будто обещание.

Растрепав эти списки, не глядя, из самой середины, Авилов достал наудачу один. Это был список домов и семейств заимки Веселой. Она лежала на полдороге между Средним и Нижним Колымском и попала Авилу первая.

Он посмотрел список. Там было десять имен, но против восьми стояли черточки, и только против двух положительные крестики.

— Жителей двое, — прочитал Авилов подпись под чертою. — А куда остальные девались?

Макарьев посмотрел на него с недоумением.

— Разъехались которые.

- Митрофан Куропашка?
- Померли иные, — отозвался Архип.
- Натаха Щербатых?
- Рассыпались розно, — ответил Макарьев.

Ответы его были, как выписки из актов Московского царства. Жители померли, рассеялись, разбрелись розно.

Авилов долго молчал. Потом спросил в упор, уже не скрывая интереса.

— А какие остались живые?

— Там написано, — сказал Макарьев. — Гуляевы живые да Шкулевы.

— Не о том, — сказал Авилов. — Я спрашиваю: из девок Щербатых какие остались живые?

Макарьев поднял голову и поглядел ему прямо в глаза. Авилов выдержал его взгляд совершенно непри-  
нужденно.

«Слепая макура! — мысленно обругался Архип по собственному адресу. — Затмило глаза».

Авилов улыбался. Он не имел ничего против того, чтобы его признали. Но Макарьев был попрежнему мрачен.

— Бабушка Натаха померла у нас же в Среднем недавно, то есть летось.

Авилов ждал в молчании.

— А Дуняха, ее дочь, — продолжал Макарьев бесстрастным голосом, — потонула во льдах за нерпами, невступно лет десять... По-нашему — Дука, Дуняха...

— А мальчик? — спросил неудачливый отец. Несмотря на его самообладание, у него пересохло во рту и горько щипало в глазах. Может быть, там собирались непривычные слезы.

— Есть мальчик, — ответил Макарьев бесстрастнее, чем прежде. — Но только сейчас его нету. Тетка его,

Лимпиада, есть эттока (здесь). Лимпиада, по-нашему, Липка.

— Пошлите ее, — сказал Авилов с оживившимся лицом.

Липке-Лимпиаде было немного за тридцать. От мужа она овдовела и осталась с двумя дочерьми. В мужниной избушке на Верхнем Якутском Конце она бедовала, не лучше Голодного Конца. Лицом и повадкой она вышла в бабушку Натаху, свою мать. И соседи, отбросив ее мужнее прозвище Уваровых, стали называть ее по матери, Липка Щербатых. Было похоже на то, что Липка откроет новую Щербатую выть, материнскую семью, которая вместо Наташонков будет называться Липчонки.

Через десять минут Липка стояла пред Авиловым. Взгляды и одежда, даже повязка с прорезом на темени, были у ней, как у бабки Натахи, только лицо у ней было моложе и волосы черней.

— Здравствуй, Викентий! — сказала она совершенно спокойно, как будто только вчера рассталась с зятем.

Авилов даже руку протянул. Липка взяла ее, нагнулась и приложила губами, как будто к руке архиерея. Авилов вздрогнул.

— Чего ты, дикошлешая (сумасшедшая)! — крикнул он.

— Наше дело низенькое, — ответила Липка. — Вы, господа, вы мужчины, вы русские, да бог знает кто. Мы себе девки для издевки.

— Как живете вы? — спросил Авилов обезкураженно.

— Помираем мы, — ответила Липка. — Талану у нас нет. Увезли наш талан за тридцать земель, в тридцатое царство.

— Кто еще помер?

— Зуйка да Хачирка померли, осталась я одна. — Она, очевидно, прикинула, что про Дуку и Натаху он уже слышал от других.

— Мальчик где? — спросил Авилов. — Найдите его.

— Мальчик? — спросила Лимпиада с коварной улыбкой. — Найти его не можно. Да ты не опасайся, найдется и сам в свое время. Не надо занозу искать, уколел и сама.

— Где он? — настаивал Авилов.

— Фью! — свистнула Липка в ответ. — Ищи ветра в поле. Выгнали вы его из города Среднего, вот что!

В этот вечер узнал Викентий Авилов, что сын его, тоже Викентий Авилов Второй, состоит вожакom и главой Союза молодых, а также ближайшим помощником диктатора Митьки Реброва, главного начальника колымских партизанов. Викентий Авилов Второй является завзятым противником белых и их предводителя, полковника Викентия Авилова Первого.

### XIII

По той самой дороге, по которой недавно сплывали на низ колымские максолы, отправляясь на тундру за птицею, теперь отступали они же, но в звании бездомных партизанов, не по воде, а по льду, не в лодках, а пешком, на неизменных лыжах. Скудный багаж везли немногие собаки. У максолов-партизанов не было цели и не было приюта. На прошлой неделе так шли белые. Теперь был их собственный черед, впредь до ближайшей перемены.

Спустились к низовьям, свернули к протоку, добрались до Едомы. Здесь остановились в последнем лесу. В случае нужды перед ними была тундра, сплетение водных протоков, «Горла», кишевшие рыбой озера. На тундре никто не найдет и никто не поймает.

Накопали ночлегов в лесу, наплели шалапшей, обрыли землей, обваляли для тепла мокрым снегом. По единственной дороге нарубили рогатых завалов. Сами они обходили стороной, по мало заметным тропам. Но чужому, незнакомому было ни за что не пройти.

Три дружины стали тремя отдельными группами. Ребров посредине, Викеша с максолами направо и Пака с мухортой и сборной Голодной командой — налево. Вели себя группы по-разному. Пакина команда готовилась к зиме, ладила юрты и землянки, максолы искали в безжизненном зимнем лесу охоты и добычи, ставили на куропатов силъя, на зайцев плашки. Добыли, положим, немного. Зато на протоке Зеленой отыскали бревенчатую сайбу-амбар, доверху наполненную рыбой. То был промысел кого-нибудь из низовских рыбаков, оставленный здесь до весны. В защиту от волков и медведей амбар был опроушен, т. е. укреплен здоровенными бревнами, входившими в общую раму, в особые гнезда, как будто в игольные уши.

Двери и стены амбара носили глубокие следы медвежьих когтей и зубов. Но страшные звери оказались бессильными. Максолы с успехом заменили медведей, осторожно открыли амбар и рыбу перетаскали на собственное стойбище.

Митькина дружина была злее других. Она сторожила подходящую минуту и готовилась к бою.

Митька яростно ругался:

— Теперь вернусь, прямо забивать буду. Не токмо Архипа Макарьева, — брата, родного отца, коль станет поперек. Я их найду! Я им хвосты прищемлю! Не вечно просидят за бабьими юбками в городе...

Ровно через неделю знакомцы с реки прислали ожидаемую весть: идут на низовья Колымы солдаты, обоз на собаках.

— А сколько солдат?

— Да десятка полтора, — ответил посланец, такой же косматый и ершистый, вроде Паки. — Там я вам рыбки привез, — прибавил он заботливо, — едушка про вашу недостатку.

Митька сурово усмехнулся.

— Пятнадцать говоришь? Так мы их убавим! На другой день придите, увидите!..

По узкой Зеленой протоке <sup>1)</sup>, сокращавшей проезд по реке Колыме на дневной переход, двигался солдатский караван. Дорога уходила под обрыв Каменного берега. У Колымы восточный берег Каменный, а западный — Тундренный. В протоках, вместо каменных утесов — глинистые яры, не менее крутые и обрывистые. На яру у протоки притаились партизаны совместно с максолами.

Митькина дружина партизан лежала повыше. Это была их военная затея. Максолы лежали пониже, в виде подкрепления.

Шел караван на собаках, отрядных и колымских, отобранных у разных владельцев для войсковой потребности. Всего было нарт десять, груженных тяжело. Только последняя нарта была в пять собак и под замшевым чумом-брезентом лежала какая-то штука, труба или что, — заделанная в русскую кожу, с узеньким носом, выступавшим вперед.

Собаки бежали бойко, солдаты сидели на нартах, понукали и смеялись, поминутно раздавались знакомые командные крики:

— Ой, гусь, гусь, гусь! Ой, олень, олень, олень!

Так, перенявши колымскую моду, возбуждали солдатские погонщики своих сборных собак призраком живой добычи, незримой и неслышной.

---

<sup>1)</sup> На Колыме говорят «протока» вместо «проток».

Горящими глазами вглядывались партизаны в подъезжавших врагов. Солдаты ехали как будто на гулянку или ярмарку, не думая совсем о возможных засадах, врагах, нападениях. Как будто из Колымска не вышли на вольное поле три красных отчаянных дружины...

Ближе подъезжал караван, и взяли партизаны ружья на-изготовку. Были они над врагами, как волки над гусями. Митька махнул рукой, раздался дружный залп, но метить сверху круто вниз было не очень удобно. Двое солдат упало и четыре собаки подскочили и завыли. И в созвучии с жалобным воем раздался сверху дружный крик:

— Бей их, собак!

Партизаны соскочили на дорогу. Солдаты не стали хвататься за оружие, они отступили назад к последней карте и возились над ней, распутывая чум. Может быть, они пытались разгрузить свои карты и бежать обратно в Средний.

Викеша с обрыва подальше разглядывал в трубку подробности первой атаки. Трубка была допотопная, перекупленная когда-то Викентием Авиловым у чукотских торговцев. Она досталась Викеше вместе с прочим наследством ушедшего отца. Ее променяли впервые приморские чукчи у какого-нибудь шкипера за пару широких пластин драгоценного китового уса.

Все-таки каждое действие белых и красных было отчетливо видно.

Партизаны летели к обозу, как бешеные волки.

«Живыми возьмем», — сверлила им душу неизменная северная страсть... Догнать и вцепиться в добычу непосредственно руками и зубами. Им некогда было разглядывать, что делают белые.



Но Викеша на своем посту тревожно рассматривал длинную странную штуку, вспоминая рисунки в книгах, оставленных отцом.

Там было «Руководство к изготовлению взрывчатых веществ», но с машинами и трубками и штуками другой формы, более мудреными и без всяких чехлов и покровов.

— А это что такое?

И в его памяти всплыло описание из уст безрукого Кирши солдата: пулемет отгонялка, пулемет пого-нялка...

— Пулемет!

В эту самую минуту странная машина прыснула навстречу партизанам, как градом мелких камешков. Горбоносый черкес поворачивал ее, как пожарный рукав, и поливал партизанов свинцовой скачущей смертью. Минута — и на дороге не осталось ни одного живого. Семнадцать человек лежали на льду, как мешки. Трое или четверо карабкались в гору, как козы, спасая свою шкуру от расстрела.

Объятые ужасом максолы не стали дожидаться своей очереди боя и слепо, торопливо пустились наутек.

Первый выход партизан окончился полным разгромом. Семнадцать убитых лежали на снегу и впереди всех колымский диктатор, пионер и заводило революции, Митька Ребров. Пуля угодила ему в сердце и пробила варваретовую куртку, стянутую туго полицейской португеей. Рот его был раскрыт для последнего умолкнувшего крика, глаза его хмурились привычным взглядом исподлобья, застывшим навсегда. И руки сжимали исправничью винтовку, начищенную, как игрушка.

Но больше никогда упрямая башка колымского диктатора не сочинит декрета, неожиданного, жесткого, ущемляющего сильных людей и спасающего мелкоту.

С этим отрядом шли Тарас Карпатый, через Алымбаев и молчаливый Мухин. Взгляд у Мухина был обычный, спросонья, чуть рассеянный.

Карпатый подошел и потрогал ногой диктатора.

— Матерого заполевали, — сказал он с довольным видом. — Что с ними делать, ваще-бродь?

— Ружья собрать, мертвых раздеть, — распорядился Мухин. Но мертвые были уже раздеты. Партизаны были одеты в наилучшую одежду и легкую и теплую, какой не осталось и в городе у ограбленных купцов.

Мухин поглядел на раздетые трупы, белевшие нижним бельем на рытвине дороги. На снежном фоне они казались какими-то грязными кучками. Блажная мысль пришла неожиданно в сонную голову Мухина.

— Раздеть донага! — скомандовал он. — Ноги вытянуть, руки сложить на груди!

— Разве хоронить будем? — спросил с удивлением Карпатый.

Мухин словно готовил тела к погребению.

— Будем, — усмехнулся Мухин, с несвойственным ему оживлением. — Разбейте перевал! Собак пересмотрим, да раненых. Те не подойдут больше.

Убитых в караване не было, ни между двуногими, ни между четвероногими. Раненых солдат перевязали. Один мог даже ходить. Он был ранен в плечо. Раненых собак, напротив, перебили. Куда они годятся? Так несправедлива судьба к четвероногим, сравнительно с двуногими.

Чуваши и башкиры, оживленные победой, грелись у костров, готовя себе ужин. Мертвецы коченели на своем снежном ложе, постепенно твердея, как мрамор.

— Пусть лежат, — усмехнулся Мухин. — Утро вечера мудренее.

Ночь прошла благополучно. Никто не напал на караван. Солдаты проспали спокойно. Их сторожила лежащая цепь часовых, оставленная партизанами.

— Теперь поднимите их, — командовал Мухин.

Человеческие статуи были подняты на ноги и расставлены рядом, попереक проезжей дороги. Вплоть до колен их обвалиляли мокрым снегом. Они тотчас же примерзли к снежному граниту дороги и слились с ним в одно целое. Поперек дороги стояли они молча, как странная охрана, как людской частокол в стране людоедов и убийц. Митька стоял в центре и немного впереди, а влево и вправо уходили две шеренги по восемь человек.

Тогда еще более шальная мысль пришла в голову князю Алыму Алымбаеву. Он подошел к замерзшему диктатору, вынул из-за пояса нож, облапил, нагнулся и резким движением отрезал кусок мороженого мяса. Потом с усилием втокнул его в раскрытый рот покойника.

— Аратар, — сказал он своим гортанным говором, — теперь аратарствуй!

— Сволочь, — сказал с отвращением Мухин, — армянская морда!

— Прощайте, партизаны, — сказал он серьезно покойникам, — не поминайте лихом!

— Подь, подь, поца! <sup>1)</sup>

Собаки побежали. Караван двинулся вперед по дороге к Нижнему, увозя давно невиданные южные товары, а также и невиданную раньше никогда южную готовность к расстрелам.

---

<sup>1)</sup> Возглас собачьей команды.

Через два дня двое собачьих ездоков выехали снизу на Зеленую протоку. То были Вивеша Русак и Микша Берестяный. Они захватили с собою собак на случай необходимости уйти побыстрее.

После осторожной и тщательной разведки по обоим берегам они убедились, что белые ушли и опасности нет никакой. Северный охотник-следопыт узнает о близости врага или добычи каким-то непосредственным чутьем, не хуже собаки или волка. Разведчики уверились, что близко от них нет ничего живого и враждебного, и тогда они вышли на дорогу и поехали вверх. Они хотели осмотреть несчастное место сражения. Но, не доезжая до знакомого обрыва, собаки начали рваться и выть, потом отвернули в сторону, сделали круг и вышли на дорогу в обратном направлении, задом наперед.

— Страшно, беда! — шепнул Берестяный. — Собаки — они знают.

Вивеша почувствовал, как волос его ежится под гладко прилегающим меховым шлыкком, но он подавил в себе это ненавистное чувство.

— Стой! — крикнул он решительно собакам. Укрепил обе упряжки, и свою и товарища, чтоб собаки не ссрвались. — Идем! — позвал он Микшу. — Хотя бы там черти из болота, я пойду посмотрю.

С ружьями на-перевес они осторожно двинулись вперед. На дороге забелели перед ними странные фигуры, как снежные бабы, сделанные отчасти из снега, отчасти из мороженого мяса.

Вивеша опустил ружье.

— Здравствуй, Ребров, — сказал он негромко. Он должен был непременно окликнуть эту стоячую охрану мертвецов.

И тут же в нем сердце замерло и он крикнул в испуге пронзительно, как женщина: Митька Ребров открыл рот и шевелил губами и силился что-то сказать в ответ на приветствие.

— Шух! Шух! — крикнул в свою очередь Микша Берестяный. Викеша был зорек, а Микша зорчее того. Из всех максолов он был самый чуткий и зоркий, как белый кречет на каменных утесах в полярном океане.

— Шугу, шугу, проклятый!

На лице у Митьки Реброва сидел белый горностаий и он выедал из его рта замороженный мясной лоскут, вложенный туда досужестью кавказского князя.

Товарищи долго стояли неподвижно, как стояли покойники.

— Будем хоронить, — сказал Викеша полувопросительно.

— Нет, не надо, — откликнулся Микша Берестяный. — Пусть стоят. Как их поставили, так пусть и стоят, солнцу на позор. Солнце, ты видишь? — воззвал он к сияющему богу, как это обычно на северной земле.

Викеша обратился не к солнцу, а к белым покойникам.

— Клянусь, — сказал он спокойно и торжественно. — За всех товарищей клянусь, за Колымскую землю, не опускать ружья, пока этих гадов, людоедов, не выбьем до последнего. Прощайте! — крикнул он еще раз.

Разведчики отвязали собак и поехали назад сообщить партизанскому отряду страшное известие.

## XV

Зима проходила. Партизаны и максолы после неудачи на протоке Зеленой почувствовали себя не безопасными на Едоме в лесу и отступили на тундру,

в Горла, сплетение озер и протоков и висок, с выходом на океан и внутренними входами в протоки Колымского западного устья, путанной Походской Колымы.

Свое становище они устроили подальше Горлов, по Малой чукотской виске, в таком лабиринте протоков, что даже и знающие люди сбивались с дороги.

Обстановка здесь была суровая, но жить было можно. Главное всего — здесь было обилие пищи. Протоки кипели чирами зимою и летом. Ход чира в этих нетронутых местах поражал баснословной густотой даже привычных поречан. Рыба шла сплошной стеной и гнала перед собою воду, как живая плотина. Перед рыбою вода прибывала, а за рыбой вода убывала. Верши, мережи, перетяги — все это всплывало от улова наверх и кипело серебром, живым и вертлявым, какой-то чешуйчатой ртутью.

Челнок, проходя через рыбье руно, месил эту странную кашу, и каждый удар двоеручного весла выплескивал лопастью рыбу.

Осенью, во время нереста, чир смешивался с таблицами тонкого льда, подобного стеклу, и на брытких местах составлялись запруды из льда и чиров, до самого дна переполненные жизнью. Протираясь сквозь лед, чир мягчил и доил свою крепкую икру. Запруда подмерзала и таяла снова, и вода переполнялась чировой икрой, вспененной, густой, как молоко.

Лесу, разумеется, не было, ни кустов, ни ползучей березы, ничего, кроме мху, лишаяев и режущей, острой осоки. Но максолы отыскивали огромный «хдлуй», банку выкидного леса, выносимого морем на тундру во время жестоких бурь и яростных ветров, нагоняющих с севера воду. Море потом отступало, и банки тянулись по суше, версты на четыре в длину, саженой на пят-

надцать в ширину и сажени две в вышину. Это огромное пространство было завалено стволами сибирских и американских древесных пород, приплывших с течением сквозь дальний Берингов пролив. Сибирская лиственница здесь перемежалась с канадской красной сосной и японский бамбук — с обломками красного дерева, рожденного в Мексике.

Попадались и работа человека: обломки чукотских байдар и вельботов и длинные растрепанные бревна разбитых кораблей, дубовые боченки с закрытым содержимым. Викеша однажды, исследуя «холуй», отыскал еще более жуткую штуку, — дубовый увесистый гроб, обшитый блестящим глазетом, местами изорванным. Его раскрывать, разумеется, не стали, и этот угол «холуя» обходили далеко и тщательно.

«Холуй», наполненный кусками умерших деревьев и убитых кораблей, кишел особой тундренной жизнью. В нем прятались мыши-полевки и гнездились во множестве песцы, устроившие норы в огромных сосновых и лиственных дуплах. Рыть нору в мокром мху, затем, чтоб тотчас же пониже дорыться до вечной мерзлоты, песцам не нравилось, а в дуплах и прямо под стволами было и суше и теплее. Главное, ветер никогда не хватал сквозь «холуй», разбиваясь об тысячи стволов. Здесь партизаны могли бы промышлять драгоценные шкурки песцов, если бы в то время они имели хоть какую-нибудь цену.

Дерево было гораздо ценнее. Они устроились, однако, не у самого «холуя», а верст на пять пониже, сплавили плот по протоке, нарубили поварень<sup>1)</sup> и избушек из бревен, конопаченных мохом, и дров навезли для топлива.

---

<sup>1)</sup> Поварня — промысловая избушка.

Область эта была вообще замечательна. Были две виски-протоки, Большая и Малая Чукочьи, но эти имена относились к каким-то иным исчезнувшим чукчам, которые некогда делали набеги на русских колымчан не с востока, а с запада, громили поселки и заимки, а после исчезли неизвестно куда. Максолы находили от них становища, заросшие мохом, могильники с грудой оленьих рогов, трухлявых от старости.

А к югу попадались на тундре иные чукотские стойбища, тоже мертвые, но не столь древние. Это были переселенцы с Каменного берега, пришедшие сюда не особенно давно, лет семьдесят назад, и на памяти ныне живущих стариков съеденные поголовно страшными духами оспы <sup>1)</sup>. Местами трепались обрывки шатров, на связанных жердях, и под ними белели скелеты, дочиста объеденные мышами и песцами. Эта часть тундры была полна оленем, не диким, а только одичалым, потомством беспризорных и бесхозяйственных стад, оставшихся от мертвецов. Олени отличались особой осторожностью, так как в их памяти еще хранилось знание о хитростях и кознях человека, их бывшего хозяина. Все-таки здесь можно было упромыслить и жирного мяса и шкур на одежду.

В этой естественной крепости за жидкими границами своих водных путей отсиживалась колымская вольница от злобных врагов. А врагов было много.

Авилов не был единственным князем на севере, завоевавшим себе область рукой вооруженной, а только одним из многих. На каждую реку, на Алазею, на Индигирку, на Яну, брызнули последние остатки человеческой грязи, извергнутой русским вулканом во

---

<sup>1)</sup> В 1884 и 1889 годах.



время революции, последние струи возвратной контр-революционной волны.

На Алаихе сел капитан Деревянов, маленький, мстительный, пьяный, и ждал, как клещами, затерянный русский островок. По той же реке Индигирке, южнее, в Абыйском улусе, водворился другой капитан, подчиненный Деревянову, Капшин, с якутами-богачами, восставшими против южной гольцтыбы.

На Яне, в Верхоянске, советский отряд выдерживал осаду от белых русских и тоже якутов. Советских ружей было семьдесят, но у белых был пулемет. Советские заперлись в городе и жестоко голодали.

Словно живыми нарывами покрылась полярная страна. Тут было не до наступления. Было в пору обстреляться от наступающих карателей.

Партизаны сидели на Чукочьей виске в блокаде. Кто попадал за пределы блокады, тотчас же погибал смертью напрасной и ужасной.

---

Такая судьба постигла Палладия Кунавина, светло-розового иерея с Колымы. Изгнанный из церкви прихожанами во время вступления белых, он не стал дожидаться у моря непогоды и решился бежать по дорожке, проложенной максолами. Но максолы уехали вперед, да они бы и не приняли лукавого попа.

Надо было действовать одиноко и самостоятельно. Чтоб не было так страшно, Кунавин сманил Костюкова, советского писца, приехавшего с юга. Собачья упряжка была у Канавина отменная, на зло голоду. Впрочем, попы и поповские собаки вообще не голодают.

Они прихватили по маузеру, Кунавин забрал из ризницы облачение получше, оставил отцу Алексею Краснову опорки и обноски, и так они поехали на за-

падную тундру, не зная зачем и куда. Надо было уйти от белых, от близкой кровавой расправы.

Дорога на тундру ведет неизменно через стойбища чукоч. Но уже с половины зимы западные чукчи злились, негодовали на жадных поречан.

Их раздражали постоянные приезды, уговоры, красноречие и потом неизменный убой драгоценных оленей и обмен чего-то на ничто. Особенно их злило, что «обмен» постоянно совершался добровольно, и вместе маячила угроза свинцовых убеждений, запрятанных на нартах.

Бедному Руквату, чукотскому камсолу-камчолу, приходилось не особенно сладко. Соседи называли его «Переодетым», намекая на одежду, которою он побрался с Викешей Казаченком, и даже отца его и братьев и все стойбище Тнеськана называли со смехом: «качаки». По-чукотски «качак» означает одновременно: русский казак и дьявол.

Особенно задорились двоюродные братья Руквата со стойбища Аттувии, родного брата Тнеськана. Имя Аттувия означает «собачий». Оно намекало на строптивый характер носителя. И все имена на этом стойбище имели в корне «атт» — собаку. Двуногие собаки ревновали Руквата к его успехам и связям с русскими и теперь, торжествуя, говорили, что «чайк с реки» надо встретить без всяких разговоров свинцовыми орехами.

Как вдруг прокатилась по стойбищам поразительная весть: русские пришли, настоящие русские, с запада и с юга. С товарами, с чаем, с табаком, со «злою водой». Идут воевать поречан, непослушных холопов. Оттого и товаров не слали, что речные непослушные.

Старики вспоминали старинные легенды о «злых временах», когда русские силы приходили воевать на реку Колыму, и как раз против них, против чукоч,

оленных людей. Было это не так уже давно. До сих пор народные песни вспоминают имена богатырей, отразивших военную тучу: Крикун, Костяное-Лицо, Кивающий-Теменем, точнее: отдающий приказы. Но с тех пор миновала война, и все племена смешались воедино.

Оленные люди не желали опять пережить эти злые времена из-за жадных и голодных непослушных поречан. Чукчи на верховьях реки Омолона были безучастны и нейтральны. Западные чукчи были готовы выступить на помощь белым карателям против злых поречан.

В такую несчастную минуту Кунавин с Костюковым приехали на стойбище Руквата.

Их встретили полным молчанием, даже не сказали обычного приветствия: «приехал», заменяющего «здравствуй». Однако собак накормили, и поздно вечером, когда женщины поставили полог, бедные гости, переябшие на колоде, влезли внутрь, в тепло, без форменного приглашения.

Ужин и чай прошли без особых приключений. Чай, однако, заваривали из хозяйского мешечка, и у гостей ничего не спросили — верный признак того, что их и не считают гостями. Впрочем, у гостей, пожалуй, и не было чаю, хотя бы на заварку.

— Позовите Руквата, — сказал после ужина Тнеськан.

Чукотский камчол остался на дворе и стоял перед русскими санками, не зная, что делать, и страдая уже от того, что закон гостеприимства был столь очевидно нарушен.

— Теперь говорите, кто вы, — спросил Тнеськан в присутствии Руквата.

— Мы с реки, — ответил Кунавин. — Я русский шаман, а это мой посох.

Они говорили на особом жаргоне, смешанном из чукотских, коряцких, юкагирских и русских слов, который на чукотской тундре является торговым языком. Между прочим попа, и на этом жаргоне и на подлинном чукотском языке, называют шаманом, а псаломщика — посохом, помощником шаманским.

— Так вы не камчолы? — сказал разочарованно Рукват. Он все-таки успел разобрать еще с осени, что русские камчолы с шаманами и попами дружбы отнюдь не ведут.

И несчастный Кунавин, стараясь подделаться к общему тону, сказал:

— Мы убегаем от них.

— Куда убегаете?

— К южным иным доброумным жителям, — ответил Кунавин.

И Тнеськан отвечал:

— Хорошо. Не далеко вам ехать-бежать. Они сами сюда приехали. Мы перевезем вас к ним.

Послышалось ворчание собак. Чукчи развернули на нарте брезент, вынули пожитки приезжих и внесли их в полог.

— Что у вас тут? — допрашивал хозяин. — Ружья? Давайте сюда!

Несчастные странники спрятали маузеры в санки, вместо того, чтоб держать при себе.

— А это? Шаманские кафтаны?

Рукват достал из мешка шелковую ризу, блистающую краской двуцветных муаровых разводов.

— Вы, стало быть, и вправду люди из шаманского дома (церкви), — сказал Тнеськан. — Давайте и эти сюда.

Цветные облачения российского шаманства возбудили его жадность и он охотно забрал их под собственный надзор.

Поведение чукоч, между прочим, означало, что гости должны себя рассматривать отчасти под домашним арестом.

## XVI

Опять заворчали, завыли собаки, послышался шелест полозьев, приехали новые гости. В шатер пролезли трое молодцов со стойбища Аттувии и, лежа на брюхе, ноги снаружи, голова внутри, как водится у чукоч, с суровыми лицами, стали в свою очередь спрашивать.

— Опять эти речные собаки? — спросил Аттыкай, старший сын Аттувии, борец и бегун.

— Речные шаманы, — поправил Кунавин слабым голосом. Его даже тошнило от усталости, от ужина, от страха.

— Мы с ружьями, — объявил Аттыкай вызывающим тоном.

— Они тоже с ружьями, — сухо отозвался Тнеськан.

— Отдайте их нам, — сказал Аттыкай, обращаясь к хозяину.

— К начальнику лучше повезу, — возразил Тнеськан. — Ясачный начальник, большой человек.

Ясачный начальник означает по-чукотски: исправник. Из этих слов уразумел Палладий Кунавин, что и здесь где-то близко есть другой карательный отряд. Но чукотские удальцы не хотели уняться.

— Я сам себе исправник, — со смехом сказал Аттыкай. Он пролез-таки в полог совсем, несмотря на тесноту. Его борцовые штаны были украшены пунцовой бахромой. А со спины свисала пушистая длинная кисть — знак его удали в беге.

Чем быстрее бежит человек, тем больше отходит от спины и выпрямляется кисть, пока она не станет совсем горизонтальной.

— Понос пострашнее исправника, — припомнил один из лежащих дерзкую чукотскую поговорку. Ее общий смысл равняется нашей поговорке старого режима: «куда царь пешком ходит». Но чукчи вкладывают в эту поговорку больше насмешки и злости.

Тнеськан покачал головой и ответил другою пословицей:

— «Два лица не имей, два зада не имей».

Это означало, что не следует сражаться на два фронта

Чукотские войны ждали.

— Там русские одни, — сказал Тнеськан, показывая на запад. — Тут русские другие... Какое нам дело мешаться? Собака с собакой грызутся, олень пусть не лезет.

На следующее утро русские и чукчи поехали дальше на запад. Русские ехали впереди на собаках, а чукчи на оленях хлынули сзади на версту. Их олени панически боялись собак. Но русские погонщики собак были арестанты, а чукчи на оленях сторожа.

Вторые каратели были близко. Деревянов из Алаихи приехал разговаривать с чукчами. Он привез, как некогда Митька Ребров, чай и табак, и сахар и водку, а главное он покупал не мясо, не оленей, а пушнину. Пушнина оставалась давно в чукотских мешках, как ненужная, мертвая ценность, и вот она ожила, как прежде, и стала покупать чудесную огненную водку. Чукотские сердца отвратились совсем от постылых соседей поречан и обратились к ласковым пришельцам, несущим возрождение торговли.

Деревянова нашли верст за пятнадцать к западу на стойбище Вутеля. Он приехал на якутских оленях, с военной охраной и собственной белой палаткой. Он

был пьян, всю ночь он пил с чукчами, обмывая лисиц и песцов, попавших к нему в руки из чукотских мешков.

Он встретил пленных на дворе, у входа в палатку.

— Позвольте представиться, — сказал он с отрывистой икотой. — Капитан, Деревянов... полковник — он же Матюшка Деревянный, как хрюшка пьяный.

Наступило короткое молчание.

— А вы кто такие? — спросил Деревянов как-то неожиданно и резко.

— Я священник с Колымы, — объяснил ему Кунавин, — а это учитель из школы.

Он побоялся пред русским выдать за псаломщика какого-то чужого писца и назвал его учителем.

— Учителя к черту, — рявкнул Деревянов, — только народ портят. А сюда вы попали зачем?

— От красных убежали, — с готовностью ответил Кунавин. — Не стерпели, убежали, мученье от них.

Он говорил правду. От красных приходило для него постоянное мученье.

Деревянов засмеялся.

— Были красные, — сказал он, грозя ему пальцем, — да ныне все вышли. Авилова видел?

— Не видел, — ответил с тоскою Кунавин. Он мысленно молился, неизвестно кому, удаче, судьбе или богу: «Пронеси, господи».

Но в бога он не верил, удачи знал немного, судьбы до сих пор не почувствовал. И теперь она простерла над ним свою устрашающую руку.

— Авилова не видел! — сказал Деревянов с упреком. — Авилов орел, а я только ворон. Сам видно красный! — рявкнул он. — Ты... вы... И он протянул в его сторону обличающий палец. — Оба вы!

— Господи, помилуй, не мы!

— Священник, так где твоя ряса, облачение, книги?

И в ту же минуту Тнеськан и его чукчи поднесли и развернули мешки беглецов. Теперь Тнеськану было страшно и жаль арестованных. И он был бесконечно далек, чтоб присвоить из их багажа хоть единую нитку.

— Облачайся! — икнул Деревянов.

И несчастный священник накинул поверх обычной дорожной одежды широкую расцветченную ризу.

— Молебен служи! — приказал Деревянов. — Нашему приходу и нашему воинству!

И синими устами несчастный арестант стал возглашать, установленные формулы.

— Православному, христоролюбивому воинству многая лета!..

— Многая лета! — тянул Деревянов хриплым баском. — Капитану-полковнику, Матвею Деревянному, зело пьяному, многая лета!..

— Ловко возгласил, спасибо!

Деревянов хлопнул в ладоши.

Тотчас же из палатки вышел денщик с подносом. На подносе стояли бутылка и чайные стаканы и горкой лежали галеты.

Деревянов собственной рукою налил в стаканы неразведенный спирт.

— Пейте, — пригласил он гостей.

Кунавин замялся пред спиртом. Он был питух не из важных.

— Пей, жеребьячья порода! — ревнул Деревянов неистово. — Пейте, когда угощаю!

Особенно ужасен был этот внезапный переход от ласкового тона к неистовым крикам. Крики вылетали из его горла так же свободно, как шопот или смех.



Он выпил свой стакан непринужденно, как воду, задумался и ждал. Лицо его чернело. Глаза загорались шальнойю и дикой угрозой.

— Молебен отслужили, — сказал он негромко, нагибаясь к священнику. — Теперь служи панихиду.

— Панихиду, кому? — чуть пролепетал несчастный Кунавин. Он чувствовал себя, как крыса в западне. Даже выпитая водка несколько не смягчила остроты его ужаса.

— Себе, ему, — шипел Деревянов, указывая пальцем. — Красные, переоделись попами, — ты думаешь я не понимаю? Да ведь вы не попы, а жидаы!..

— Служи панихиду, зарежу! — рявкнул он неистовее прежнего, вынул из-за пояса кинжал и приставил его к горлу священника.

Кунавин хотел говорить. Но из его раскрытого рта не вышло ни звука.

— Читай, — приказывал Деревянов: — новопреставленному рабу божию, красному прохвосту, мятежнику, — как тебя звать? — вечная память!.. Другому рабу божию, мятежнику, бунтовщику, — скотина, как его звать? — вечная память!..

Несчастный Костюков неожиданно свалился на землю, как будто его подкосили, лицом в снег, руками врозь.

— А, сволочь! — рассвирепел Деревянов.

Он дернул за шиворот помертвевшего поца и сразу разорвал застегнутую куртку и жилет и рубаху. В его маленькой руке была исполинская сила. Риза утала на землю и покрыла с головой Костюкова.

Обнаженная грудь трепещущей жертвы окончательно свела с ума упившегося палача.

— Смирно, молчать! — крикнул он, хотя Кунавин не издавал ни звука, и тотчас же изо всей силы во-

ткнул ему острый кинжал под ложечку, повыше живота, потом с привычным искусством продернул вниз и распорол весь живот.

Кунавин захрипел и повалился наземь. Из распоротого живота хлынула кровь и поползли синие тугие кишки.

Деревянов нагнулся к Костюкову, быстро выпутал его из-под ризы и повернул вверх лицом. Он был в глубоком обмороке, и Деревянов и ему распорол брюхо таким же привычным и ловким движением.

Пораженные чукчи отскочили, как от чудовища.

— Грех, — говорили они.

Это одно слово по-чукотски совмещает и грех, и преступление, и возмездие, и неудачу в жизни.

В их представлении грех и возмездие естественно связаны вместе, и преступное убийство вызывает неудачу, недобычу и голод и естественную смерть преступника.

Чукчи побежали к шатрам. Через десять минут женщины деловито и смелно снимали шатры, развязывали жерди и столбы и связывали рухлядь, укладывая все это в сани. Они торопились уйти от этого страшного места, от трупов, от убийц, от русского злого начальника, затем, чтоб не разделить его дальнейшей гибели. Ибо в гибели его они были уверены твердо. Они знали из непосредственного опыта, что реки пролитой крови постоянно возвращаются назад и прибывают в верховьях и топят зачинщиков.

Деревянов не обратил на чукоч особого внимания. Он стоял и смотрел на трупы. Лицо его трезвело и в глазах пробудилось осмысленное выражение.

— Падаль ты, падаль, — промолвил он в раздумьи, — Матюшка Деревяный, разбойник. Контра несчастная!..

Это не было напутственное слово над убитыми жертвами. Это была его самооценка, излившаяся из глубин его безобразного сердца, полного пьяной жестокостью.

Так красный поп Кунавин с советским писцом Костюковым бежали из Колымска от красных и от белых и попали на тот свет, ибо на этом свете между красными и белыми больше им не было места.

## XVII

Быстро покорил великий князь Викентий свое новое Колымское княжество, — шестнадцать поселков на реке, югагирских и русских, и восемнадцать наслегов (селений) якутского улуса, отступивших от реки на лугу и озера. Княжество его было обширнее Германской империи, а всего населения было шесть тысяч человек, считая бродячих ламутов, тунгусов и неукротимых чукоч.

После первого расстрела особых жестокостей не было. Только в Нижнем Колымске расстреляли двоих, скорее для уравниения, чтобы второй столице Колымской страны не было обидно.

Покорив свое княжество, Викентий Авилов, согласно своим обещаниям, начал расстраивать новый порядок, который утвердился на реке Колыме в последние скудные годы.

Начал Авилов, конечно, с отмены пайка, отчасти поневоле. Раздавать было нечего, в амбарах было пусто. Вместо красной макаризации, белые ввели доподлинную реквизицию, но то, что собиралось, еле хватало на пропитание отряда. А крепче нажать, чем нажимали красные, белые каратели не смели и даже не умели.

Но странно сказать, отмена пайка упала, как гиря, на головы колымского народа. Фунт рыбы, полфунта мяса — конечно не много, но этим держалась обществен-

ность города. Потеряв эту кроху, поречане ощущали, как будто потеряли жизнь.

Через три дня, несмотря на весь ужас, внушаемый белыми, группа старух и вообще бабенок, с младенцами на руках, подошли к заднему окну Авилова и стали вопить: «Иисть, йисть!» Из всех криков Колымы — это самый постоянный и самый вразумительный.

Они думали, что их перестреляют. Но Авиллов стрелять не велел, а показавшись в окне. Старухи и дети плакали горькими слезами:

— Хоть крошку какую дайте, не оставляйте нас так!

— Я вам дам, что смогу! — пообещал Авиллов.

На утро объявили по городу неожиданную, неслыханную радость. Каждому жителю, до малого младенца, начальник дает по восьмушке кирпичка и четыре куска сахара. Старухи попросили табаку. Авиллов выдал полпуда и велел растеребить и раздать по листу. Это было повторение подвигов Митьки Реброва в начале революции. Колымская политика, как видно, допускала один только путь. Купцы ожидали совсем не того. И на утро, после раздачи, на квартиру к Макарьеву явилась партия торгующих людей и, правда, не с улицы в окошко, но все-таки скопом, и в формах вечевых стали просить:

— Отец, челяди дал, теперь и нам дай!

— Берите, — согласился Авиллов и отправил их к князю Алыму.

Горбоносый черкес-армянин был интендантом отряда, стал интендантом Колымского княжества. Купцы вначале возымели довольно безумную мысль: забрать у Авилова драгоценные товары просто так, за здорово живешь. Но князь Алым только пальцем помотал перед носом у рыжего Ковынина.

— Не так.

— Ну, в долг, — предложили купцы с такой же готовностью.

— Зачем долг, — сказал интендант, — меняй чего-нибудь.

— А что у нас есть, — наивно сказали купцы, — нету ничего!

— Какой ничего, шкура есть! Давай своя шкура за чай и табак!

Дело шло, разумеется, не о собственной купеческой шкуре, а о шкурах звериных, о блестящей, расцветченной, драгоценной колымской пушнине.

Так черкес Алымбаев практически установил на Колыме монополию внуторга.

Ольские мещане представляли в отряде Авилова частный капитал. Были они с птичьими именами, одинаково громкими, хотя и разными. Один был Соколов, другой Коршунов, а третий Ястребов. Это было единственное наследство, уцелевшее у этих торгашей от предков, свирепых казаков, завоевавших край.

Эти торговые птицы организовали лавочку и стали покупать у колымчан ту же самую пушнину и за тот же чай, табачок, но, разумеется, платили дорожке казенной цены.

Алымбаев молчал до поры, но когда у частных набралось достаточно пушнины он пригласил к себе старшую птицу, Соколова, и предложил выкупить у них всю пушнину.

— А почему? — спросил Соколов.

— А почему вы покупали, по том и заплатим.

Соколов даже поперхнулся от изумления и гнева.

— А на... на... нам что останется?

— А вы начинайте сначала, — насмешливо сказал интендант.

На утро молодой Новгородов пошел объясняться с Авиловым. Он старался держаться развязно, но руки у него тряслись.

— Зачем обижаешь народ? Вместе голодали!

— А тебе какое дело? — резко спросил Авилов.

— Когда дорогу искали в торах, тогда было мое дело! — запальчиво крикнул якут.

Авилов молчал.

— Весь барыш себе забираете! — кричал Новгородов. — А может, я пайщик! За что боролись?

Эта знаменитая фраза впоследствии получила большое применение в политике. Но Авилову она не понравилась.

Он хлопнул в ладоши. Вошел ординарец чуваш.  
— Кликнуть ко мне коменданта!

Комендантом был назначен, как обычно, розовый Дулебов.

Дулебов вошел с вежливой улыбкой на спокойном лице.

— Приказ по гарнизону, — сказал Авилов. — Якутов Новгородовых, обоих, в двадцать четыре часа выслать из пределов вверенного мне края.

Новгородов действительно уехал на следующий день и отправился на запад по знакомому якутскому тракту. Птичьи мещане уехали с ним без всякого приказа. Пушкину Алымбаев реквизировал в казну и ничего не заплатил. Но остатки их собственных товаров великодушно отдал изгнанникам.

Так произошло на Колыме расхождение двух капиталов и классов: феодального с торговым.

Новгородов и птичьи мещане попали на Абый, в другое государство, тоже завоеванное белыми. Верховным владетелем этого государства был капитан Матвей Деревянов, иначе Матюша Деревянный. Но приключе-

ния этих кушцов в деревянном государстве я расскажу как-нибудь в другой раз.

Колымские жители выпили розданный чай, выкурили табак, но все же остались без еды. Стали обдирать шкурную обивку с дверей, шерсть сбивали, а кожу разваривали в кипятке, наподобие супа. Съели постельные кожи, варили даже дымленую замшу, несмотря на горький вкус и кожи и дыма.

На второй неделе случилось событие. Городской нищий Егорша Юкагир повесился на воротах штаб-квартиры Авилова.

Милостыни ему давно не подавали. Но Егорша питался кусками испорченного мяса из казенного склада, от каких даже собаки воротили брезгливо носы. В казенном амбаре мясо постоянно загнивало, и Егорша не оставался без пищи. Он дошел до того, что ел эту падаль сырым, а если она загнивала до червей, он выбирал червей просто пальцами и складывал в рот.

Наравне с Егоршей казенным мясом питались горностаи и крысы. Горностаи раздобрели на почве реквизиций и так размножились, что Луковцев понемногу наладил промысел этого ценного зверька. Но теперь в амбаре нечему было испортиться. Было чисто и пусто, как выметено. Горностаи отступили в леса, а Егорша Юкагир отступил на тот свет.

Повесившись на воротах макарьевского дома, он тем самым набросил колдующий «урос» (проклятие) не то на кушца, не то на начальника.

После этого печального события Авиллов, со свойственной ему прямолинейностью, решил очистить город от всех ненужных дармоедных элементов. Чуваши другой раз пошли по домам и согнали в казарму бесприютных старух, беспризорных ребятишек, мальчишек и дев-

чонок, каких-то вдов с детишками. Хотели даже прихватить Липку Щербатых вместе с ее дочками. Но она подняла страшный крик.

— К Викентию пойду, одну ухвоил (извел), теперь за другую принялся!

Историю Авилова знали теперь и чуваши и то, как Липка кричала вместо «Авилова» — «Викентий», повлияло на них.

Но другую девчонку, Анюшку, дочку Митрофана Куропашки, которая съехала в Средний после смерти отца и сбилась к знакомой семье Весельчан, как приبلудная собачонка, чуваши захватили у Липки и Липка за нее не вступилась. Ей нечем было кормить свою собственную кровь.

С этим человеческим уловом церемониться не стали. Алымбаев с Дулебовым разбили их на кучки и на утро разослали по наслегам, так, вслепую, без всякого соображения, и дней через пять, через шесть в якутских поселках оказалось по кучке этих городских изгнанников, голодных и ничемных.

Наследные старосты не знали, что с ними делать. В довоенное время, случалось, присылали вот также уголовных поселенцев-русаков, но такой поселенец был мужчина, опытный и сильный и по-своему страшный. Наслеги отчасти кормили его, а отчасти он грабил. Иногда ему давали сироту, безродную старуху, негодную для подлинных хозяев, — в рабыни и в жены, и она промышляла для него все ту же питающую рыбку. Таких беспризорных сирот наслеги вообще раздавали в полурабство богатым хозяевам, мальчишек до возмужалости, девчонок до замужества. Их якуты называли *хумулан*, общественный вскормленник.

Но тут было другое. Тут были сироты и старухи из города, русские рабыни на потребу якутов.



Их разобрали по рукам, богачи взяли что получше, а бедным достался оборыш. Мальчишки попали в ба-траки, девчонки в наложницы. На западной тундре несколько девчонок продали «в чукчи». Чукчи вообще питают любопытство к женщинам чуждых племен, в особенности к русским. Так появились на тундре у чукоч русские рабыни, как было двести лет назад, во время чукотской войны.

Анюшку Куропашкину купил Аттыкай со стойбища Аттувии, двоюродный брат Переодетого Руквата. И он снял с нее последние ситцевые тряпки, одел ее в пышную одежду из лоснящегося пыжика, примазал ее к своему очагу, т. е. зарезал оленя и свежую кровью начертил на ее лбу и щеках наследственные знаки своего собственного рода, потом отдал ее женам-шаманкам, чтобы они изгнали из нее русскую тоску и вложили ей новую чукотскую оленелюбивую душу.

После всех этих обрядов он повез ее с большим торжеством на стойбище дяди Тнеськана.

— Помиримся, Рукват, — сказал он двоюродному брату, — теперь я не хуже тебя. Ты переоделся по-русски, а я эту русачку переодел по-нашему.

Впрочем, это другая история, которую я расскажу когда-нибудь после.

## XVIII

В городе сыто не стало. Голодных и нищих как будто не убавилось. В сущности, все горожане, кроме маленькой кучки торговцев, были такие же голодные, как изгнанные хумулань. Чиновники жили не лучше других. Олесов Никола продал Тарасу Карпатову заветный серебряный крестик за полтора пуда муки. Когда Тарас в воскресенье с обедни пришел с этим новокупленным знаком и важно выпятил свой странный

зеленый мундир пограничного ведомства, насупились самые злые казаки, супротивники Митьки Реброва. А старухи запричитали, как будто по покойнику. Пришельцы отбирали от туземцев казенные отличия, покупкой или силой. Горожане словно понизились в чине, совместно с Николою.

Но помимо обедни горожане таили недовольство, сидели по домам и молчали. Скучно стало в полярном городишке, скучнее чем пятнадцать лет назад, когда и Авиллову случалось самому голодать с беднейшими из жителей.

Впрочем, у Авиллова нашелся интерес. Он принял на учет городскую казну, точнее, приказал перенести ее в макарьевскую лавку, которую занял совместно с большою избой. Казна состояла из разноцветных бумажек, которые когда-то считались деньгами, и из не менее цветных и лоснящихся мехов.

Авиллов, быть может, от нечего делать, стал перебирать эти пышные меха и тут ощутил странное влечение к ярким лисицам-огневушкам, белоснежным песцам, палево-дымчатым белкам, длинношерстым и жестким медведям. Вся Колыма будто облезла от времени, потускнела и слиняла, она походила на голодную собаку, с ключковатую шерстью, бессильную и жалкую. Но в этих блестящих мехах были последние яркие краски, последняя юность, какая уцелела в разоренном и растоптанном краю.

В один глухой зимний вечер, когда полуденная заря уже проползла и погасла на южных небесах и на северном краю горизонта зажглись сполохи<sup>1)</sup>, такие же призрачные, туманные, неуловимые, как вся эта северная жизнь, Авиллов устроил генеральный просмотр ме-

---

<sup>1)</sup> Северное сияние.

хов. Он разобрал все пачки и связки, вывернул мехом наружу лисьи и беличьи шкуры, снятые круглым чулком, и увешал их мягкими складками полки и прилавок деревянной магарьевской лавки. Некрашенный пол устлал росомахами и серыми волками, а у стены поставил единственную белую медвежину какой-то небывалой ширины. Была она жесткая, как дерево, и словно отгораживала в лавке особую белую комнату.

Покончив с убранством, Авилов разрезал на части несколько фунтов свечей, прилепил их на полках и ярко осветил свои меховые сокровища. Свечи были стеариновые, они уцелели еще от исправника, никто их не взял за ненужностью. Сальные свечи колымские жители при случае ели с охотой, но стеариновые в пищу никак не годятся.

Устроив свою меховую выставку, Авилов позвал свою единственную даму. Она обитала особо от военных у старой Гаврилихи, где было наибольшее удобств на женскую руку.

— Вот наше колымское богатство, — сказал ей Авилов. — Золота нету у нас, но эти меха ценились когда-то не меньше. Вот видишь — лисица-огневка, — указал он, встряхивая шкурку с странной окраской, как будто из пламенных черточек, затвердевших в шерстистые нити, — об ней тунгусы говорят, что в темном пологу она светит не хуже, чем свечка.

— Как? Чем? — спросила Варвара Алексеевна с недоверчивым интересом.

— А вот как, пойдём!

Он взял огневку и увел свою даму в соседнюю комнату. Там в темноте он прочесал этот мех роговой гребенкой, из меха посыпались искры, раздался слабый треск.

Варвара Алексеевна тряхнула волосами, шпильки зазвенели, и она провела гребешком по своему собственному меху. Ее рыжая грива тоже трещала и искрилась во мраке, не хуже лисицы.

— Это — сестра моя, лисица, — сказала она торжествующе, — отдай ее мне.

Она закинула Авилову руки на шею и потерлась об его щеку своей собственной огневкой, недавно струившей электричество.

— Все бери, — сказал Авилов с обычной щедростью.

В макарьевской лавке Варвара Алексеевна провела блаженный час, прикладывая и примеривая и к шее и к стану колымские меха. Она прилаживала их на плечи, как части палантинов, надевала на шею, как боа, обертывала вокруг головы, как причудливую шапку. Одну особенно широкую лисицу она напялила на голову, как меховой колпак, хвост к спине, рыло торчком. Так, вероятно, носили первобытные жены меха, добытые их дикими мужьями.

— Сколько взять? — спросила Варвара Алексеевна.

— Сколько унесешь, сколько рукамихватишь, — ответил Авилов.

Варвара Алексеевна немного подумала, потом сходила в задние комнаты и принесла клубок тонкой и крепкой бечевки-мериканки, сученой из льна. Белые ее продавали по малости жителям. Поречане рассучивали бечевку в ее первоначальную кудель и снова ссучивали нить, чтобы чинить ею старые сети.

Варвара Алексеевна стала проворно снызывать вместе различные шкурки, восстанавливая их связи, разрозненные Авиловым. Потом она окутала шею огромным ожерельем белок, обернулась, как будто плащом, лисицами белыми и красными. Теперь она была как бесформенный ком, как тюк наплучшей пушнины, который

не мог бы поместиться даже на самой широкой перевозочной нарте. Но этого ей было не довольно. Она захватила за обвязку огромную пачку лисиц, еще совершенно неразрезанную, подняла ее вверх и притиснула к груди и, шатаясь от тяжести, мелкими шажками поплелась к двери, выходявшей из лавки в горницу Авилова.

Викентий широко улыбался. Так некогда греческий философ бессребренник вынес из сокровищницы Крезавара столько золота, сколько мог захватить руками.

На утро в горницах Гаврилихи шла боевая суета. Лучшие шитницы кроили и шили меховую добычу Варвары. Они с несравненным искусством собирали хвосты и полотнища из хребтиков особо, из черевок особо, подбирали по узору лисьи и песцовые лапы и подшивали душки и ушки, одно к одному. Из беличьих хвостов, расколотых и шитых, собирали пышные напшейники, лучшие из всех, какие существуют на свете. Шитницы скрепляли меха крепкими оленьими жилами, которые не сохнут и не лопаются, — скорее стирается мех, чем эта упругая сшивка.

На следующий вечер Гаврилиха сама собственноручно накрыла и укутала жилищу новым одеялом из белого песка, но колымская княгиня Варвара Алексеевна думала уже о другом. Она собиралась учить колымчан, смягчая их дикие нравы.

Устроить настоящую школу ей было совсем не с руки. Белые вообще разрушали все школы и даже расстреляли недавно учителя Данила Слепцова. Варвара Алексеевна устроила школу по своей специальности — полярный танцкласс.

Наскоро очистили полицию, и в зальчике с предательской ступенькой ежедневно Варвара Алексеевна собирала бабенок и дев и учила их новому плясу. Тут

были все роды: танго и матчиш, джимми, ту-степ и фокстрот и даже откровенная пляска живота. Затея княгини Варвары имела успех. Сходились девчонки и девы, и взрослые, и бабы, и даже старые старухи. Скучно и уныло в Колыме и, быть может, оттого жители особливо певучи и плясучи. Клин клином вышибают.

Нехватало молодых кавалеров, ушедших с Викешей в Горла. Но приходили старики, даже пришел Соловьев, дыроносый любезник, статный и проворный, но с черной дырою в ноздре, пробитой французской болезнью. Но это на Колыме не вменяется в вину. Дыроносый Соловьев был плясун первой статьи, самый переимчивый и самый неуемный. Даже войсковые офицеры не могли с ним состязаться.

Излишне прибавлять, что они тоже были тут, начиная с рассеянного Мухина и кончая проворным Тарасом. Тарас, впрочем, учения Варвары принимать не хотел, а если придет, урезавши добрую муху, то ударит гопака, да такого, что стены затрясутся:

Эй, гоп, закаблуки,  
Закаблукам лиха дам,  
Достанется й передам...

Даже льдины закачаютя в оконных прорезах. Все стекла в зальчике были давно выбиты и окна заменены тяжелыми цельными льдинами.

Дулебов со своей дамой тоже от других не отставал. Ибо он все-таки приблизил к себе ту, сеченую. Звали ее Монька Селезнева. Была она бледная, вялая, ходила неспеша, с перевалкой. И скромный Дулебов не покушался плясать с нею вольные танцы певичцы, княгини колымской. Он был любитель старинных классических танцев, и на задней площадке эстрады водил с ней менует, кланялся с округленными локтями, прижимал

руку к сердцу, а она приседала в ответ, сгибая непослушные колени, дрожавшие постоянно мелкою дрожью. Дрожь эта осталась у Моньки, как память о «любовных объяснениях капитана Дулебова» в тот первый день.

А впереди носились в хороводе неистовые вакханты и вакханки Колымы, сбиваясь порою с новомодного танца на свой старинный круг с его звериными фигурами: «уточка», «сохатый».

Обе половины зальчика разделялись, как сказано, ступенькой, и порою какая-нибудь бойкая пара плясунов натыкалась на нее и падала. Кавалер попадал головою в живот своей собственной даме, и расстраивался весь хоровод.

Тускло сверкали две плошки из рыбьего жиру на окнах. Угощения в танцклассе не бывало, но порою подавали бруснику из склада, остатки от прежних воскресников.

Напрыгавшись вдоволь, усаживались дамы и девки на лавках рядком и смутно заводили тихими голосами какую-нибудь старую песню:

Сказали про милого, будто не жив, не здоров,  
Сказали про удалого, будто без вести пропал.

И младшие девчонки плакали порою, вспоминая о далеких максолах, которые прячутся где-то на тундре в Горлах, в голоде и холоде.

Княгиня Варвара, хоть бывшая певица, новому пению их не учила. Она страстно любила старинные русские песни, не хуже императрицы Елизаветы Петровны, которая правила некогда во граде над Невой, окруженная такой же разношерстной, беспорядочной, полуцыганской ордой.

## XIX

Миновали Спиридоны-повороты и праздник обрезания господня. Колыма почему-то отмечает особой любовью этот странный иудейский обряд. Год стал прибывать с стихийной быстротой, как бывает на севере. Но именно на прибыли года свирепо заскучал колымский князь Викентий. Он покорил свое княжество, ушел от революции в эту полярную крепость, но он принес с собой ее бури в собственном неистовом сердце и готов был сказать: «А дальше?..»

Князья-завоеватели всегда продолжали покорять соседские области. Не итти ли на соседей? Но было до соседей далеко. К тому же чуваша и башкиры, пригревшись в Колыме, были не особенно склонны к дальнейшим покорениям. С быстротой и переимчивостью, свойственной народам СССР, они вошли в свою новую жизнь, семейную и даже трудовую. Обитали в захваченных домах, растили детей и старались произвести новых. Когда надо, ездили по дрова, даже рыбу ловили захваченными сетями и снастями. Лыняная мериканка стала помогать Колыме. Исправленные снасти давали по рыбке, по другой. Правда, рыбу съедали солдаты, но кости и головы доставались горожанам и собакам.

«Высшие классы» веселились.

Авилов как-то зашел в танцкласс своей милой княгини. Она подошла к нему с разбега, оживленная, и предложила свою белую руку. И неизменно снисходительный к женам, Авиллов не стал отказываться и прошелся с ней по зальчику в размеренном движении. Но это было, разумеется, совсем не танго и не джимми, а скорее медлительный и важный прадедовский гротеск.



Исполнив две проходки, Авилов поклонился и отправился обратно домой. Он привык все делать сам. Так и теперь, он спустился в подполье и правую дверь отомкнул своим собственным ключом. Здесь стояли бочки с заветною жидкой валютой. Авилов нацедил из боченка дорожную баклажку и вернулся к себе.

Он запер свою горницу на ключ, поставил баклажку на стол, взял свой дорожный стакан, потом передумал и принес из ушата объемистый ковшик.

До сих пор ни разу Авилов не пьянствовал. Он был от роду пьян своим собственным духом. Пьян и спокоен — самая опасная форма. Динамит не к чему поливать спиртом. Взрыв не нуждается в добавочном обжоге.

Помимо того, Авилов мог пить, не пьянея и бесконечно много. Легче было бы быка напоить. За стойкою в кабаке, где-нибудь на присеках Аляскинских и Ленских, он мерился с самыми злыми пьяницами и отходил от стойки последним, нисколько не утратив своего торжественно медлительного вида. Но на этот раз, на самом краю света, где небо сходится с землей и дальше идти некуда, Авилов почувствовал впервые потребность раздвинуть горизонт не взрывчатою бомбой, не бодливым тычком своей собственной упрямой головы, а искусственной силой, принесенной извне, мечтою, обольщением. Это обольщение должен был дать знакомый давно алкоголь.

Ковшик, другой. Авилов наливает свои порции и тянет жгучий спирт спокойно, методически, как лошадь тянет воду.

Третий ковшик.

— Я покажу тебе! — угрожает Авилов. Кому, духу ли бессильного пьянства, или собственной дубовой голове?..

Он чувствует жар во лбу. Нагреваются шея и плечи. Даже в ладонях какой-то прыгающий, покалывающий зной. Тело его словно затопили изнутри, из желудка. Уши приглушены ватой, мысли подернуты мягкой кисеей, покрыты воздушной пленкой.

Еще один коврик, четвертый. Неужели Авилов вытянет целую четверть без всяких очевидных последствий?

Плошка вспыхивает, загораясь белым ослепительным огнем. Это искусственный день, а, быть может, настоящий. Горница внезапно раздвинулась. Стены зеленеют, встали высоко, как прибрежные камни-быки, и мягкие ковры колыхаются, как волны, и чей-то голос, позабытый, знакомый, дорогой, кричит раздирающе: «Солнце, потопаю!..» Это Ружейная Дука тонет на реке.

— Викентий Авилов, ты ее погубил, ты ее и выручи!..

Стены раздвигаются шире, смыкаясь вдали горизонта. Колышутся ковры, как морские валы. Скамьи, табуреты — это острова, это пловучие льдины, разметанные бурей.

Низкий стол — это самая широкая льдина. На льдине стоит женщина, держится за древко гарпуна, дрожащего над снежной застругой<sup>1)</sup>.

— Викеша, мой милый Викеша!

И голос все тот же, знакомый, забытый, дорогой... Женщина бросается вперед и словно летит над водною бездной.

— Дука, погоди! Держите Ружейную Дуку!

Из стены выплывает лицо, забытые, знакомые глаза. И тянутся хватающие руки: «Не пустю, не пустю!» Авилов стряхивает руки призрака, как стряхнул когда-то

---

<sup>1)</sup> Заструга — сугроб тугого снега, покошенный силой ветра.

живые руки женщины. Он не боится покойников, он не знает угрызений и злых воспоминаний.

В слезах исчезают глаза. И стена словно зеркало. В ней отражаются собственные глаза Викентия Авилова. И зеркало это волшебное, молодящее, украшающее. Молодой безбородый Авиллов с упреком глядит на полковника: «Бросил нас, чортова морда, оставил нас мучиться!»

И тянется опять рука, длинная, обличающая.

— Уйди! — кричит Авиллов не своим голосом. Эту мужскую угрожающую руку так легко не стряхнешь. Она тянется к горлу Авилова, сжимает, мешает дышать. Авиллов протягивает свою собственную крепкую десницу и хватает противника за горло. Они борются в буйном молчании, терзают и душат друг друга. С собственным своим двойником, с собственной плотью и духом борется полковник Авиллов не на живот, а на смерть.

## XX

Карпаты и Мухин вернулись из Нижнего в Средний с полными грузами лучшей строганины, рыбы похотской и сухарной. Все нарты загрузили, какие наплы на Нижней Колыме. Алым Алымбаев остался с отрядом на низу. Экономика вообще побеждает политику. Так и удельное княжество на Нижней Колыме получили не Мухин, не Дулебов, а отрядный интендант, ведавший обозом и снабжением.

Издавна ведется, что Нижняя Колыма кормит зиму Среднюю. Особенно восточное устье Колымы, Сухарное, является большим живорыбным садком, переполненным лучшей добычей.

В феврале, когда нарастали весенние промыслы, черкесско-армянский «кнез» выехал с отрядом, как

когда-то на полоудье <sup>1)</sup> ездили варяжские князья. У него было десять человек и он поселил их на северных заимках, Крайлесовской и Сухарной, в каждом жилье по человеку и все они стали на страже у промысла, как голодные чайки. Утром, и в полдень, и вечером у каждого высмотря сети сторожил надоедный чужой человек и брал половину себе. Стали засыпаться амбары казенной мороженой рыбой, и было это злее ребровских взиманий, ибо Ребров старался устраивать что-то по-новому, а эти взимали по-старому, просто.

Жителям пришлось невтерпеж. И они стали роптать, сперва потихоньку, а потом и погромче:

— Где эти черти ленивые, сидят на Горлах? Прикипели проклятые к горловским чирам!

Роптали они не на белых, а на красных партизан и на их непонятное бездействие. Сухарновцы уже собирались послать к ним гонцов, но партизаны, в конце концов, явились и сами. Это были две старшие дружины, Митькина и Пакина команды. В Митькиной команде, после гибели диктатора Реброва, наибольшим остался Мишка Якут. Он был один из четырех, которые спаслись от расстрела на протоке Зеленой.

После расстрела Мишка повел себя странно. Днем постоянно молчал, кроме самого необходимого, а ночью нередко вскакивал с криком.

— Чего ты, — говорили ему соседи по орунам <sup>2)</sup>.

А Мишка тряхнет головой и бормочет:

— Семнадцать.

В дружине стали говорить, что семнадцать убитых дружинников являются к Мишке по ночам и требуют отпущения. На общую власть над партизанами Мишка

---

<sup>1)</sup> Полоудье — дань.

<sup>2)</sup> Оруны — лавки вдоль стен для спанья.

не заявлял притязания. Да и дружина его была чересчур малочисленная. Он принимал всевозможные меры, чтобы ее пополнить. И, между прочим, надумал отправиться на запад, к алазейским якутам и мещанам, которые тоже терпели от Матвея Деревянова. Двадцать алазейских молодцов пришли на Горла, но поставили Мишке условие: первый налет на Колыму, второй на Алазею. Им не терпелось управиться с собственным карателем.

Теперь Мишка собирался осуществить этот первый налет. Он пригласил на подмогу голодную Пакину банду.

— А вы оставайтесь, — сказал он максолам. Надо ваш урос перебить.

Старшие дружинники считали, что «урос», неудача на протоке Зеленой, пришла от максолов.

С собаками, на лыжах, оба отряда прошли на Похотское устье к заимке Черноусовой. Дружина осталась в лесу. Мишка отправился в деревню добыть языка. Было это на заре, снег просветлел на свинцовом речном полотне. Мишка подошел к крайнему дому и подергал тяжелую дверь за кожаный висячий поводок, заменяющий скобку и щеколду.

Вышел чернолицый человек, заспанный, весь в шерсти и пуху от мягкой полярной постели. Русские на северных заимках спят без простынь на оленьих шкурах, но подушки их набиты наилучшим лебяжьим пухом.

Это был Васька Гуляев, тот самый, что когда-то приезжал на Едому с вестями о белых.

— Ну, как? — коротко спросил Мишка.

— Заждались вас, — ответил Гуляев. — Все глаза проглядели — сахарновцы то есть.

— А сколько дьяволов?

К этому времени за белыми твердо установилась зловещая кличка — «дьяво́ла».

— Десяток, — ответил Гуляев.

Мишка почесал гюлову.

— Надо семнадцать, — сказал он.

Гуляев посмотрел на него с удивлением: ведь семнадцать человек труднее победить, чем десяток.

— Разве из сухарновских добавить, — задумчиво предположил Мишка.

— Да что ты, сатана, — рассердился Гуляев, — ведь наши сухарновски...

— Ну, не пыли, — успокоил его Мишка. — Т видно будет.

— А брыкалка есть?

Брыкалкой колымчане прозвали пулемет.

— Брыкалку вверх увезли, — сообщил Гуляев.

На лице у Мишки выразилось облегчение. Колымчане считали пулемет не только оружием, но лучшим амулетом, залогом победы для белых.

Отряд перешел через западное устье и по путанным протокам и низким островам стал перебираться на каменный берег востока. Надо было пройти верст шестьдесят, и партизаны попали на Сухарное только к полночи. Зато все обошлось благополучно. Каким-то неизвестным путем сухарновцы узнали об налете. Было ли это предчувствие, или особого рода беспроволочный телеграф, который переносится в пустыне между разбросанными жителями, но в последнем перелеске перед тундрой навстречу партизанам вышел молодец, одетый по чукотской моде, с длинным копьём вместо ружья или лука.

— Ну, как? — задал Мишка все то же вопрос.

— Спят дьявола.

— А зачем не предупредите? — сказал ему Пака убедительно и просто.

— Да мы бы и рады, — сказал молодец, — да видно понимают дьявола, выбрались от нас, забрались в одну избу, выгнали Серегу Протолкуя...

— Что с ними? — спросил Пака.

— Ружья с носами, с десяток, а брыкалки нету. Партизаны замялись. Военные берданки со штыками были все же страшное оружие против колымских кремневок.

— Как делать станем? — сказал после паузы Мишка. — Пака, говори!

И Пака предложил неожиданное средство:

— Давайте, заморозим их.

У колымских подростков зимою в ходу характерная северная шутка. Возьмут и заморозят чью-нибудь наружную дверь, забросают сверху донизу мокрым снегом и водою польют для крепости. Замороженную дверь никак не открыть изнутри, разве вырубить дерево двери и раскалывать потом льдистую обшивку, но и тут замораживают на такую толщину, что наружу и не вырвешься.

Пака предлагал устроить эту штуку с избой Протолкуя, где обитали белые.

Протолкуй крепко поскреб пятерней в нечесанном русом затылке.

— Дочки мои тамо, — сказал он озабоченно. — Потом прибавил с внезапным ожесточением: — А' чорт с ними, с дочками!..

Он был самый зажиточный на Сухарной Колыме и раньше торговал по малости с соседними чукчами на восточном берегу и Протолкуем его звали за его красноречие в сделках, заведомо невыгодных для его простодушных покупателей. Но зажиточным людям горчее

всего приходилось от белых. У них было что отнять. Хорошие избы, одежда, собаки и пища.

Также и у Сереги Протолкуя белые отняли избу, выгнали вон мужчин, а женщин оставили для всякой услуги и потребности.

И надо указать, что, несмотря на вольность колымских нравов, жители стали ненавидеть даже женщин, вступавших в общение с пришлыми дьяволами. Так и Протолкуй, после коротких колебаний, махнул рукой на свою собственную плоть.

## XXI

Вышло как по-писаному. Большая изба Протолкуя имела внутренние сени и наружные сени. Их соединяли тяжелые двери, обшитые шкурами, первая, вторая и третья.

Внутренние сени причислялись к избе, наружные служили для склада собачьих корыт и саней и бочонков. Партизаны заморозили среднюю дверь и целые наружные сени. Наносили побольше воды, благо ушаты и ведра были под руками, снегу нагребли и хрупкого (зернистого) песку нарыли под угором из-под снега на речном берегу. Потом заморозили дверь и стали набивать наружные сени снежною мокрою массой.

Белые проснулись наконец, выскочили в первые сени и стали колотить прикладами по двери. Но было уже поздно. Наружные сени были набиты полярным бетоном. Снег, перемешанный с песком, скипелся, как сплав неразрушимой крепости.

Тогда белые вернулись обратно в избу. Они попали в ловушку, в закрытую тюрьму, без всякого выхода.

Начинало светать. Партизаны держали под обстрелом три окна по переднему фасаду избы. Изнутри за-



стучали приклады по первому справа окну. Лыдина раскололась и одна половина упала. Показалась рука и взялась за косяк, подтягивая снизу большое тяжелое тело. И тогда Николай Соболев, дружинник из партии Паки, выстрелил из лука однозубой железной стрелой и пригвоздил эту руку глубоко к некрашенному косяку.

Партизаны, жалея патронов, носили, в дополнение к ружьям, клееные длинные юкагирские луки, и лук был не хуже ружья.

С воплем дернулась рука. Но тут алазеец Матвей Сидорацкий выстрелил из винтовки, быть может, для разнообразия, и в придачу к руке на косяк привалилось лицо, бледное, с закрытыми глазами. Шея была пробита на вылет, и жизнь улетела вместе с умчавшейся маленькой пулькой.

— Раз! — сосчитал Мишка с довольным видом.

Эта ужасная фигура, пригвожденная рукой к косяку, так и осталась в окне до самой последней развязки, и белые ее не убрали.

Солнце восходило. Прозрачная лыдина заалела на встречу востоку кровавыми пятнами. Другую оконную лыдину белые разбили осторожно, проделав в ее центре широкую бойницу. Высунулось дуло берданки и раздался выстрел, потом другой и третий. Но партизаны держались, разумеется, не на линии выстрелов.

Пака и Якут стояли за стеной в совершенной безопасности.

— Береги, — раздался окрик осаждающих.

Шкурная затычка в глиняной трубе камина, торчавшей над плоскою крышей, словно ожила, зашевелилась. Ее обгорелая шерсть разлохматилась жесткою гривой. Затычка превратилась в человеческую голову.

Посыпались выстрелы. Затычка-голова словно оборвалась и провалилась обратно в камин.

— Два, — сказал с удовлетворением Мишка.

Пака потер свои голые красные руки.

— Холодно, — сказал он мирным тоном, — вишь, как мороз забирает.

Мороз действительно крепчал в это раннее февральское утро. Февраль на Колыме месяц холодов.

Мишка посмотрел на разбитые окна и раскрытую трубу избы.

— Им тоже холодно, — сказал он, злорадствуя. — Давай-ка погреемся и их тоже погреем.

По задней стене избы были сложены дрова, хорошие, сухие, как порох. Кладка доходила до крыши. Чтоб лучше горело, их полили жиром из отборных чиров, который Протолкуевы девки приготовили к светлому празднику. Сам Протолкуй рассудил, что девкам его этот жир не понадобится больше.

Пламя вспыхнуло и встало над стеной, потом перегнулось через крышу, словно захлестнуло ее. Ледяная обмазка стены, обтаяв, сбежала на землю. Затлелись огромные бревна.

Изба стояла сорок лет. Она была сложена к тому же из сплавного леса, который вообще горит как бумага.

В избе закопопились, застучали. Огонь прошел через стену внутрь. Из открытой трубы повалил дым клубами, словно белые тоже ответили огнем и затопили печь.

Сразу, по команде, посыпались осколки льдин. Черные квадраты окон открылись уныло и пусто.

— Береги! — раздался все тот же окрик осаждающих.

Но вместо ружейных дул и ненавистных лиц в каждое окно высунулось по женской голове. Они появились внезапно, толчком, очевидно им сзади поддали тяжелого пинка.

— Тятенька, Серега! — позвали они в три жалобные голоса.

Это были жена Протолкуя и две его дочери.

— Слышу! — отозвался Протолкуй. Он тоже стоял за стеной и его не было видно.

— Не губи, пожалей! — раздражающей тонкою флейтой проплакал девичий голос.

— Не надо! — отозвался другой, пронзительней и выше. — Бейте, жгите их и нас! Один конец!

Голос оборвался воплем, захлебнулся и смолк. Его вышиб из женского тела колющий штык жестокого башкира.

— Серега, прощай! — крикнула жена Протолкуя. И вдруг в противоречие своим собственным словам метнулась вперед и вывалилась из окна, как тяжелый мешок. Ее проводили два выстрела и попали в растопыренные ноги, мелькнувшие в окне. Но она, невзирая на раны, проползла брюхом по снегу, как выдра, и свернула за спасающий угол стены.

Изба запылала, как костер. Пятеро башкирских солдат сами проломили скамьей прогоревшую заднюю стену и бросились вперед, штыки на-перевес. Но они не прорвались сквозь горевший снаружи костер, задохнулись и свалились на угли. Партизаны не стали стрелять. Четверо солдат горели, как жертва живая огню. Пятый, обгорелый, ужасный, слепой, выкатился вон из костра и катался по снегу с неистовым ревом, как раненый медведь.

Добивать его не стали. И так он катался и ревел, не умолкая, и рев его был, как подголосок к треску пожара и крикам протекающего боя:

— О!.. о!.. о!..

В окнах показались три новые фигуры, на этот раз мужские. В середине был черкес. Он был страшен и, действительно, похож на дьявола. Лицо его почернело

от сажи, волосы и усы обгорели, а то, что уцелело, то поршилось от ужаса.

— Сдаемся! Пустите нас! — каркнул он своим вороньим голосом.

— Выбросьте ружья! — велел озабоченно Пака.

Он не боялся их выстрелов, но солдатским винтовкам не следовало пропадать.

— Ну, лезьте! — распорядился Пака.

Вылезли Алым Алымбаев и четверо чувашей. Солдаты разделились согласно национальному характеру. Башкиры полезли в огонь. Чувашаи предпочли пламя человеческого гнева.

Мишка все время молчал и горящими глазами следил за живою добычей. Он походил на собаку перед крысами, которым некуда спрятаться.

— Сдаемся! — вторично прокаркал Алым.

И в ответ на этот вопль Мишка дернул из ножен свою полицейскую пашку. Она досталась ему после Митьки Реброва, как символ начальственной власти.

Отточенная сталь сверкнула на солнце.

— Ух! ух! ух! ух!

Как-то особенно изловчась и подпрыгивая, в четыре свистящих удара Мишка порубил четыре солдатские головы. Тела покатались по земле. Полусрубленные головы повисли на кровавых лоскутьях.

— Мишка, что ты делаешь? — в ужасе крикнул Пака.

— А тебе что, жалко? — прорычал хрипло Якут. — Наших, небось, не жалели! Не то я и тебя!

С кровавою пашкой в руках он подошел к последнему живому карателю.

— Попался, жеребец! — сказал он, выставив вперед свое злое лицо, словно собираясь вцепиться зубами в несчастного черкеса. — Помнишь ли Митьку Реброва?

Вся Колыма знала, какую людоедскую штуку устроил Алымбаев над телом погибшего диктатора. Впрочем и сам Алымбаев не скрывал ничего и, случалось, рассказывал со смехом о своем жестоком подвиге:

— Аратар, вот тэбэ, аратарствуй!

— Что с ним делать? — спросил Мишка Якут, обращаясь к дружинникам. — Вот что, бабам отдать его!

— Бабы, девки, сюда, берите его!

Женщины сбежались, как собаки, и с криком и визгом набросились на пленника. Похотливый черкесармянин был из всего низовского отряда самый назойливый и самый бесстыдный. Простодушным поречанкам он задавал непосильные задачи восточного отенка.

Бабы свалили черкеса и волокли его по земле за руки и за ноги, на ходу обрывая с него платье. Голое тело сверкало, задевая за снег.

— Сделайте над ним то, что он сделал над Митькой! — напутствовал безжалостный Мишка Якут. — Живому засуньте то, что он мертвому засунул. Пускай пожуёт!

Началась безобразная сцена.

Пака Гагара с каменным лицом подошел к свирепому товарищу.

— Зачем солдатам головы рубил?

— Рубил, не дорубил, — сказал Мишка с угрюмым сожалением. — Напих семнадцать, а ихних одиннадцать, две протолкуевских девки, — нехватило на каждого. Четыре головы отрубил бы, на каждого был бы кусок... Разве отрезать!..

— Тьфу, мара 1)! — откликнулся Пака с брезгливостью. — Нам этак не гоже.

---

1) Ругательство.

— Кому нам? — спросил Мишка с упрямым гневом.

— Нам, максолам, — храбро ответил молодой комсомолец пятидесяти лет. — Да ты не махай, — крикнул он, видя, что Мишка Якут опять сжимает в руке свою обнаженную пашку. — Зверь ты якутский! Вот схвачу это ружье и пропору тебе несытое брюхо!

И, присоединяя к слову дело, он схватил солдатское ружье и выставил солдатский штык против полицейской пашки.

— Пошел к чорту, — сказал Мишка более уступчивым тоном.

Женщины раздели убитого черкеса и старались устроить из него человеческую статую, в подражание Зеленой протоке.

— Бросьте! — строго крикнул Пака.

— Изничтожили белых на Нижней Колыме, так зароем их в землю, чтоб следов на верху не осталось.

— Мерзлая земля, — недовольно ответили женщины.

Зимой на реке Колыме трудно выкопать могилу. Приходится оттаивать землю кострами, потом рубить ее кайлами.

— А вон талая земля, — ответил Пака, указывая на бывшую усадьбу Протолкуя. Она обратилась в огромную грудку углей, которые все еще пылали, оттаивая под собою землю, глубоко и мягко.

На глубоко оттаявшей земле бывшей усадьбы Протолкуя закопали побитых карателей. Протолкуевых девочек зарыли на кладбище. Четыре головы зарыли особо и поставили над ними столб. Это место и столб теперь называются Четвери. Жена Протолкуева выжила, но так и осталась ползать по снегу, как выдра. Протолкуй на Сухарной реке не остался и ушел на Похотскую виску, на западное устье Колымы.

Поразительная весть облетела Колыму: карателей не стало на Сухарной. Перебили и в землю зарыли, чтоб следов наверху не осталось.

Это Пакино крылатое словечко передавалось с заимки на заимку. Рассказывали и про девок и про Мишкины «Четвери» и все удивлялись одному: как мало этих белых и как легко с ними управиться. Только исхитриться.

На Походской Колыме служили благодарственный молебен. Была на Походской старинная часовня. И прежде туда ежегодно наезжал из Нижнего священник. Но в последние годы это случалось все реже и реже. Вozить было не на чем, платить было нечем. И кончилось тем, что припомнили седую старину и церковную службу справляли миряне: Максим Расторгуев, человек «посказательный», грамотный, бывалый, и ссыльно-поселенец из бывших семинаров, со странной фамилией: Чурилка.

В этом году они отпели Рождество, даже воду святили на Иордани рукою самовольной. Так и теперь они ударили в чугунное било, заменявшее колокол, и отслужили молебен: благоверному боярину и воину Викентию многая лета. Но этот боярин Викентий был не тот, что в Среднем. Это был просто Викеша Казачонок, надежда и утеха партизанов.

Ибо, замечательное дело, победу на Сухарной связала Колыма с именем Викешы Казачонка. Про Паку и про Мишку Якута знали все, что было и даже что не было, а все же говорили о максолах: «Вот эти никому не поддадутся. Из молодых да ранние»... И клятву вспоминали Викешину: не вешать ружья, пока не перебьет всех гадов-людоедов.

Вот и исполняется клятва. Первую партию взяли. Про то, что Викеша с максолами вовсе даже не был на Сухарной, никто и знать не хотел. Пака и Мишка не поделились в начальники. Викеша настоящий начальник, молодой и удалый. Другого такого нету.

И еще льстило колымчанам, что есть у них собственный Викентий. Сын на отца, Авилон на Авилова.

Историю полковника Авилова знала теперь вся Колыма. И про старшего Викентия и Дуку спели на заимке Крестах трогательную новую песню:

Что Викентию Дука наказывала,  
малого Викешу показывала:  
— Некчему, Викентий, великатися,  
со княгинею Варварой завлекатися.

Песня свела в безответственном анахронизме двух жен Авилова, самую первую и самую последнюю. Но тем более она нравилась слушателям и самому певцу.

На Среднюю Колыму, через пятьсот верст, весть о Сухарной победе дошла еще в более измененном, преувеличенном и также упрощенном виде:

Викеша Максол изничтожил карателей в Нижнем и идет на Средний Колымск.

Авилова словно кто разбудил, толкнул его и крикнул: «Спасай свое княжество, Викентий!» Он запер на ключ свою потаенную винницу и на утро созвал свое войско в полицию на боевое вече.

Силы карателей вообще не убавилось, ибо на смену погибшему отряду из Охотска пришло подкрепление, капитан Персианов с товарищи, четырнадцать человек: семь офицеров и при них семь ординарцев и больше никого и ничего.

Это двухклассное войско преодолело все трудности горной и снежной дороги и добралось до Колымы.



Группа была вообще примечательная — с виду дисциплина и по-старому: «вашебродь, вашебродь!» и «на, братец!» Даже: «на, болван!» Но трудности дороги разбудили в этой группе коллективное чувство и связали их в два коллектива, офицерский и денщицкий. Денщики офицерам служили, даже на ночлегах чистили им одежду, варили еду и чуть не из горсти кормили военного барина. Но вот в дележе выдаваемой еды стало замечаться такое различие: «Мы себе, вашебродь, возьмем жир, а вам дадим говядинку... Мужик на холоду без жиру не вытерпит».

Офицеры подчинялись поневоле, хотя на холоду им тоже хотелось жирку. Демократический мороз был одинаков для всех, для барина и для ординарца.

Старые и новые солдаты с офицерами вместе в указанное время явились к Авилову на вечер. И неожиданно разгорелся скандал.

Авилов вышел на эстраду и своим медным голосом сказал несколько слов, простых и понятных:

— Вышибают нас из Колымы. Куда пойдём? Наше это место. Не уступим. Вцепимся зубами.

И вдруг оказалось, что старые солдаты разделились пополам, согласно своему национальному характеру.

Кочевые башкиры были рады итти с Авиловым, хотя бы на край света, новое увидеть, и женщин и богатство.

— Веди! — кричали они и стучали прикладами об пол. А чувашки, напротив, переняли колымский характер, беззаботный и упрямый.

— Довольно убивала, — высказал их мнение Михаев, — моя Колыма оставать, рыба ловить, мала дети кормить!..

— Рыло ты рыбе, чувашское! — насмеялся Карпатый Тарас. — Красные не спросят, довольно убивал

или нет. Даже ребенка, какого ты сделал — за ножку, да об пол!

Авилов сошел со ступеньки и подошел к Михаеву.

— Подумайте еще, — сказал он спокойно и непроницаемо.

— Мы не ходим воевать, — ответил Михаев упрямо.

Другие чувашки вскочили с мест и обступили говорящих. Тогда Авилов вынул наган, и дуло навел на Михаева.

— Подумайте еще, пойдете или нет.

Чуваши присмирели. Было очевидно, что он сейчас выстрелит...

Прошла минута в молчании. Авилов не настаивал, не торопился и ждал.

— Ходим, — ответил, наконец, Михаев. Воля его была сломлена этой настойчивой и жесткой волей вождя.

— Ура! — подхватили башкиры и русские. — Все ходим, все будем воевать! Посмотрим, какие низовские девки!

И тут же запели в припадке восторга:

Колымчапочки, нижнешпаночки,  
средневским молодцам  
ваши саночки.

Этой песней на Средней Колыме дразнили низовских, низовшанских, нижнешанских девиц.

С ружьями, с заветным пулеметом, с обозом на русских собаках и якутских лошадях, выступил полковник Авилов против непокорного сына. И шел по дороге на лыжах, как прежде, впереди отряда. И княгиня Варвара ехала рядом на собаках, но вместо валеных ботов на ней были обутки из черного камуса <sup>1)</sup> и спальный мешок был шит из белых и пышных песцов.

<sup>1)</sup> Шкура с звериных ног, особенно с оленьих.

По дороге никого не ограбили. Спали в своих собственных палатках, за рыбу на заимках расплачивались чаем с неслыханной щедростью. Авилов решил соблюдать дисциплину даже в женском вопросе, что было противно традициям отряда и правам населения. На заимке Кресты башкир Кизил Балтаев забрался к якутскому жителю Чемпану Коровину, куда его вовсе не звали, и стал приставать к молоденькой девке Манкы, наполовину в шутку, примериваясь так, чтоб развязать ее тугой и широкий замшевый пояс.

Трогать у женщин пояс считается на Колыме кровной обидой. Манкы запицала, прибежал ее жених Элей, племянник Чемпана, малорослый, рябой и ревнивый. Они стали браниться с башкиром, каждый на своем языке. Но так как башкирский язык близок к якутскому, то они понимали друг друга. И, в конце концов, башкир не выдержал и крепко побил ревнивого Элея. Элей в свою очередь побил Манкы и теперь все плакали.

Авилов для примера отдал башкира на товарищеский суд, — товарищам чувашам. И чуваша, разумеется, присудили башкира к битью помполами.

Выдержав сто помполов, весь в крови, Балтаев опять пошел к Коровину и снова побил и Манкы и Элея и даже самого Чемпана.

— А если пойдете к полковнику, — предупредил он, — то я вас, конечно, зарежу.

Тем не менее после этой истории предприимчивость военных кавалеров заметно упала.

Из Крестов на Суханово, с Суханова на Устье Омолона, и так постепенно добралось авиловское войско до выхода на тундру у заимки Черноуссой.

## XXIII

Ночью на поселке максолов по Чукочьей виске залаяли, взвыли собаки. За несколько месяцев одна промысловая избушка обратилась в настоящий поселок. Здесь были огромные землянки, в которых обитали две команды, Пакина и Мишкина. Алазейцы с несравненным искусством полярных якутов построили широкую юрту. Они привезли с Алазеи хороших собак, и крупные бревна на стройку возили с неистоцимого холуя.

Залаяли собаки. Чуткие собаки лучше человека сторожили максольский поселок.

— Кто живой? — крикнул сторожевой в темноте. — И голос ответил: — Гуляев, Федот.

Это был старший сын максольского друга и передатчика, Василия Гуляева. Он перебежал на лыжах сто верст с новыми вестями о карателях.

— Тятя заказывает, — сказал он Викеше, — идет на вас войско несметное. Их ружья гуще леса. От скрипа их нарт не слышно собачьего голоса.

Это было обычное былинное преувеличение. Но вывод был один: уходите подальше на тундру, не то перебьют вас.

— А куда мы уйдем? — сказал Викеша, повторяя почти буквально фразу своего отца на военном вече. — Василию скажи: уж я не уйду. Я к вам лучше приду.

— Твоя воля, — согласился мальчик. — А когда придешь?

— Сейчас, с тобою пойду, — объявил Викеша.

Аленка давно пробудилась и быстро собирала угощение гонцу. Вздупа камин, поставила чайник, сходила за мороженой рыбой, но, услышав заявление милого, бросила домашние дела и стала переобуваться. Креп-

кие обутки натянула из белой дубленой лосины, шаровары из черного пыжика, — полная дорожная форма.

— Ты куда? — спросил с опасением Викеша.

Аленка молчала с упрямым лицом.

— Останься, — сурово сказал ей Викеша.

Аленка молчала и словно надувалась изнутри какой-то безгласною бурей.

— Пойду, пойду! — наконец закричала она и затопала ногами и брызнула горячими слезами и буйными речами. — Знаю, что задумал, непутевый! А если убьют тебя?.. Пойду, не удержишь, пойду, пусть и меня убивают вместе.

Она подскакивала, словно поднимаемая вверх своей неукротимой страстью, прыгала перед Викешей и сучила ему прямо в лицо красные свои кулачонки.

Викеша схватил и привлек к себе это пылавшее лицо и извивающееся тело.

— Аленка, уймись! Пойдем из избы. Пускай тебя ветром обдует.

Он вывел затихшую Аленку из избышки в морозную тьму. Слышно было, как дверь скрипнула и упала. Через малое время они уже вернулись. Неизвестно, какими словами Викеша убедил свою неутешную подругу, но теперь он подвел ее к столу и посадил на прежнее место.

— Она остается, — объявил он.

Аленка ничего не сказала, даже не повернула головы к говорившему.

— Команду передаю максолу Николаю Берестяному.

Викеша максол вскинул на плечо серебрянку, набросил на шею плетеный аркан.

— Благословляйте, — сказал он по колымскому обычаю и низко поклонился товарищам.

Но Алленка сидела с упрямым лицом и глаз не повернула в сторону Викешы Казачонка.

— Идем!

Сто двадцать верст пробежал по дороге колымский удалец, придерживаясь рукою за дугу на гуляевской крашеной нарте и порой привставая на полоз свою стальную подошвой.

На снегу ночевали. Через сутки под утро прибежали на займку Черноусову. Редящая ночь под утро озарилась ущербной луной.

— Видишь, — шепнул партизану мальчишка-голец.

У высокой избы старосты Гаврила Кузакова стояли две дорожные палатки. Оттуда доносился густой солдатский храп. Авилов с офицерами, должно быть, поместились в избе. Обоз остановился на огромном дворе Кузакова.

— Вон брыкалка, — указал взглядом Федот. — Железная собачка.

И Викеша увидел на нарте железное тело и злой хоботок механической собаки, кожаную попонку и привязь из коровьего ремня.

Перед самым пулеметом стоял часовой с ружьем у ноги. Штык поднимался над его головой. И в сиянии луны фигура часового была облита светом, как маслом. И штык был, как игла, вонзенная в лунное сияние.

В душе молодого максола вспыхнула древняя страсть, которая роднит человека с тиграми и львами. Эта жгучая жажда прыжка на живое заставляет и тигра дерзко бросаться в средину охотничьего лагеря, выхватывая жертву из круга, огражденного огнем, и остолбенного ружьями. Нередко прыжок кончается смертью для тигра, но порою бывает удача.

Федот посмотрел на Викешу и сразу испугался:

— Куда ты, куда?

Но Викеша стряхнул нетерпеливо его цепкую, хватающую руку. Сняв с шеи аркан, он пополз вперед, низко пригибаясь к земле, словно расстилаясь и теряясь в сумрачном лунном сиянии. Был он, как тонкая тень, отброшенная облаком, скользящим в вышине над предрассветной землей.

И так же быстро, как облако, он подобрался к человеку и безошибочной рукою бросил аркан, захлестнул безжалостной удавкой голову вместе со штыком. Человек и ружье покатались на землю. Штык на мгновение задержал удавку. Часовой издал короткий хриплый вопль. Но Викеша дернул вторично с огромною силой, и штык отскочил и дыхание башкирского солдата пресеклось под жестким арканом. Быстро перебирая руками по аркану, Викеша подбежал, нагнулся и ткнул в горло полузадушенной жертвы свой длинный узкий нож. Это в первый раз он убивал человека арканом и ножом. Но он испытал, что убить человека ничуть не труднее, чем поймать и заколоть оленя.

Не останавливаясь и не глядя на поверженную жертву, Викеша подскочил к главному врагу — пулемету, и тем же кровавым ножом быстро распорол его кожаный плащ. Блеснула полированная сталь, но зарезать пулемет было труднее, чем человека. Викеша понимал, что надо испортить затвор, и сунул свой нож в отверстие. Но колымское железо скоробилось о твердое тело оружия. Не долго думая, Викеша схватил попавшийся под руку обломок дерева и ударил по ножу. Нарта покачнулась и вдруг на всю Черноусову раздался дребезжащий, пронзительный звон.

Так точно в сказке, когда Иван Царевич добывает по заданиям злого царя прекрасную Жар-Птицу, он задевает за проволоку и звон раздается по целому

волшебному царству. Должно быть, уж в сказочных царствах умели проводить электрические звонки.

Но у белых этот сказочный звон устроил Карпатый Тарас. Он был до войны электрический монтер, а в полку, на войне ходил телефонистом, и все порывался в походе устроить службу связи и поставить полевой телефон, или, хотя бы, фонофор. Но займку Черноусову можно было связать из конца в конец простым человеческим криком, к тому же и проволоки не хватало.

В виде утешения, вместо телефона, Карпатый устроил электрический звон. Он прилаживал его к разным местам. Приладил в казарме-избе, где спали чувашские солдаты, и попробовал однажды устроить примерную тревогу. Чувашки вскочили и выбежали, как оглашенные, на звон, но после Михаев полез на Карпато того драться. Пришлось электрический звон переладить к пулемету. Над Карпатым смеялись за усердие и сам он смеялся с другими. Но вышло на проверку, что звон, наконец, пригодился.

Сказочные струны звенели и не хотели умолкнуть. Дверь кузаковской избы отворилась и на пороге появился человек, высокий и даже огромный.

Бежать бы Викеше, да ноги не слушают. Он чувствует каждой жилкой своей, что это полковник Авилов, тот самый неизвестный, загадочный отец, ненавистный и желанный. Затем, чтобы увидеть отца, хотя бы издали, тайно, глазами ненавидящими, юный Викеша в сущности пошел на эту опасную разведку.

Упущена минута. Теперь не убежать. Вся Черноусова в тревоге. С разных сторон выбегают солдаты с ружьями, жители с копьями.

Викеша не шевелится. Стоит, как околдованный. В лунном сиянии он видит отца и отец видит своего непокорного, неизвестного сына.



Солдаты вскидывают ружья.

— Отставить! — раздается решительный окрик Авилова. — Не смейте, не стреляйте, живого возьму!

Он подходит к Викеше и кладет ему на плечо свою тяжелую руку и слышит под жесткой ладонью, как содрогается все тело молодого максола.

— Ты мой! — говорит он полувопросительно, но властно.

— Ну, твой, — неохотно отвечает Викеша.

— Ну так идем.

Викеша снимает с плеча серебрянку и с треском разбивает ее об дорожные камни, чуть залушеченные смягчающим снегом.

— На, жри!

Точеное ложе расколосось, но ствол, переживший столетие, даже не погнулся. Сталь его не хуже пулемета.

## XXIV

В горницу привел полковник Авилов своего сына Викешу. Солдаты повалили за ними беспорядочной толпой. Но он всех их выгнал.

— Я взял его рукою сильной, — сказал он, — уходите, собаки!

Даже княгине Варваре, сгоравшей от любопытства, он посоветовал мягко и решительно отправиться домой. Так же как в Среднем, Варвара заехала в другую квартиру, как истая особа княжеского класса.

Прогнав посторонних, Авилов усадил своего сына за стол, поставил перед ним холодную рыбу и хлеб, налил из чайника в кружку холодного крепкого чаю.

— Пей, ешь, — сказал он коротко.

И Викеша с удивлением припомнил, что вторые сутки он ничего не ел, и стал разрывать и размалывать

вареную нельму своими молодыми, белыми и волчьими зубами.

— Выпьем!— вдруг предложил Авилов мирным тоном и налил две чарки.

Викеша поднял голову и глаза его зажглись.

— Выпьем за маму мою, которую ты бросил, и которая потом потонула на этой Колыме.

Однако они выпили, и Авилов не отрывающимся взглядом рассматривал своего сына.

— Так вот ты какой?

— Да, такой.

— Как рос ты?

— Рос на задворках, ходил в опорках, — отозвался Викеша колымскою складкой. Складка — это бытовое присловие, составленное в рифму.

Викеша тоже рассматривал отца. Так вот о ком он думал еще с малолетства, с того времени, как маку за собой волочил <sup>1)</sup>).

«Правда, красавец, осилок, как мать говорила, — другого такого нету — и, как видно, ученый, от ученого корени, а что с него проку? Насильников привел, грабит, убивает, зачем?»

Глухой гнев поднимался в сердце юноши: «Зачем пришли? Шатались бы там у себя, убивали друг друга... Вот я его спрошу», — сказал он себе.

Колымчане, как все первобытные люди, в разговоре смущения не знают. Что в уме, то и на языке.

— Викентий, — начал он. Но тут же запнулся. — Не знаю, по батюшке как?

---

<sup>1)</sup> Мака — клапан детского платья, спитого вместе для тепла, — курточка, штанишки и сапожки. Вместо того, чтоб раздевать ребенка для нужды, развязывают маку. Впрочем, она и сама развязывается и волочится сзади.

«Волочить маку» равняется нашему «ходить с флагом сзади».

— По батюшке — Иваныч, — ответил Авилов спокойно, — а можешь и батюшкой звать.

— Не выйдет с непривычки, — отозвался Викеша с кривой усмешкой.

— Скажите, Викентий Иваныч, полковник Авилов, зачем вы людей убиваете?

Авилов пожал плечами.

— Люди людей убивают, — сказал он хладнокровно. Наступило тяжелое молчание.

— Не сами от себя убиваем, — заговорил Авилов. — Бог тоже убивает.

— Какой бог, — с презрением ответил Викеша. На этой платформе он мог бы поспорить с отцом.

— Ну, все равно, природа, — отмахнулся отец. — Природа убивает. Мы только подражаем природе. Злее сто крат природа, чем зло человека.

— Она непонимающая, — сказал Викеша в извинение природе, — а люди должны понимать.

Авилов оживился, в спокойных глазах мелькнула как будто зарница.

— Ты охотник, да? — спросил он в упор. — Вы все тут охотники?

Викеша кивнул головой.

— Так вот же и вы убиваете весь год, зимою и летом, зверя и птицу и рыбу, питаетесь убийством.

Викеша слушал его внимательно, но, как прежде, враждебно. Это был как отрывок из северной сказки. Но в сказках всегда говорилось с одобрением: великий охотник и зверя, и птицу, и рыбу, все убивает.

— Чего приравнял, — сказал он холодно. — Нам так дано.

— Кем дано?

— Кем не дано, а дано.

Слова его дышали уверенностью человека, защищающего свое существование, источник своей жизни. Северный охотник не станет никогда вегетарианцем. Викеша готов был вскочить и крикнуть свой клич, охотничий и вместе комсомольский: «Дашь птицу!» как было на озере Седло.

— Кем дано?.. Да хоть сами себе дали!..

Авилов усмехнулся презрительно.

— Эж зацепило тебя. Уж правда, что сами себе дали. Дали себе право убивать и зверей и людей. Звери убивают для еды, а люди для убийства.

Он раньше говорил другое, но даже в его противоречиях была особая логическая связь.

— Пока вы не пришли, — сказал Викеша четко, — мы тут людей не убивали.

— Напрасно, — отозвался Авилов. — Надо людей убивать, только и спасение.

Он даже встал и глаза его вспыхнули странным огнем.

— Вот слушай. Российских народов полтора миллиона. Из этого числа перебить десятую часть, ну, скажем, пятнадцать миллионов, а другие девять частей пускай остаются. Тогда, может, будет лучше.

— Да уж вы перебили десятую часть, — возразил ему Викеша.

— Это раньше выходило, что десятую часть перебить, — заметил Авилов, — а теперь так выходит, что надо бы девять частей перебить, а десятую оставить, — вот тогда будет лучше.

Викеша посмотрел на отца с удивлением, не шутит ли он.

— Мы не хотим, чтоб нас перебили, — сказал он настойчиво.

— А не все вам равно? — отозвался Авилов на- смешиливо. — Все равно когда-нибудь умрете.

— Нет, все это неправда! — горячо заговорил Викеша. — Людей надо не бить, а учить, убийством не научишь.

В нем говорил инстинкт возрастающей жизни, живущей во всяком человеке, на юге и на севере.

— Вот вы бы нас учили, — сказал он опять. Это «вы» относилось вообще к югу, к мудреной Руси. — Пришли вы сыздалека, а что принесли, пулемет?

— Пулемет вышел из науки. Такая наука. Как объяснить, чтоб ты понял? Вот было тихо и душно. И дунула буря. Буря разметала три царства, не то что людей.

— Слыхали про это, — отозвался Викеша, — Австрицкое, Русское, Пруцкое. А нашу Колыму буря и так донимает бесперечь. Зимой, когда дунет, — света не видно. Вон чукчи, я знаю, сидят взаперти и сказывают сказки. И каждая сказка доходит до при- сказки: «Ого, конец! Я убил ветер!» Это будто такие слова, чтоб выюгу да ветер унять.

И Авилов сказал:

— Нас тоже буря подхватила и закинула сюда.

— А вы бы ушли, — предложил неожиданно Викеша.

Они посмотрели друг другу в глаза.

— Ого, — сказал Авилов с внезапной веселостью. — А читал ты, был такой царь Атилла, владетель кочевников гуннов, так он миллион перебил и хвастал еще — где конь мой ступит копытом, там трава не растет.

— Не читал, — отозвался Викеша, — ведь меня не учили. Что знаю, сам научился.

— А вы бы ушли!

— Куда мы уйдем? — Авилов мотнул головой. — Нет, мы не уйдем.

— Так мы вас прогоним.

— Куда? Некуда!..

— Отсюда прогоним. Идите, откуда пришли.

Один спрашивал «куда», другой отвечал «откуда». Здесь был трагический узел борьбы: Авилов против Авилова.

Они сошлись близко и смотрели друг другу в лицо. Были оба такие высокие, такие похожие, и больше им нечего было сказать друг другу. Они договорились до конца. Авилов пришел убивать, а Викеша был призван сперва защищаться, а потом строить жизнь. В этом малолюдном краю убивать было некого, каждый убитый работник был как пробел в небольшом человеческом стаде.

Северный оленевод питается от стада, но когда стадо на ущербе, он старается размножить его и каждого оленя ценит, как клад, как святыню.

— Постой, — Авилов провел рукой по лицу. — А сюда ты зачем пришел? Убить меня хотел?

— Не тебя, пулемет.

— А, вижу. Снял часового, собирался испортить пулемет.

— Убить твой пулемет, — повтсрил Викеша. Для него пулемет был, как живое существо, страшнее Авилова. Убить пулемет — и крышка! Война войне.

— А мы другой привезем, — пообещал Авилов. — Ну, что мне с тобой сделать?

Викеша выпрямился.

— Ты меня родил, ничему не учил, теперь убей.

Авилов взял сына за руку и отвел его рядом в комсру. Черноусова была большая торговая займка, и Гаврила Кузаков тоже приторговывал мехами. И его

черноусовский дом, так же как усадьба Макарьева в Среднем, имел боковую пристройку, одновременно лавку и склад. В коморе были навалены связки мехов, хоть было их не столько, как в Среднем у Макарьева.

— Здесь ночуй, — сказал Авилов Викеше. — А этим дерьмом обернешься от мороза, — указал он презрительно на пачки лисиц и песцов. — Этому учить тебя нечего, этому сам научился. А завтра увидим, что делать.

Авилов захлопнул тяжелую дверь, заложил ее крепким брусом, пропущенным в скобы снаружи, и вернулся к столу, но не сел, зашагал по избе. В избе мало было места. Он надел парку и треух и вышел на улицу, обошел весь поселок, проверил часовых. Их было двое, один у пулемета, а другой у дороги, ведущей на Походское устье. Потом спустился на реку. Ему надо было уйти от двух этих слов: «куда», «некуда». Но он не мог уйти от судьбы, убежать от собственного духа. И в конце концов Авилов поднялся на берег и вернулся обратно в избу. Здесь под столом стояли два бочонка, обшитые крепкою кожей и полные ценною влагой. Авилов забрал их с собой из Среднего на всякий пожарный случай. Без спирта в Сибири не ездят даже ученые экспедиции.

Такие деликатные вещи Авилов держал при себе, во избежание недоразумений. Но на этот раз он сам создал «недоразумение», ибо он вытащил винную бутылку и доверху нацедил свою неизменную дорожную баклажку.

В разгаре боевого похода Авилов, оставивший зеленого змея в Среднем, снова полез за утешением в заветную баклажку. В этом было дурное предвещание как для самого полковника Авилова, так и для всего белого похода.

Пил Авилов молча, на этот раз из кружки, не из ковшика, высосал из баклажки побольше половины и вдруг опьянел до потери сознания и повалился на лавку в каменном сне, как был, не раздеваясь, даже не сбросив верхнего балахона и зашуршавшего снегом треуха.

## XXV

Викентию Авилкову второму было нечего выпить, а о сне он не думал ничуть. Он только уселся поудобнее на пачках лисиц и стал соображать. Попался, как дурак. С пулеметом ничего не успел, с разведкой не успел. Правда, увидел отца и насытил свой давний сердечный голод, насытил до отказа и, должно быть, навеки. Его разговор с отцом стоит наилучшей разведки. Но что теперь будет с максолами, со всеми партизанами?

«Митьку-то убили, а меня?»

Он соображал, что даже и отцу не придется держать его в плену, да и что теперь отец или мать или дети?.. Ведь говаривал Митька Ребров, что если отец или сын пойдет против республики, — такого удушить. Вот так же, должно быть, и у белых. А если не задушат, пожалуй, начнут спекулировать, именем Викешки усаживать беспокойных максолов.

Лучше бы тогда не дожидаться, на отца не надеяться, а ходу! Попробовать разве сейчас.

Он встал, и при свете жирняка внимательно осмотрел помещение. Наружного входа в комнату не было, а внутренний открывался прямо из горницы Авилова. Окна не было. Под пол не подроешься. Мерзлая под полом земля. Крышу не прорежешь. Крыша засыпана сверху землей, помазана глиной.



И глина затвердела и скипелась на морозе, как чугун. А помимо всего кругом эти солдаты. Только покажись у стены или на крыше, тотчас же и пристрелят.

Оставалось одно — внутренняя дверь в помещение Авилова. Что такое колымская дверь? Она сбита из прочных досок и обшита пушистою шкурой. Это защита от холода. Но в защиту от взлома она дает мало. Вместо петель, она стоит на пяте и вертится на длинном шесте. Пятка, пята, — это нижний конец шеста, а верхний упирается в надолбу под верхним костяком. Выбил скрепы, снял надолбы — и дверь упадет. Но там за дверью был полковник отец и дальше все те же солдаты.

Викеша ходил перед дверью, как запертый кот, и вдруг услышал из горницы приглушенный звук, вроде храпа. Оленья шкура плохо пропускает звуки. Но храп повторился громче. Это был, очевидно, отец. Он разговаривал с сыном высоко и спокойно и после разговора заснул также спокойно. Глаза комсомольца сверкнули опасным огнем.

— Съесть меня хочешь, — сказал он беззвучно, обращаясь все также к Авилову, — как мать мою съел, как вы поедаете нас, убиватели худые! Не будет того!

Ружье он разбил у обоза, а ручного топорика не было. Но за поясом был нож, без которого северный житель не может пробыть ни минуты и который является как бы продолжением среднего пальца руки, длинным и сильным железным когтем. Ножа у него не отобрали. На севере даже в тюрьме у настоящих арестантов не отбирают поясного ножа и покойника в гроб без ножа не положат.

Викеша вынул нож и стал осторожно вырезывать надолбы прочь. Нож у него был крепкий, весельчанского

дела, ковки Митрофана Куропашки, который когда-то на займке Веселой был стрелец и кузнец и лодочный мастер, как говорят на Колыме. Кончик ножа скоробился о стальной пулемет, но теперь пред Викешей была не сталь, а мягкое дерево.

Нижнюю надолбу Викеша расколол и вынул кусками. Шест отошел. Действуя им, как рычагом, он свернул с места и верхнее гнездо. Потом понемногу, осторожно, ему удалось повернуть всю дверь несколько наискось над порогом. Тогда, просунув нож и воткнув его в поперечный брусок, он успел рядом размеренных толчков вывести его из скобы. Потом протолкнул его влево, двинул назад и вытащил из второй скобы. И в последнюю минуту глубоко воткнул свой нож в брусок, чтоб предупредить его падение.

Управившись с этой особой плотничьей работой, он тихо снял дверь и поставил ее в сторону.

Храп отца раздавался громко, с глубокими всхлипываниями. Освободив свой нож и крепко сжимая его в руке, Викентий шагнул в горницу. В горнице было темно, но из коморы сюда проникало немного света, и одного взгляда на стол, на баклагу и кружку было довольно для Викешы. Он усмехнулся презрительно.

— Пей, да дело разумей, — сказал он, качнув головой. — Ну, добро, этот замер, а отсюда как выберусь?

И вдруг, неожиданно пришла ему в голову мысль. Авиллов спал в дорожной одежде, на стене висел другой меховой балахон с большим кокулем, — капишоном, и шапка, опущенная бобром.

Они были одинакового роста. Викеша был тоньше Авилова. Но под балахоном это будет незаметно. Все же в их осанке было много сходного и голоса их были одинаковы.

«Ну-ка, на счастье», — подумал Викеша. Но, прежде чем снять балахон, шагнул к Авилову, сжимая нож в руке.

— Зарежу и квита, и вся война кончится. Возьмем, пожалуй, белых голыми руками, как познобленных гусей.

Бывают на тундре внезапные летние мятели и тысячи гусей погибают, сбиваясь в огромные кучи. И их собирают руками, как шишки в кедровом лесу.

Авилов шевельнулся во сне.

— Нет, не могу, — вымолвил Викеша с сердитым вздохом. — Ну, черт с тобой, живи. До время живи...

Отцовский нож лежал на столе с ножнами и поясом. Нож был финский, простой, очень похожий по форме на северный нож.

Викеша с размаху глубоко воткнул свой нож в столешницу, оставляя его, как памятку, вынул из ножен финский нож полковника и втиснул в свои ножны. Ножи, как и люди, были одного размера, и отцовский нож оказался в пору сыновним ножнам.

В углу у стены стояла отцовская винтовка, легонькая, как игрушка, и лежала серебрянка с расколотым ложем, подобранная на снегу солдатами. Викеша опять поколебался. Жалко ему было оставить серебрянку, материно благословенное ружье, российскому обидчику.

— Нечего делать, владей, — вымолвил Викеша. Бросил серебрянку, а отцовское ружье надел через плечо на отцовский балахон.

После того Викеша оделся и смело пошел из избы. Снаружи было тихо, светало. Солдаты спали, но оба часовые стояли на прежних местах.

Викеша прошел неспеша мимо того же пулемета и даже окликнул часового северным кличем «береги». Никто его не тронул. Выскочила только приبلудная

собака и с лаем бросилась ему под ноги. Колымские собаки, подражая хозяевам, крепко не любили карателей. Викешина куклянка-балахон пахла, конечно, карателем Авиловым.

Викеша пнул собаку ногой и выругался.

— Цыц, проклятая, — сочувственно цыкнул на собаку часовой. Ибо и движения и голос Викешы были, как две капли, похожи на отца. Именно так случалось и Авилову отбрасывать цинком приبلудных и злобных собак.

Викеша прошел сквозь обоз так же точно, как перед тем Авилов, и спустился на реку, вышел на лед и пустился через реку, собираясь подняться повыше и потом повернуть обратно и, минуя Черноусову, вернуться на тундру к Горлам.

## XXVI

Максолы опять улеглись, а Аленка сидела и думала: «Дура я, дура!»

Когда рассвело, она вышла на двор и с каменным лицом стала запрягать свою собственную девичью нарту.

— Куда ты? — спросила подруга Феня Готовая.

Алена почти против воли подняла руку и показала на восток.

— Так ведь Викеша заказывал, чтобы не ездила ты, — сказала Готовая.

— Блюди своего мужика! — крикнула Аленка с голодными злыми глазами. — А моего не замай!

Красавица Фенька жила с Микшей Берестяным, и на весну у них ожидалось великое счастье, сокровище северной жизни — ребеночек.

И так, не прощаясь с максолами, не докладываясь начальнику Микше, свистнула Аленка на собак и по-

ехала искать, догонять своего отчаянного друга. И так же, как Викеша и Федот, она ночевала на тундре без огня, без питья и приехала на Черноусову тоже через сутки, рано на свету. Привязала собак на задворках и пошла по привычной тропинке к дому Василия Гуляева и подергала старую дверь за кожаный короткий поводок.

Подергала и вспомнила ребячью загадку и вдруг усмехнулась: старую старуху за пуп, да за пуп.

На душе у нее было смутно, но скорее радостно. Все-таки догнала, нашла.

Вышел Василий Гуляев, поглядел и даже отмахнулся.

— Чего ты, дикоплешая, откуда?

И Аленка ответила приказом:

— Викешу позови!

Ей почему-то казалось, что милый вот тут, в этом привычном, безопасном, укрывающем доме.

Василий замялся.

— Сейчас позови! — топнула Аленка ногой. — Не спрячете его!

— Уж спрятали Викешу твоего, — проворчал Гуляев. — И тебе то же будет. Суетесь, куда не след.

Аленка схватилась за сердце, потом перемоглась, и сказала, задыхаясь, будто быстро взбежала на подъем:

— Живой?

— С вечера стрелу не слышали, — ответил неохотно Василий. — Живой.

— На кого покидаешь?.. — голоснула Аленка и сразу оборвала. — Постойте, погодите, к полковнице пойду!

Полковница, колымская княгиня, Варвара Алексеевна, заехала к старухе Макриде в ее вдовью усадьбу.

Вдовья Макридина выть была вроде девичьей, только она возникла после смерти хозяина мужчины. Здесь тоже было женское царство и у бабки Макриды, когда она еще была теткой Макридой, рождались лет двадцать под ряд пригульные вдовьи ребята. Выть была большая, даже огромная. В разных углах Макридиной усадьбы копошились племянницы, внуки, какие-то сопливые мальчишки с оборванной макой позади.

Не спрашиваясь никого, Аленка смело прошла в переднюю горницу.

— Челом, командирша! — сказала она по колымскому обычаю, касаясь рукою земли.

— Здравствуй, красавица! — ласково сказала Варвара Алексеевна.

Аленкино лицо поражало. Ее огромные глаза горели и дерзостью, и мукой, и бредовым безумием.

— Чья ты, милая? — продолжала Варвара Алексеевна.

«Чья» означает по-колымски вопрос о фамилии.

Но Аленка предпочла понять этот вопрос прямее.

— Викешина жальчиночка, — сказала она громко. — Викеша макола, твоего, стало быть, пасынка, а мужа твоего родимого сынка.

Варвара Алексеевна молчала, пораженная.

— Не убивайте его, — страстно молила Аленка, — все берите, только Викешу отдайте! Мы уйдем далеко, в чукчи, в Америку, за Черный пролив, владейте Колымскую землю.

Варвара Алексеевна широко усмехнулась.

— Вишь ты, какая горячая! Ну, пойдем выручать твоего кавалера!

Они проходили по той же обычной тропинке, сквозь обоз, мимо пулемета, близко от часового, стоявшего все так же неподвижно.

— Полковника не видел? — спросила мимоходом княгиня часового.

Авилов обычно вставал на заре и до зари делал обходы постов, разговаривал с часовыми, потом спускался на реку или уходил в ближайший лес.

И на этот раз часовой словоохотливо ответил:

— Полковник прошли на свету, изволили спуститься на реку.

Княгиня засмеялась.

— Видишь, какая незадача. Ну, все равно, пойдем. Сокол слетел, посмотрим твоего соколенка.

Но в избе они нашли не соколенка, а именно старого сокола. Он сидел на лавке с взъерошенными перьями и дикими глазами смотрел на снятую дверь и обнаженный нож, дрожавший в столовой доске.

Бывалая певица-девица свистнула по-мужски.

— Вон как! — сказала она. — Это молодой улетел, а старый-то остался...

— Не крушися, Викентий, «мужичка» упустил, так вот тебе «женка», из того же гнезда<sup>1)</sup>.

Она взяла молоток и гвозди и быстро починила сбитые надолбы и дверную пятую, потом протолкнула онемевшую Аленку в меховую комору и дверь заложила брусом.

Авилов внезапно вскочил.

— Я догоню его! — крикнул он в дикой ярости. — Моих рук не уйдет!

Он выскочил, как буря, на двор, дернул нарту, припряг свою дюжину собак и ринулся вниз по косогору, — нарта и гонщик и свора помчались, как волки по следу оленя.

---

<sup>1)</sup> Мужичок — самец; женка — самка.

Проехали на тундру, понеслись по гладкому уюю, спресованному ветром и уже остекленному полуденным весенним припеком.

Собаки неслись, как угорелые. Им передались безумие и ярость господина. Час... другой... Белая тундра широка, но оленя, за которым несется эта дикая стая, не видно нигде. Мало ли места на тундре! Найти ускользнувшего максола так же невозможно, как в снежном буране выпустить белую пушинку и потом уловить ее.

Еще час, два часа... Или Авилов думает налететь на самые Горла и смять одним ударом осиное гнездо злокозненных максолов? Не по себе осину гнепшь, товарищ полковник...

Пестряк, в передовой упряжке думает то же. Он оборачивает на бегу свое злое рыло в сторону Авилова и словно качает головой.

— Пестряк! — бешено вскрикивает полковник.

Оборачиваться на бегу считается нарушением собачьей дисциплины. Авилов с размаху бросает тормозную палку в голову преступному слуге. Острое железо падает на голову собаки и раскалывает череп, как ореховую скорлупу. Пестряк валится, убитый на месте, но упряжка в паническом ужасе несется вперед, увлекая с собой его труп.

Опомнился Авилов. Он остановился собак, выпряг и отбросил Пестряка и повернул назад, вместо двенадцати на одиннадцати собаках. Теперь он больше не погонял упряжку. Но испуганные смертью вожака собаки летели, расстилаясь по снегу, как птицы.

Авилов приехал под вечер и подъехал к своей квартире. Лицо его было так мрачно, что никто не посмел задать ему вопроса. И даже Варвара Алексеевна, вы-



шедшая ему навстречу, тотчас же убралась к собственной хозяйке Макриде.

Авилов прошел в горницу, зажег свечу и поставил на стол. Ему хотелось есть и пить, он достал с поставца блюдо холодной оленины и налил привычную чарку, на этот раз одну. Подкрепившись, он долго сидел и смотрел на стену, потом отодвинул засов и выпустил Аленку в горницу.

— Хочешь есть? — спросил он отрывисто

— Э-э, хочу, — сказала Аленка откровенно и спокойно. — Пить тоже хочу, — прибавила она. — Вина не наливай, жгота<sup>1)</sup> с него. Дай простой воды.

И когда она попила и поела, Авилов спросил ее теми же словами, что давеча Варвара Алексеевна:

— Теперь говори, чья ты?

— Невестка твоя, — ответила Аленка с задором. — Молодчика Викеша любимая кровинка.

Авилов даже вздрогнул. В душе шевельнулась забытая стертая память. Щербатая Дука... Это было другое лицо, другая фигура. Но женщина была такая же «жалычinka» и «кровинка», плоть от плоти и кровь от крови любимого дружка.

Женщина дикарка отдается мужчине наивно и просто, но раз навсегда, до конца, без остатка. И в этом есть что-то звериное. Но звериная мать отдается сполна не мужу, а детям. В дикарке из матери просто родится любовница-мать, и другу она отдает чувство половое и чувство материнское.

— А ведь Викеша-то ушел, — сказала Аленка ликующим тоном. — Али ты сам отпустил?

Авилов ничего не ответил. Он и сам не знал, что бы он сделал со своим сыном: убил бы, отпустил бы...

---

<sup>1)</sup> Жгота — изжога.

Но юный максим ответил на вопрос, не дожидаясь решения папаши.

— Батюшка свежор, спасибо! — воскликнула Аленка. Она ухватила огромную жесткую руку Авилова и припала к ней своими мягкими губами, а потом обернула эту руку и понюхала ладонь.

— Какие вы похожие, бог с вами, — сказала она с удивлением. — Такой самый запашок.

Первобытная любовь возбуждается запахом больше, чем касанием.

Авилов молчал.

— А теперь и меня отпусти! Глазаньки-то я проглядела, Викешеньку искавши! — завывала Аленка. — Викеша, братеночек!

Авилов поднял голову и посмотрел на нее странным взглядом, смутным и будто голодным.

«Братеночек Викеша». Таким точно словом его называла когда-то Ружейная Дука. Раньше Авиллов о женщинах не думал. Они приходили к нему, и он брал их, небрежно и бережно, вместе султан и рыцарь. От рыцаря до султана всего один шаг.

Но теперь его грызла голодная зависть, голодная ревность. Настоящий Викеша братеночек родился от его плоти и отошел от него. И молодчиком Викешей полковник Авиллов уж больше не будет никогда.

— Пусти меня, — умоляюще шепнула Аленка. И видя, что Авиллов молчит, подскочила и закинула ему руки на шею и прижалась к лицу его своей нежной румяной щекой.

Авиллов стиснул ее и поднял вверх, как перышко.

— Пусти! — крикнула Аленка уже по-другому. Но голос ее потерялся в человеческом капкане, сдавившем ей шею и грудь...

Рано поутру Варвара Алексеевна поднялась на крылечко к Авилову. Подождала, постучала, но никто не ответил. Тогда она дернула за кожаную скобку. Дверь оказалась незапертой, и колымская княгиня вошла к своему князю.

Авилов сидел, опираясь руками на стол. Он поднял ей навстречу равнодушные глаза. Аленка сидела не в коморе, а тут же на полу, скорчившись, как побитая собака.

Варвара Алексеевна опять-таки поняла с первого взгляда. У ней было опыта довольно с козлиной породой мужчин.

— С легким паром, — сказала она с насмешкой. — С законным браком.

В голосе ее не было особенной злости. Мало ли с кем не бывает.

Авилов на насмешку не ответил.

— Убери ее прочь! — указал он глазами на Аленку.

## XXVII

Маленькая черная фигурка движется в яркости снега через тундру, такая одинокая, затерянная в безбрежной ширине. Это Аленка возвращается из страшного плена, в последнее убежище, в поселок на Чу-кочьей виске.

Варвара Алексеевна просто столкнула ее с крыльца, как собаку, как гадину, и еще изругала ее грубыми мужскими словами:

— Пошла к такой матери!

Аленка отряхнулась и пошла. Собак ей не вернули, не дали куска на дорогу, да она и не просила. За последний кусок дорого она заплатила батюшке свекру, полковнику Викентию Авилову.

Шагает Аленка вперед без лыж, без посоха. Остелевший убой не садится под ней, с пригорка на пригорок скользит она привычными ногами.

Двоится у Аленки в уме. Два у ней Викентия Авилова. Свекор и муж. Или оба ей мужья. У обоих побывала. И такие похожие, глазастые, тяжелые, такой самый запашок. Пить хочется Аленке. Она падает на землю и лижет холодный убой, как собака. Припадает к последней струе и глотает холодную воду. Потом поднимается и двигается дальше.

Через тундру шагает Аленка, убегает от отряда и не знает куда. Была в Черноусовой, а уходит на Чукочью. А в какой стороне Чукочья? Безжалостное солнце светит ей прямо в лицо. И жмурится Аленка, глаза ее слешнут, красные, желтые круги бегут перед ней, словно тоже убегают через тундру.

Отчего солнце ей бьет в глаза? Давно она идет. Полдня. А может, три дня, неделю, месяц. И было так, что солнце светило ей сзади. А, может, она возвращается назад на Черноусову? Запуталась Аленка.

Не зная, куда ей идти, Аленка садится на пригорок и плачет горючими слезами, как заблудившийся ребенок. Страшно на тундре, как в темном лесу. Куда ни повернется, уже ей повсюду чудится мужчина, высокий, глазастый, и тянет к ней длинные руки. Куда ей спастись? В землю зарыться? Но стеклянистый наст не прсрубишь топором, а у ней только слабые ногти. Этими ногтями царапала Аленка волосатую грудь Викентия Авилова. Которого? Первого? Второго? Она хорошенько не помнит. Царапала Аленка, но ничего не процарапала.

Сидит на пригорке Аленка, закрывает от солнца лицо и плачет горючими слезами. А солнце ведь вовсе не злое. Оно глядит на нее пристально своим пла-

менным оком. Жалко даже солнцу обиженную девочку. Затыгивается дымом сияющий глаз, тускнеет печальная тундра. Темнеет улыбочатое небо. Гляди, и заплачет заодно на голову Аленки холодными весенними слезами.

Легче глазам. Аленка озирается кругом. И видит далеко на тундре, — движется, мелькает черная вертлявая полоска. Ведь это собачья упряжка. Недавно, вчера или раньше, Аленка и сама изгибалась по тундре с таким подвижным червячком.

Кто же это едет? Погоня. Хватился тот страшный мохнатый, догонит, вернет! Опять будет душить, терзать, как рысь куропатку, растреплет, сожжет.

Очертя голову, задыхаясь, убегает Аленка через тундру, спасаясь от погони. Так быстро бежит, что даже наезжающий собачник все время отстает и не может догнать. Вот поровнялся, наконец. Пролаяли собаки. Погонщик на ходу вскакивает, хватает беглянку и бросает на нарту.

— Подь, подь!

Поймали Аленку. Высокая фигура, знакомый запашок, и голос все тот же, знакомый, страшный голос приезжего дьявола:

— Аленка, уймись!

— Уйди! — визжит Аленка не своим голосом. — Боюсь!

Она соскакивает с нарты и бросается в сторону и падает, ползет по снегу, по убою, как подбитая синявка<sup>1)</sup>. Викеша хватает Аленку и бросает на нарту назад.

— Боюсь! Уйди!

---

<sup>1)</sup> Синявка, синяк — молоденький песец. мех синявки отдает сипим. Подрастая, синявка становится недопеском.

Не зная, как унять ее, он связывает Аленку, увязывает ее на парту, как кладь, и во весь опор, как ветер, несется через тундру.

Безумная Аленка. Ведь это не погоня, а выручка. Не Викентий, а Викаша.

Пониже Черноусовой, на заимке Коретовой, он взял собак и перелетел через тундру в свое вольное гнездо. И тут он узнал, что Аленка не послушала и поехала вдогонку. И сам не послушал никого, не остался ни минуты, только собак переменял, полетел выручать свою непослушную, упрямую, любимую жальчиночку.

Приехал, нашел, захватил. Во-время поспел, или, может быть, поздно.

Летит через тундру упряжка. Аленка от ужаса бредит:

— Какие вы похожие, бог с вами! — шепчет она удивленно. — Такой самый запашок!

Викаша прислушивается, не может понять: — «Невестка твоя, молодчика Викаши любимая кровинка».

— Батюшка свекор, отпусти меня! — просит Аленка и вскрикивает страшным другим придушенным голосом: — Пусти!

И теперь понимает Викаша и не может понять. Верит и не верит. Бывает ли такое на земле? Хуже людоеда полковник Авиллов. Мать съел, утопил на море за нерпами, а теперь и вторую, невестку, сыновнюю лобу, измял, надругался, загрязнил, как черная злая зараза.

Загрязнил — не беда. Море не грязнится, ежели пес полакает. А то вот беда, что Аленка в огневице, мечется, кричит, как когда-то металась и Дука.

А Аленка утихает и спрашивает странным ликующим тоном:

— А Викаша-то ушел? Али ты сам отпустил его?

— Да отпустил. Отпустит такой.

Викеша вспоминает свой неожиданный побег, пьяного отца, лежащего на лавке, и рука его крепко сжимает воображаемый нож.

«Напрасно оставил», — думает он жестко.

Апрельское солнце садится в багровой широкой заре. Сверкает на Чукочьей виске зеркальный и твердый хабур <sup>1)</sup>. Собаки, почуяв жильё, расстилаются, как ветер. Невысокий подъем — и поселок. Выскакивают максолы, партизаны, девчонки и бабы. Ибо не только за максолами, бабы увязались за старшей дружиной и одна по одной забрались в партизанское гнездо. Даже старая Дарья гренадерша бросила смолистого мужа и приперла на Чукочью к Паке.

— А ребят на кого покинула? — сурово спросил Пака.

— Тут тоже ребята, — оправдывалась Дарья.

Действительно, из Пакиных детей дома осталось лишь трое, а двое уж были с максолами.

— А за теми присмотрит старик, — успокаивала Дарья.

— Викеша, Викеша приехал! — загудело по поселку. Сам Микша Берестяный привязал собак и вводит Викешу под руку в жилую избу. Выдержать такое способен не каждый максол. Четыре парезда через тундру, плен и побег и все без отдыха.

Как ветер шатает Викешу. В уме его мутится, как будто у Аленьки.

Аленку подхватили бабы и вводят в другую поварню.

— Бабы, посмотрите ее, — говорит им вдогонку, Викеша и глаза его смыкаются сами. Мир перед ним

---

<sup>1)</sup> Обнажившийся речной лед.

почернел и превратился в какой-то провал. И словно из бездны он слышит голос басовитый и сильный и все-таки женский, знакомый чей-то голос:

— Ничего, мы посмотрим, небось!

## XXVIII

Долго возилась суровая Дарья, максолка пятидесяти лет, над безумной и страшной Аленькой. Поила ее понемножку рыбьим жиром самотеком и терла снеговой водицей, наговоренной на полночную зарю, и вышептывала сама мудреный и тайный наговор.

И читала сперва наговор белый, святой, огневой: «Батюшка царь огонь, всем ты царям царь! Всем ты огням огонь. Как ты жжешь и палишь в чистом поле травы и муравы, чащи и трупобы, у широкого дуба подземельные коренья. Сожги и опали со младые Алены скорби и болезни, уроки и призоры, страхи и переполохи, семьдесят семь бед и семьдесят семь страстей!»

И потом, снявши с себя крест и трижды отплюнувшись влево, шептала наговор черный: «Встану, я раба дьявольская, не помолясь, выйду, не перекрестясь, в чистое поле, во дьявольско болото. На дьявольском болоте лежит Алатырь бел-горюч камень. На камне Алатыре сидит сам сатана. Ой же ты, могуч сатана, сгони и сними с молодые Алены скорби и болезни, уроки и призоры, страхи и переполохи, семьдесят семь бед, семьдесят семь отрастей!»

А Аленька отбивалась и отпихивалась и от бога, и от чорта, и от яркого огня, визжала «боюсь!» и кричала «уйди!»



— Уйду, уйду! — соглашалась Дарья. И опять уговаривала ее и гладила ей сердце и голову вправляла, свихнутую страшным Викентием.

Колымские знахарки особым хирургическим приемом вправляют у безумных как будто физический вывих и раскручивают его вместе с головою как пружину. Если вязов не свернут, то, бывает, что от этой жестокости больной приходит в себя.

Но Аленка отбивалась отчаянно и царапала и пыталась укусить суровую Дарью гренадершу за руки и за плоскую грудь и кричала: «уйди!», а потом приходила немного в себя и просила:

— Прогони его!

— Кого? — спрашивала Дарья.

— Волосатого, большого. Вот тянет руки ко мне, задушит, сожжет!

И Дарья шептала с невольною дрожью:

— Да воскреснет бог и расточатся врази его! — И опять зачинала наговор, по-старинке, не с бесом, а прстив беса:

— Бесе смрадный, бесе огненный, бесе иглистый, уйди!

Один раз Аленка слушала молча и сказала неожиданно:

— Бес, да не тот.

Дарья ждала с стесненным дыханием.

— Дьявол, — сказала Аленка. — Худоубивающий с винтовками своими.

Намучившись с Аленкой, Дарья попросту взяла ее на колени и стала баюкать ее обычной весеннею песенкой:

Куропатка вешная  
у ней шея пестрал,  
куропатка бьется,  
рукам не дается.

И Аленка затихла под эту немудрую песенку:

Евражка <sup>1)</sup>, бедняжка,  
корешки капала,  
в нору таскала,  
деткам собирала.  
На зиму спать легла,  
до мая дремала.

Она произносила: «дремайа», с северным сладкоязычным говорком.

И Аленка задремала в поварне на жестком оруне, повинувась призыву евражки, уснувшей до зимы.

На утро старая Дарья максолка пришла к Викеше в комсомольскую поварню.

— Сказывай, чего с ней? — спросил напряженно максол.

— Боится она.

— Знаю кого, — промолвил Викеша сурово.

Дарья нахмурилась:

— Ты, может, знаешь, а она вон не знает сама. Двое вас, Викентий, да Викентий, начальник, да начальник. Хорошие люди по-двое не бывают, — прибавила Дарья. — Два волка в одной берлоге не живут.

— Чего стану делать? — спросил тихо Викеша.

— Что надо, то и делай, — рассудительно сказала старуха. — Нашу беду прогони, прогонишь и свою.

Через три дня Викешу пустили к Аленке.

Она немного успокоилась, но держали ее особо в маленькой темной поварне. Солнце жгло ей глаза, нагоняя весеннюю слепоту. Да и вообще на Колыме безумие лечат уединением и мраком.

Викеша вошел в поварню после яркого света, словно окунулся в чернила.

— Аленка! — позвал он тихонько.

---

<sup>1)</sup> Евражка — овражек, суслик.

— Кто ты? — спросила Аленка. — И тотчас же ответила громко сама: — Викеша, сынка твоего, родная очелинка.

Это была все та же неизбывная память, роковой разговор.

Викеша привык к темноте и увидел Аленку. Она сидела у стены на грубом оруне, съежившись, волосы ее распустились на плечи, и грудь выступала наружу из разорванной рубахи. Старухи ее не переодели. В то время в городе Среднем у молодых людей не было сменной рубахи. На каждую спину рубаха — и все тут.

Сердце Викеша сжалось безмерною жалостью.

— Аленка! — позвал он погромче и сделал шаг вперед.

И Аленка забилась на оруне и крикнула «уйди!» и протянула вперед отстраняющие руки.

— Уходи-ка ты! — сказала Дарья, стоявшая у изголовья в виде безмолвного свидетеля. Но Викеша упал на колени и протянул руки к своей очелинке и крикнул львиным голосом:

— Аленка моя!

Это был громовый, львиный голос Викентия Авилова старшего. Но в этом отчаянном крике Аленка признала Викешу.

— Чего, Викеша? — отозвалась она и тотчас же шепнула: — Не плачь! — Ибо она видела, как у него по щекам катятся крупные слезы и стекают на грудь.

Это была волосатая грудь полковника Авилова, но омываемая слезами, — и она превратила полковника Авилова в молодчика Викешу. И Аленка протянула Викеше руки и сказала, как ребенок:

— Возьми меня!

Викеша подхватил ее с оруна. Она была легкая, как перышко.

Аленка положила ему голову на плечо и шепнула на ухо:

— Прогони его! — Она раздвоила, наконец, этот пугающий образ. Викеша был с ней, а полковник Авилов прятался молча в углу и ждал, притаившись.

— Я прогоню его! — пообещал Викеша.

— Совсем прогони, — сказала Аленка просительно. — Пусть уходит, отколь пришел.

Безумие ее миновало, и она думала теперь о реальной опасности от начальника белых карателей.

— Я прогоню его далеко, — пообещал Викеша. И мысленно прибавил: «На тот свет!»

И он вспомнил свою прежнюю клятву: не опускать ружья, пока не истребит всех гадов-людоедов. Теперь эта клятва получила характер и личный и зловещий: не опускать ружья, пока не убьет полковника Викентия Авилова, родимого отца.

А Аленка шептала, как ребенок:

— Побайкай, Викеша, меня, как байкают малых ребят.

И Викеша послушно присел на орун и зашел, как суровая Дарья, ту же весеннюю песенку:

Куропашка вешная,  
у ней шея пестрая...

## XXIX

Авиловский отряд наступает на Горла с обозом, с пулеметом, с невиданной воинской силой, какую успел собрать настойчивый полковник Авилов. У него, действительно, сотня ружей и десять тысяч патронов. Он снова привлек табачишком и чайшком тунгусов и чукок, даже среди поречан завербовал десятка полтора не то добровольцев, не то новобранцев. Тут были те маль-

чишки, кого Тарас Карпатый так весело выдрал в Среднем в тот памятный день под музыку приветственного колокола. Они не стали противиться призыву, чтоб не вышло хуже.

И ликовиное дело, с той самой Похотской виски, которая служила молебен боярину Викеше, пришли другие десятка полтора добровольцев. То были станичные казаки, правда, не зеленый молодец, а более солидные люди, владельцы перетяг и наследственных лаев в черезовом похотском промысле. Они раньше снимали пенки с похотского чира, а теперь им пришлось поделиться, во-первых, с мелкотой, а, во-вторых, и с общественной казною. И оттого они явились в последнюю минуту на подмогу к полковнику Авилову.

Еще раз Федотка Гуляев пришел из Черноусова с приказом:

— Уходите на тундру подальше.

И максолы с партизанами уходят. Так уходили когда-то бродячие вольные скифы от злого персидского Кира царя. Но весело идти через тундру новейшим подражателям персов. Солнце припекает, день нескончаем, как год, по насту мчатся собаки, скользят неустанные лыжи, обшитые шкурой.

Озеро Седло, широкая Чукочья виска. Пусто на Горлах. Безлюдно на Чукочьей виске. Показался максольский пикет. Авилов приложился и выстрелил. Пикет исчез, но потом на снегу оказалось кровавое тело. Это был Кожанный Микша. Кожаная плоть не могла устоять перед меткою пулей Авилова.

А вы присмотритесь, какое ружье у Авилова! Это серебрянка, та самая, от мальчика Викиши. Когда-то носила ее Дука, и Викентий Авилов стрелял из нее оленей, волков и лосей. Он починил ее ложе и носит ее, как старую знакомую. Они, стало быть, поменялись

с сыном. Сын захватил дорогую винтовку отца, а полковник — серебрянку, наследство колена Щербатых. В двойном переплете оба Викентия Авиловых, первый и второй.

И еще веселее Авилову, что первым выстрелом из старого ружья он застрелил так метко и удачно первого противника.

Странно молодым и здоровым и цветущим кажется русский осилок. Он помолодел после той недавней ночи, после малого грешка с Дукиной преемницей, Аленкой.

Пикет отступил, и все партизаны отступили.

— Сожгите заимку, — командует Авилов, — чтоб духу не осталось.

Башкиры и чувашаи разбирают по бревну терпеливую работу партизан, сбрасывают в кучи и ломают, огромный костер встает над Чукочьей виской. На тундре, не имеющей лесу, русские жгут безрассудно последнее топливо, принесенное морем.

Куда отступили максолы? На тундре запрятаться негде и некуда деваться. Людские поселения закрыты для максолов. На Алаихе капитан Деревянный, на Абыне — Кашин, повсюду каратели.

Максолы не ушли далеко. Они отступили в естественную крепость, воздвигнутую морем, в деревянную щетку колючего холуя. Запрятавшись в гнездах, меж бревен, с собаками, с ружьями, они собираются выдержать атаку или дорого продать свою жизнь.

Это как в той же старинной чукотской былинке, которую белые пропели под Охотским хребтом, у порога волымской страны: «Много еще прячется в осоке остроклювых птичек». Но вместо осоки птички прячутся в густом плавнике, и это не чукотские птички, а русские слетыши, речные соколята. Они пощипали облезлых ворон и меряются ныне с боевыми ястребами.

Авиловское войско вытягивается цепью вдоль холуя.

— Тут они, — твердо говорит похотский урядник, Мирон Кривогорницын. — Никуда не ушли.

Цепь начинает стрелять. Но стрелять в холуи все равно, что колоть ножом воду. Пули щелкают в деревянные стволы и часто отлетают рикошетом назад. Не видно, во что метить. Но вот в холуе мелькнул белый клубочек дыма, как клубочек ваты. Ему негде развернуться между частыми стволами. Вылетела пуля, как оса, и пробила голову переднему башкиру Кирееву. Это расплата за Кожаного Микшу, око за око, голова за голову.

— Пулемет, пулемет!

Подъезжает сатанинская брыкалка и начинает хлестать свинцовой спринцовкой своей по перепутанным стволам. Но русская военная наука бессильна перед этой стихийной постройкой природы. Не то что пулемет, пожалуй, германская «берта» не пробьет этих естественных завалов. Все они сцеплены вместе и их не расплетешь, разве гигантскими клещами поднять сразу все вместе на воздух и переставить на другое место.

Наводчик Михаев стоит у пулемета и поворачивает его в разные стороны, стараясь выискать в стволах местечко послабее. Тщетное старание. Щелк, щелк, щелк! — поскакивают пули. А из холуя делится Викеша из отцовской винтовки. Ему тоже не терпится обновить этот отцовский подарок, хотя и полученный против воли отца. Он целится лежа, и стрелять неудобно. И пуля оттого попадает Михаеву не в грудь, а в плечо. Он падает навзничь, тотчас же встает и отходит, качаясь, долгой. Ему не до пулемета. И за пулей вылетает из холуя тоненькая стрелка и жалит башкира, погонщика при нарте, и тоже в плечо.

Скорее от холоуя прочь. Позорная штука. Зубчатые стрелы отгоняют от тундренной крепости стальной пулемет.

Авилов бранится худыми словами и зовет к себе Мирона.

— Как взять их?

Мирон пожимает плечами.

— Сам видишь, какие стены!

— А если зажечь этот холоуй.

Мирон смотрит на него с изумлением. Безумные каратели с юга готовы истребить и тундру и самое море.

— Нет, холоуй не будет гореть. Дерево морское, пропитанное солью, не подвластно огню. Топливо выбрать возможно, а весь холоуй не сжечь. Он лежит на земле от начала времен и будет лежать до окончания века.

Весенний день кончается. Темнеют небеса. Надо отходить от крепости максолов, не сделали бы вылазки. Авиллов отходит обратно до Чукочьей виски к поселку максолов.

Неделю Авиллов стоит перед крепостью тундры и моря. В отряде начинается ропот. Палаток для всех не хватает. Теперь быгодились максольские поварни, кабы их не спалили. Странное внешнее солнце светит, да не греет. В полдень обжигает снега, а людей не согревает, скорее холодит. А главное ветры донимают. Жилловые хиуса<sup>1)</sup>, которые вечно на тундре живут, летают с востока и запада. Восточный ветер считается мужем, а западный ветер женою, и они прилетают друг другу навстречу и пролетают мимо и не могут встретиться.

---

<sup>1)</sup> Хиус — ветер.



Максолы прячутся в холуй, как песцы и горностаи. Но у них есть топливо, они разводят огонь из мелко наколотых чурок, прямо на земле в своих гнездах, между торчащих стволов. Огонь догорает до конца, но холуя не сжигает.

Каратели ходят на воле, но у них не на чем согреть себе воду для чая. Ездить на холуй за дровами — было бы ездить за смертью. Они ездят за двадцать верст к югу на край Едомы и привозят оттуда ерничные<sup>2)</sup> корни и сучья.

За линию холуя каратели совсем не переходят. Это наружная граница красной территории. Партизаны за холуем тоже гуляют на воле, даже рыбу промышляют в Большой Чукочьей виске, лежащей к западу от Малой Чукочьей.

Обе партии делают вылазки, но в последнее время никого не убили. Партизаны и каратели понемногу знакомятся друг с другом. И от нечего делать заводят переписку. С белой стороны переписку ведет поручик Герасимов, пришедший с капитаном Персиановым. Герасимов считается завзятым театралом, даже ставил солдатские пьесы в своем бывшем армейском полку. Сочинительство писем это лишь малая прибавка к великому театральному искусству.

С левой стороны пишет не Викеша, а другой грамотей, по имени Палашка. Это не девчонка, а мальчишка, уменьшительное от Палладий. И этот Палашка — Палладий является племянником покойному отцу Палладию Кунавину, замученному белыми. Палладий — Палашка Дорофеев и сам от духовного семени, но яростный, злой комсомолец.

---

<sup>2)</sup> Ерник — черная ползучая береза.

'Авиловы, первый и второй, как главные начальники, в дискуссии не участвуют.

Переписку открывает Палаша. Он отправляет первое послание к северному «командарму»:

«Мы, нижеподписавшие, красные партизаны, жееаем пожать вашу руку, обменяться силами, ускорить свидание.

— Представителям прогнившего строя посылаем свое искреннее пожелание повеситься на женском волоске» — дальше идут указания о женском волоске, которые я пропускаю.

На штампе нарисованы мужские атрибуты, а подпись: «Остаемся красные твои достопочтенные рабы».

Герасимов, обозлившись, посылает тотчас же ответ: «Красным безносым орлам. Получили ваше хулиганское отношение, каторжники и бандиты, и выражаем желание, как будете выходить из митинга, подавитесь тем самым мясом, которым накормили покойного Митьку Реброва. Ожидайте и от нас такого же угощения».

А подпись: представители белой иерархии <sup>1)</sup>.

По этим примерам возможно судить, что красные были настроены более активно, чем белые, и рвались к грядущему бою. Белые ругались в три тысячи матом, но даже их обозленная нервность обращалась скорее к подвигам минувшим, чем к подвигам грядущим.

### XXX:

День за днем 'Авилов обходит холуй, стараясь отыскать в деревянной броне партизанов уязвимое место. Двадцать раз он подходит совсем близко, подвергая свою жизнь опасности. Но еще не отлита пуля, которая могла бы поразить Викентия Авилова.

---

<sup>2)</sup> Списано с подлинных писем.

Он переходит даже за черту партизанских владений и заходит туда, где партизаны гуляют на воле, как и прочие люди. Он знает теперь холуй, как никто, словно он сам его вынес из моря и разложил по тундре кучами мокрого дерева. Холуй тянется на три версты, а в ширину саженой на пятьдесят. В трех местах есть переузье. В одном переузье ширина не больше, как двадцать саженой. А есть и расплывы, озера, словно дерево расплывалось по тундре.

Если по низу смотреть, смыкаются густо стволы и обломки, но повыше, на рост человека, стволы торчат реже, как неровная щетина, и в этой щетине попадаются просветы, местами, пожалуй, сквозь все переплеты стволов, от края и до края.

В холуе света довольно, там сидеть не темно. Зато если целиться поверху, то пули начнут залетать в середину, а, пожалуй, и насквозь возьмут. Плохо то, что снаружи не видно, где устроены гнезда максолов.

На будущей неделе Авилов решил устроить генеральную атаку на максолов. Он придумал оригинальный план. Казаки, чувашаи и башкиры нарыли изпод снега разного мху, сухого и мокрого, прошлогодней травы, сухих лишайев, какими питаются олени, надрали по низинам кустиков с корнями и все это добро натащали к деревянному валу и уложили по краю длинной и корявой полосой.

Может, и впрямь Авилов собирается строить на тундре свой собственный холуй, белый против красного. Нет, он задумал другое. Он выбрал день, непогодный и ветренный. На тундре не долго выбирать. Все дни ветренные. Но нынче с утра дует ветер с востока, белым в спину, красным в лицо. Это ветер мужчина и союзник настойчивых карателей.

Авилов велит зажигать наложенные кучи. Огонь не разгорается и гаснет. Трудно зажечь такое скопление сырья. Но ветер помогает раздувать. И вот понемногу затлелась одна куча, потом другая, вся полоса тлеет и шипит, рождая густое облако дыма, перемешанного с паром. Дым тянет прямо на холуй и понемногу проникает в сплетение стволов. Он стелется снизу и восходит наверх. Холуй напитывается дымом, как губка водой, и сам начинает дымиться. Тонкие и белые струйки выходят из холуя вверх. Можно подумать, что в холуе пожар. Словно Авилов умудрился поджечь морское топливо своим сырым и едким дымом.

Но замысел Авиллова иной. Он развеял дымокур, как разводят его летом против комаров и оводов и другого летучего гнуса. Без дыма огня не бывает, но дым — оружие не хуже огня. Авилов собирается выкурить прочь комсомольцев из их деревянной берлоги, как выкуривает шаман из чукотского шатра зловредных и незримых духов.

Неприятель наступает. Слепленные максолы не видят, в кого им стрелять и как защищаться.

Топорники с баграми, с топорами лезут за дымом в глубину деревянных сплетений. Они прорубают, растаскивают, раскидывают стволы, стараясь нащупать тайные проходы максолов и добраться до их сокровенных невидимых гнезд. В дыму, в темноте, они работают слепо, наугад, но все же ожесточенно подвигаются вперед.

Трещит пулемет, наведенный поверху. Щелкают, сыплются пули, как свинцовые орехи. Иные залетают в глубину. Одна умудрилась пролететь сквозь самые узенькие щелки, ни разу нигде не задев, и вместо дерева впивается в шею максолки Машуры Широкой. Ибо и девчонки все тут с мальчишками, больше им некуда деваться. Широкая Машура уж очень широкая мишень.

Не мудрено угодить в нее даже сквозь защиту бревен и жердей.

Ахнула Машура и упала бы назад, да некуда упасть. Тесно в деревянном переплете. Машура отслонилась на гладкую слегу, зажимает рукою кровь и шепчет про себя:

— «И угодила каленая стрела девице Евпраксее под белую грудь, и пробила ее белое тело, и источила кровь, руду горячую, и силу, мочь живучую».

Машура унимает свою боль, рассказывая себе самой сказку, высокую торжественную сказку на русский богатырский лад. Ведь все эти последние дела такого богатырского торжественного склада.

Неужели погибать партизанам и максолам?

Хмурится колымское небо. Должно быть, оно не согласено, чтоб максолы погибли. На западе встают над низким горизонтом волнистые тучи, как будто барьеры, и катятся к тундренной крешости. Это облачное войско идет на подмогу максолам. Это женщина-ветриха, восточного ветра жена, дунула мужу в глаза и завывла сварливо и буйно. Как же ей не злиться, каратели ранили не воина, девицу, а даже жестокие чукчи говорят, что ранить девицу постыдно.

Четверть часа, — и ветер отходит на западный угол. Это шалоник, двоюродный братец западной бабы-ветрихи. Мокрый, больной, он дует с «гнилого угла», у него постоянный насморк, утро для него вечер, а яркая весна для него, как ненастная осень.

Просветлело в стволах, ветер, как огромный насос, вытягивает дым из деревянных закоулков, дым бьет назад, в лицо карателям. Просветлело под холуем, и теперь начинается бойня. Сквозь стволы неудобно стрелять. Но откуда-то явились у максолов огромные коцья, в палец толщиной, в две сажени длиной, страшное

оружие, когда увернуться некуда. Российские птыки против колымских копий, как шило против вертела.

Солдаты бросают багры и топоры, бросают даже ружья и лезут назад, стараясь выбраться из тесной западни. Максолы подобрали топоры, и теперь они рубят бревна. Они размеряют и рассчитывают удары точнее, чем каратели. Вон на дороге бегущих топорников подрубленный ствол рушится вниз, увлекая другие, прямо на шею двоим уползавшим башкирам.

Опять все попрежнему. Максолы в дровах, каратели на воле. Холодно карателям. Шалоник превращается в пургу, со страшною силой он отрывает частицы от льдистого убоя и раздробляет их в колючие иглы и мчит через холуй, прямо в лицо карателям.

Северное небо не шутит, товарищи бандиты. Караваны, случается, в мае теряют дорогу и блуждают в снегу.

Другая беда пострашнее.

Вслед за небом вступилась и земля. Каменная мерзлая почва, не тающая вечно. Российские огни пробудили в ее мерзлой груди искру желания и гнева и мерзлая почва оттаяла, неожиданно расселась и открылось «окно», глубокий провал, какие бывают на тундре. Отчего происходят эти окна, никому неизвестно и никто их не мерил в глубину. Проедают ли их снизу теплые ключи или просто ледяная броня местами допускает прорехи, но такие провалы-зыбуны встречаются на самых неожиданных местах. И можно в зыбун провалиться с головой и мерзлого дна не найти под ногами.

Окна открываются летом. Но огни, разведенные злобой карателей, раскалились, как солнце, под ними растаяла верхняя корка, покрывавшая окно. Полковник Авилов может, действительно, гордиться. Творчество его превосходит творчество природы. Перед грудами мерз-

Лых скоплений неподвижного холода он поколебал и заставил расколоться неподвижную кору земли.

Разверзается трясина под ногами у белых, засасывая мелкие лыжи и грузные нарты. Чукчи и похотские казаки в испуге бегут. Они не выносят земных трепетаний и раскрытых зимою болот. А башкиры и чувашаи возятся с обозом, тащат, и вытащить не могут. Нарта с пулеметом садится в трясину задком, а дуга поднимается кверху и хобот пулемета глядит в небеса. Кого же там расстреливать? Не западный ли ветер или серые густые облака?

Безжалостные партизаны начинают стрелять по обозу из-под верного прикрытия в стволах.

На подмогу, Карпатый Тарас!.. С исполинскою силой Карпатый вытаскивает нарту наверх и свирепо погоняет собак. Но маленькие стрелки вылетают, как иглы, и, пришивая к земле, останавливают собаку за собакой.

Карпатый не уступает и тянет к себе пулемет. Вот он вытащил его из расселины и выводит на окраину твердого убоя. Но хлопнула вивешина винтовка, и пуля угодила в голову завязтому Тарасу и пробила во лбу аккуратную черную дырочку. Падает Тарас и вместе с пулеметом и нартой валится обратно в трясину. Пойди, выручи их!..

Настала на белых беда. Был дорог пулемет, но дорожке стократно был веселый и хитрый вояка с Амура, гораздый на всякие выдумки. Карпатый — душа и веселье и хитрость отряда. Не было такого в отряде и не будет.

Кончилась удача белого похода. Каратели в панике бегут, оставляя обоз.

И тогда вылезают максолы из своего надежного прикрытия. Вот он, обоз! Все имущество — тут, накопленное и награбленное белыми. Оно возвращается к

законным хозяевам. А главное военная машина — пулемет. Стальная змея, жалившая долго партизанов и максолов, застряла в колымской трясине, не летом, а зимою, и нелепо поднимает к небесам свое обессиленное рыло.

Викеша пробегает мимо и хочется ему пнуть ее ногой и крикнуть:

— Попался, проклятая собака!

Но подбежать нельзя. Трясина не посмотрит, кто белые, кто красные. И Викеша высовывает чертовой птуже язык и бежит дальше.

Красные гонят карателей, как гонит их западный ветер, ветриха-жена.

Ветер немного улегся. По ту сторону Чукочьей виски, в открытом поле, Авилов держит последний совет. Его постигла судьба всех великих завоевателей. Союзники его покидают, и он остается один. Похотские казаки заявляют угрюмо:

— Мы уходим домой.

Мирон Кривогорницын насмешливо шмыгает носом: «знали бы, не приходили бы».

Два века назад другой такой же Мирон Кривогорлицын и тоже похотский казак оставил на тундре майора Павлуцкого в добычу врагам и вернулся домой. Все повторяется в мире. Недаром же чукчи когда-то называли Авилова Якунин-Павлуцкий.

Но на это совещание чукчи совсем не пришли. О чем совещаться, — все ясно. Белые сразу потеряли главное оружие свое и главную святыню, оставили в болоте без славы, без защиты пулемет. Они бросили свое счастье в трясине, с ними не стоит и опасно сообщаться.

Долго совещались белые каратели и прикидывали, что делать. И чувашский «говорок» депутат неожиданно сделал заявку:

— Мы тоже уйдем!



— Куда? — ахнули солдаты, а с ними и Авиллов.

Был разговор такой же медлительный и важный, как прежний Михаев, и даже называли его по-прежнему: Михаев. Половина чувашей были из деревни Михаевой и носили одинаковое имя.

— Пойдем на Среднюю жить, — сказали чувашаи Михаевы. — Там у нас жены есть.

Уже не было Карпатого, чтоб высмеять эти чувашские планы. Другие лишь яростно ругались.

— Отрежут вам жены, что надо, кобели несчастные!

— А мы столковались! — говорили чувашаи уверенно. — Мы будем работать.

Но потом оказалось, что чувашаи тоже раскололись. Только Михаевы хотели остаться на Средней. Другие воевать не согласны, но согласны уйти.

— Куда?

И в изумлению Авиллова они отвечали ему словами Викени:

— Откуда пришли, туда мы уйдем!

Они словно позабыли об южных врагах, лишь бы избавиться от этих надоедливых и странных северных сражений. Надо было торопиться и уходить на поиски этого «куда». Усталые максолы пока не напирали с тылу, но западные ветры и ветрихи были хуже максолов и гнали припелльцев с бабьей сварливостью и плевали им снегом в лицо.

Распался и окончился великий поход полковника Авиллова на колымских партизанов, как распадаются великие планы всех завоевателей.

### XXXI

На Средней Колыме комендантом остался Дулебов. Авиллов рассудил, что его ядовитая выдержка прекрасно

подойдет для укрощения строптивого тыла. Поречане, действительно, панически боялись Дулебова. Один взгляд его спокойных светлых глаз действовал на них, как взгляд змеи.

Он был страшнее Авилова уже потому, что Авиллов был все-таки свой, знакомый, а Дулебов чужой, непонятный, холодный, свирепый. Именем Дулебова колымские матери стали пугать непослушных детей: «Вот Бука придет, Дулеба красноглазая. Возьмет и укусит».

О нем не говорили «возьмет и унесет», а непременно: «возьмет и укусит».

Но именно в эти последние месяцы им нечего было бояться. Дулебову было не до них. Он переживал медовый месяц с избранницей своей, Менькой Селезневой. На него действовало, как вино, как волшебный любовный напиток, ее беспрекословное согласие на самые причудливые трюки. Она все понимала с полуслова. Только руки и ноги ее тряслись постоянной нервической дрожью и в глазах пробегали порой огоньки, как у дикого загнанного зверя. Но Дулебов не замечал этих неясных оттенков. Он был, как музыкант, а Менька была, как живой утонченный инструмент, и вместе они разыгрывали симфонию любви, ту самую симфонию любви, которую колымские баяны-баяны воспевали в досельных былинах:

Играли мы с тобою не проигрывали,  
была у тебя шваечка серебряна,  
а мое-то колечко золото,  
и сколько разов ты меня разыгрывал,  
на шваечку колечушко поддеывал.

Этот странный любовный дуэт прервался и нарушился через неделю после ухода Авилова на север. В одно неприятное утро Дулебов проснулся позднее обычного и тотчас же ушел по делам, — ему нужно было послать

на подмогу Авилову добавочных собак. А Монька не встала с постели. Вернувшись к вечеру, Дулебов застал ее на смятых подушках под тем же одеялом, двухцветным и двухспальным. Она лежала лицом к стене.

— Чего ты, Монька?

Она обернулась к нему со скучающим лицом.

— Папушки у меня, — сказала она с колымской простотой.

Дулебов сначала не понял: какие «папушки»?

И она объяснила ему жестом.

И он отскочил, как ужаленный, и выбежал из комнаты.

Это была ужасная болезнь, которая изъела до костей и русских и туземцев на реке. Чукчи называют ее юкагирской болезнью, но, конечно, принесли ее казаки. Население ее не боится и относится терпимо к самым безобразным ее проявлениям. Маленькие дети устроили особую игру в «папушки» и разыгрывают ее с невинными личиками, но с такими подробностями, которые нельзя передать на печатных страницах.

Впрочем, за три века она приняла особенные формы, и до сих пор неизвестно, является ли она заразительной или только наследственной. Есть семьи здоровые, которых болезнь не решается касаться, есть другие, которые страдают от нее в течение десяти поколений. Иногда она минует пару поколений, деда и отца, и вдруг просыпается во внуке с удвоенной силой.

Новых пришельцев из русского юга колымская болезнь не берет, и они общаются с самыми безносными мужчинами и женщинами в язвах и папулах, совершенно безопасно, словно переполненные собственной дезинфекцией. Но Дулебов не знал этих подробностей и испугался почти до истерики.

Долгий весенний день, с утра и до вечера, он проходил в необычной тревоге и не решался вернуться домой. Самое слово «папулы», «сифилис» страшило его. Он гордился своей незапятнанной розовой чистотой, как лучшим наследством, полученным от предков, — благородством двойного подбора, записанным в бархатной книге и запечатленным на гладкой бархатной коже.

В любовных делах он всегда отличался щепетильностью, уже из-за своего трудного подхода к любви. Девиды называли его «Ваничка без пятнышка». Он избегал их и чуждался и если допускал свое тело до какой-либо слабости, то при этом расточал избыток кислот и очистителей. А здесь он попал словно в грязную мойку обеими ногами — и хуже. И не очистить ничем этой грязи. Да и не было на Колыме очистителей, не осталось врача или фельдшера.

Что делать, переехать? Дулебов не подумал ни разу: «прогнать». Его своеобразное рыцарство чуждалось такого отношения к женщине. Он подумал: «Уйти, перейти на другую квартиру, бежать, уехать к Авиллову в Нижний, поставить меж собой и источником заразы поля и пустыни».

И чуть подумал — его укусило за сердце. Ему представилась Монька раздетая, в смятой постели, послушная Монька, источник живых наслаждений. И теперь она страдает, расплачивается за всех и также за него, за Дулебова. Больная лежит и беспомощная, как раненая горлица, как живая облатка, и язвы ее, как язвы гвоздильные. Дулебов на западном фронте успел изучить католическую службу, с облатками, с гостиями, преимущественно в сжигаемых церквях и в чашах и в дарах, пролитых на землю в дорожную грязь.

Монька стала для него, без логики, без всяких доказательств, в ужасной болезни своей, как вечно женственный образ, как голубой цветок, запятнанный скверною слизью, как яркая роза любви, съедаемая червем, незримым и коварным.

Но тут он припомнил проклятье расстрелянной ведьмы, Овди Чагиной: «Твой нос оторву», и схватился рукою за этот чувствительный орган.

Некуда было деваться капитану Дулебову. И поздно вечером он вернулся в любовный павильон к волшебнице Моньке. Она лежала попрежнему в кровати печальная и бледная, как луна на ущербе. Во время припадков болезни поречане стараются больше спать и меньше двигаться.

«Во сне выбивается, во сне и теряется», — говорят они.

Но вместо любовных речей Дулебов с подружкой повел медицинскую беседу и храбро заменил расстрелянного фельдшера. В первый раз он рассматривал наготу своей подружки внимательно при свете, проникая во все ее тайны, и она показалась ему несказанно пленительной, влекущей своею греховностью, страданием и самой болезнью. Кровь хлынула ему в голову. Он быстро поставил лампу, которую держал в руке, и припал головой к своей униженной любовнице и страстно облобызал ее сокровенные язвы.

— Монька, не плачь! — утешал он ее бессвязными словами. — Мы будем лечиться. Я увезу тебя в Америку. Уедем от этого страшного места, от грязи, от греха. Забудем, как не было.

И Монька смотрела на него своими дикими звериными глазами. Она и не думала плакать. О таких пустяках колымчанки не плачут. Но была она попрежнему готова выполнить каждое слово и жест своего повели-

теля. Лечиться так лечиться, — хоть каленым железом или крепкою царскою водкой. В Колыме знахари и фельдшера лечили папушки героическими средствами.

И ехать с хозяином Монька была готова, не то что в Америку, а хотя бы на край света, или прямо на тот свет, к подземным духам — дьяволам.

На следующее утро Дулебов приступил к осуществлению задуманного плана. План этот отличался необычайной простотой. Он тщательно собрал пушнину, казенную и конфискованную, которою недавно любовался Викентий Авилов, и сложил ее на нарты, назначенные для отсылки в Нижний. Нарты, собак и запасы, собранные с такими заботами, все он захватил в свою собственную пользу. И выступил из города Колымска обратно по дороге, которою пришли каратели. Это был первый отряд, уходивший обратно из северного края, не солоно хлебавши.

Солдаты вначале расспрашивать не стали. Их было не больше десятка. И Дулебов свои истинные планы унес с собою, как приказ в запечатанном конверте. Но на первом привале он рассказал им довольно откровенно о целях и путях, и они закричали с несказанным восторгом «ура!»

Им до смерти опостышел этот край, голодный и упорный, и они были готовы уйти куда бы то ни было, хоть к чорту на рога.

— Выйдем на берег к Охотску, — говорил мечтательно Дулебов, — там ходят японские шкуны, уедем, — заплатить за проезд у нас есть чем. В Америку уедем, другие уезжают.

Этот последний остаток отряда карателей, извергнутый даже таежною северной глушью, готов был перебраться в чужие границы, выйти из русской орбиты и стать вечно блуждающим страдальником.

Отряд подвигался назад по дороге через горы, как странная миниатюра авиловской рати. Розовый Дулебов шел впереди на лыжах и Монька ехала рядом на собаках, постукивая тормозной палкой. И сзади топорщились нарты, — на собаках, лошадях и оленях. Был даже упряжный бык, захваченный в виде запаса.

Отряд прошуршал по снежной дороге и вышел из Колымского округа и вместе с тем вышел навсегда из нашего рассказа.

## XXXII

В заколымских лесах, на «Каменном» высоком берегу, блуждает отряд полковника Авилова, — в таежной горной глуши, между трех крупных рек: Колымы и обеих Анюев, Сухого и Большого. Как раненый зверь, но все еще опасный, он выходит порою на людские дороги, нападет и ограбит и сожжет одинокую заимку, и снова вернется в леса зализывать жгучие раны.

Восстала против белых Колыма. Все северные реки и поселки восстали против злобных карателей. Алазейцы с индигирскими утопили Дервянова в проруби с камнем на шее. Он был мертвецки пьян и когда потащили его, только крутил головою и руками машинально поддерживал камень, чтобы обвязка не резала шею. Алазейцы столкнули его в воду и вместе с ним спустили драгоценную жертву-подавание, пузатую флягу с неразведенным спиртом: пей на здоровье, Дервянов, да назад не ворочайся!

А Капшин на Абые перемазался, объявил себя вместе с отрядом не белым, а красным, и принял комиссаров. Комиссары провели на Абые неделю, потом воротились на юг и капитана Кашина заодно прихватили с собою.

Белая зараза проходила, как проходит на севере оспа или страшная корь, или колотья гриппа. Гнойные нарывы рассосались, мертвых закопали, а живые старались обстроить опять свои разоренные гнезда.

Также воротились колымчане на свои разоренные заимки, к сетям и заколам и езам, к неводам и перетягам, к промыслу черезовому и к промыслу торосовому, к пастям и кляпсям и капканам и черканам и другим хитроумным ловушкам для промысла зверя пушного и мясного. И в тундренном холме человеческие гнезда опять заменились песцовыми, и избушки максолов словно рассыпались на сотни деревянных песцовых западней.

Пака и товарищи вернулись в Средний устраивать порядок и промысел. А Мишка Слепцов водворился в якутском улусе. Так выходило, что Пака и Мишка Слепцов должны поделить меж собою руководство огромной страной и вместе заменить погибшего Митьку-диктатора.

Против белого отряда остались максолы, Викешин отряд.

«Их дело, — думали другие, — надежда и опора Колымы, так пускай же и заступят за всю Колыму до последнего. Справятся, небось. А если не справятся сразу, так и то не беда. Надвигается весна, и вскрыются вешние воды, и исчезнут дороги и карателей возьмем голыми руками, как зимою обмерзлых глухарей, — где сядут, тут и влипнут».

Мечется авиловский отряд. Викентий проявляет огромную энергию. Он одновременно сразу в хвосте и в голове. Сдерживает жалящих и бойких максолов, а к ночи отбирает последние запасы на какой-нибудь заимке. Он заставил чувашей применить трудовые навыки, усвоенные в зиму. Они спускаются к берегу, долбят проруби, ставят отобранные сети и ловят терпеливо все ту же кормилицу рыбу.



Странно чувствует себя Викентий Авилов. Что-то кончается и он словно подводит итоги: жил хорошо, ходил по земле легко, гадов бил, душой не кривил, с женщинами знался. Пожито, попито, и меду и яду, и в золоте рыто и в болоте.

Делал, что на душу придет. Не слушал других, другие его слушали. С самого начала, сколько помнит себя Авилов, он был начальником людей, — вернее, мог быть, хоть и был не всегда. Но он шел сквозь толщу жизни, раздвигая ее налево и направо своим железным плечом, и люди сторонились. И так силен был Авилов, что если бы встретилась злая судьба-лихолетье — и она бы посторонилась.

Авилов судьбу свою чувствовал всегда, и в самых жестоких событиях ощущал безопасность. Бомбы взрывались, дробились и кололись широкие пласты, а он был цел. Не отлита еще пуля, которая убьет Викентия Авилова. И теперь тоже инстинктивно и безошибочно он чувствовал, что приближается конец. Ну что же, конец, так конец.

Он был всегда, как разрывной снаряд, живой и ходячий, точнее, как источник снарядов, вечно заряженный миномет, рождавший в себе постоянные взрывы. И теперь его взрывы истощались один за другим, и надо взорваться последним заключительным громом.

Женщины ему вспоминались особенно четко и выпукло, как каждому сильному мужчине, и его воспоминания развивались перед ним не с начала, а с конца.

Жальчиночка Аленька, колымская дикая ягодка, лесная земляничка.

Ярко представлялась ему жестокая картина, как трепетала в его крепкой руке эта живая колымская ягода, колола его своими острыми и мелкими шипами, — они даже не прокололи его жесткой кожи, — и как он

извлекал из нее соки, глоток за глотком, и всю опустошил ее, оставил одну кожуру, безжизненный лоскут.

И когда он вспоминал, руки его крепили и тело наливалось густой опьяняющей силой.

А дальше в глубину простиралась шеренга, начиная с княгини Варвары, — женщины, искавшие его. Одни из них заигрывали и манили его лапкой, как кошки, другие, разомлев, покорялись. Он вспоминал знаменитое правило: женщины бывают, как корова или птица или кошка. Он испробовал все сорта и брал, нагибаясь, снисходительно, небрежно, как добрый господин. Категории разные, но вкус одинаковый. Любовь, как вода или водка, не все ли равно, из какого стакана ее выпить. Авилов пил много любви и вина, но пил, не пьянея.

И в начале шеренги стояла другая колымская девчонка, Ружейная Дука Щербатых. Она не была ни птица, ни кошка, ни корова. Она была первая Ева. И она научила его любви и сама научилась.

И мелькнуло обжигающее сравнение. Кто слаще, забытая Дука, которую он бросил, или близкая дразнящая Аленка, которую он взял силой? А, должно быть, для Викеша Аленка была, как Дука для отца...

— Чорт с ними со всеми!

Нераскаянный грешник и хищник махнул на них рукой. «Подвертывались — брал, и жалеть не жалею».

Авилов, как орел, — орел летает один, индюки ходят стадом, — припомнилась ему гордая пословица Марата.

Вскипали в душе у Викентия эти веские, терпкие чувства, но в делах приходилось проявлять огромную энергию и бдительность. Слабел отряд. Вся сила его была в душе и в руках и в спокойной решимости Авилова.

Максолы напирали. Им тоже хотелось развязаться поскорее и вернуться на реку к промыслам и очелин-

кам. Бросить погоню они не могли, связанные клятвой. Да и что бы сказала про них Кольма. Они нервничали и лезли в огонь и если бы не Викеша, наверно бы, жестоко обожгли свои пальцы.

На низовьях реки Погиндена, не далеко от Сухого Анюя, максолы подобрались к ночлегу отряда в тополовой роще, под деревьями, и рискнули ночным нападением. Но на этот раз Авилов оказался хитрее Викеши. Белые не спали. Беспечным привалом своим под густыми деревьями, ночлегом без всяких часовых, они вызывали, подманивали максолов на выстрел. Укрывшись за толстыми стволами или прямо под нависшими ветвями, сомкнутыми, как безлиственный шалаш, они открыли в ночной полутьме убийственный огонь и сразу убили двоих, суматошливого Паку Гагарленка и красавца Микшу Берестяного.

Пака Гагарленок пискнул, как зайчик, свернулся и смолк. И сразу примахались его руки и горло его речей просыпался весь и навсегда.

А Микша только покачнулся и схватился за бок. Был он так крепок, что пытался бороться со смертью. С ужасной улыбкой он разорвал на груди нарядную парку свою и лисий жилет и открыл свою белую грудь. Потом нагнулся к оттаявшей земле, нацарапал и собрал прошлогодних листьев тополя, свалил их вместе в ком и заткнул ими рану, как затыкает медведь.

Так, стоя на ногах, опираясь на Викешино плечо, кончил свою жизнь, не падая на землю, Берестяный.

В это время посыпались выстрелы сзади. Балтаев, башкир и еще трое успели отползти незаметно и забраться максолам в тыл и сделать диверсию.

И тут они ранили третьего максола, Дорку Токаренка, Пакина соседа по Голодному Концу.

У Дорки Токаренка были две матери, обе, разумеется девки и обе Елена. Были они близнецы, и о них никогда не говорили поразно. Даже откуда-то явился классический греческий отзвук и их называли: «Прекрасные Елены». Были они отменно безобразные, мордастые, скуластые, с растрепанными волосами.

Токаревские Елены основали в Колымске двойчатую женскую вить, как двойчатый орешек. Обе они были схожи, как вылитые. Взапуски рожали детей, нарожали десяток и не очень разбирались в своих материнских правах. Правда, и Дорша не всегда отличал, какая Елена его мать, и какая тетка.

Дорку Токаренка Елены в поход не пускали. Даже отобрали сапоги у него. И он в первый раз ушел с максолами босой, по снегу. Теперь пуля попала ему в ногу и перебила кость и сразу сократила количество обуви, потребной для него, вдвое.

Максолам могло бы прийти очень круто и солоно. Но их спасло непостижимое проворство северян. Вивеша подал сигнал уходить, и все они внезапно рассеялись, как дым, и исчезли из-под прицела и просто из поля зрения.

В солдатском отряде было ликование. Праздновали новую победу над красными и даже выпили за их скорейшую гибель по чаре единой из последнего дорожного запаса. Хвалили башкирскую хитрость и проворство мурзы Балтаева. Но человеческие судьбы настолько изменчивы, что еще через три дня именно башкиры и Балтаев затеяли заговор, затем, чтоб схватить Авилова и, выдав его красным, купить себе спасение.

Балтаев, битый когда-то шомполами, давно затаил на Авилова зуб, но теперь он припомнил и поставил на-кон против злого начальника свою собственную буйную голову.

Было это в северную полночь, когда крепко заснули не только солдаты каратели, но каждая птичка на ветке. Тут и заяц в кусте сидит, притаился и дремлет и ушки на макушке.

Авилов после деятельного дня тоже спал, как каменный, в палатке. Он сохранил свою палатку и сам разбивал ее на ночлег. Заговорщики прокрались в палатку, неслышно перебирая по земле своими мягкими подошвами, и сразу накинулись на русского осилка. Авиллов проснулся с обычной четкостью сознания и воли и начал отчаянно бороться за свою свободу и жизнь.

Башкир было четверо, но даже вчетвером они не могли одолеть Авилова. Они катались по земле чудовищным клубом, опрокинули палатку и попали в потухающий огонь. Весь лагерь пробудился, но в первую минуту никто не вмешивался. Балтаев даже осмелился крикнуть другим башкирам своим гортанным говорком — «помогите».

Но из опрокинутой палатки выскочила Варвара Алексеевна, голая, в рубашке, и в руке у ней был огромный револьвер Авилова.

— Берегитесь! Стреляю! — крикнула она истерически. И в ужасе и восторге закрыла глаза и нажала гашетку.

Бухнуло раз, потом другой, раздался болезненный крик. Пуля попала в одного из офицерских денщиков, Илью Оковерина, который, опомнившись раньше других, спешил на подмогу к законному начальству.

Но услышав этот крик, башкиры немедленно оставили Авилова и кинулись в лес на-утек.

Авиллов тоже поднялся на ноги. Он был страшен. Белье его висело лохмотьями, и голое тело светилось на самых неожиданных местах. Он ничего не сказал и не

стал одеваться, а сгреб палатку, завернулся в нее как в плащ, и сел у костра, прислонившись спиной к стволу. Так он просидел до восхода, а после оделся и, взяв ружье, тоже ушел в лес. Куда и зачем, никто не спросил его. Он, впрочем, и сам не знал. И если была у него мысль поохотиться за беглыми бапкирами, она промелькнула и засохла, как трава без корня.

По лесу он много не ходил. Уселся на пень и двенадцать часов просидел в каком-то остолебенении. Ему было нестерпимо и ужасно. На него, на могучего Авилова, какие-то прохвосты накинули веревку, как на зверя, и хотели не убить, это куда бы ни шло, а опутать и связать, как вяжут подъяремного быка. К вечеру Авиллов вернулся в отряд, но палатку поставил поодаль и так, чтобы доступ к ней был закрыт толстыми деревьями.

Впрочем, на утро они снялись и двинулись вперед. И за ними на дневной переход двинулись камсолы, которые тоже постоянно находились в контакте со своей будущей добычей и хоть близко не подходили, но из виду ее не теряли.

Но к вечеру Викиша обнаружил, что кроме обоих отрядов движется рядом еще какая-то третья промежуточная группа. Это были Балтаев и братья. Они не хотели оставаться одиноко в лесу, а к отряду вернуться не смели, и так шли сзади, остерегаясь одинаково Викиши и Викентия Авилова. Вместо простого поединка, развернулась новейшая игра на три угла с перебежкой.

### XXXIII

Авиллов знал о Балтаеве, конечно, не хуже Викиши. Но искать его не стал. Через два небольших перехода, Авиллов круто свернул на юг и вышел на «Вымороки».

«Выморокки» были юкагирские села, лежавшие чёрными пятнами по Большому Анюю и Омолону. На обеих реках они тянулись на сотни верст, составляя особую область мертвых, запретную и страшную живым. Поселки вымерли во вторую половину минувшего века, частью от оспы, но больше от голода. Жители вымерли сразу, почти без промежутков, остатки бежали на главную реку — Колыму, где голод чувствовался меньше и на людях было не страшно.

Колымчане страшно боялись этого убежища смерти. Они верили, что духи заразы и голода живут в этих обезлюдевших селах и готовы наброситься на каждого, кто подойдет близко. Авилов вышел на Выморокки, отчасти надеясь, что, может быть, даже и максолы будут в этом округе не так уж настойчивы.

Он вышел на большую деревню Ламбонда. Избы стояли, но живых, разумеется, не было, ни людей, ни собак, и вообще никакой живой твари.

Перед избами было совершенно тихо. После некоторого колебания солдаты вошли и стали размещаться на квартиры в поселке мертвецов.

Авилов с офицерами заняли главную избу, которая, повидимому, была общественным домом в деревне. Скамьи и стол, и ушаты, и медная посуда, — все было налицо, только медь позеленела тусклой зеленой медянкой. А на лавках лежали скелеты, три больших и два меньших. Они были обработаны горностаями и после жуками и белели, как слоновая кость. Подсохшие связки держались. И один скелет сидел на лавке и будто прислушивался, выдвигая навстречу пришельцам свое широкое белое лицо.

Каратели мрачно постояли, а потом, даже без приказа, стали собирать и скелеты и мертвые кости и выносить их наружу, подальше от жилья. Это было

воскресенье выморочной жизни, затеянное полковником Авиловым.

Еды в избах не было. Но за последние семьдесят лет в этой стране, недоступной живому человеку, размножились олени и лоси, и лисицы, и волки. Здесь их никто не тревожил и они стали пробираться сюда из других областей, с севера и с запада и с юга. Выморочки постепенно стали обращаться в заповедник, в национальный парк для исчезающих пород.

Мало того, здесь дикие олени, не зная охотника и не опасаясь выстрелов, были совершенно бесстрашны. И в первую же ночь сибирские солдаты, привычные к охоте, сразу застрелили двух оленей.

Два дня прожили белые в домах мертвецов, а на третий день случилось опять небывалое. В отряде Персианова был поручик Александров, тоненький, беленький мальчик. Он начал свою военную карьеру пятнадцати лет добровольцем и близился к совершеннолетию только теперь, в отступлении от Нижнего Колымска. Природа его была двойственная. Он пошел на войну добровольцем, а войну ненавидел, к крови относился с отвращением. Участвовал в битвах, в убийствах, случалось, расстреливал даже, а потом тщательно мыл руки пахучим мылом, стараясь стереть даже внешний след и изгладить запах крови и резни.

Женщин Александров боялся, но имел у них успех. В России и в Сибири какая-нибудь бойкая дама возьмет и уведет его к себе и, как в детской песенке про бедного сиротку, и накормит, и напоит, и в постельку спать уложит. Поэтому товарищи звали Александрова «сиротка».

В последнюю минуту он оказывался и сильным и страстным. Это производило большое впечатление на дам, и ему трудно было отделяться от своих надоед-



ливых поклонниц. Несмотря на застенчивость свою, он вовсе не был скромн, и вся окружающая публика знала подробности его интимной жизни. И бывала у него между дамами такая покровительница, которой он изливал свои горести и жаловался на обольстительниц. Случалось, разумеется, и так, что покровительница, в свою очередь, обращалась в обольстительницу. Тогда он отыскивал другую.

Колымские девицы и старицы вели себя не лучше российских. И даже в последние месяцы он был изъят от того отвращения, которое стало стихийно отталкивать самых вольных порочанок от опостылевших белых картелей. И до сих пор порою он приходил к Варваре Алексеевне и жаловался на свою горькую судьбу. Он называл ее мамой и, случалось, плакал перед ней настоящими слезами, а она утешала его и гладила по мягкой голове. И тогда он улыбался.

Безлюдные, мрачные Выморoki понравились Александру. Он не ощущал их безлюдья. Напротив, в каждом доме были свои обитатели. Он обошел все дома и успел подсчитать выбрасываемые кости. Было в поселке больше тридцати скелетов. Очевидно, им некуда было уйти и все они умерли сразу, должно быть, от заразы, да так и остались в своих собственных наследственных домах.

Александр с удовлетворением ощущал их молчаливость после буйного шума и криков предшествовавших столкновений. Они молчали и не протестовали, даже если белые выкидывали их прочь. И ненависть их не угнетала чувствительную душу Александра.

Отряд до того уменьшился, что не захотел занять всех домов поселка. Среди мертвецов живые сжимались теснее, и в двух крайних избушках остались природные жители. Александр сходил к ним в гости.

Вошел, как обыкновенно, открыл дверь, вежливо промолвил: «Здравствуйте». Хозяева не отвечали. Они молча белели по орунам. Александров уселся на низкий трехногий табурет и долго смотрел на костлявых хозяев, лежавших по орунам. Они тоже были белые, чистые от мяса и страстей, такие белеенькие, как он сам. Разговаривать с ними он не разговаривал, но, уходя, оставил на крышке стола, изъеденного гнилью, несколько листов табаку. Это было как бы жертвоприношение.

Утром как раз наступало совершеннолетие поручика Александрова. Он ждал этого дня три года и когда-то собирался отпраздновать его с особою помпою, и даже сейчас он был настроен торжественно. Он чувствовал себя не сироткой, а взрослым человеком, словно произвели его в новый чин, из поручиков в капитаны. Но произвести его было некому.

— Я сам себя произведу, — хитро сказал Александров.

Рано поутру Александров прошел по задворкам селения и среди странных юкагирских амбаров, построенных высоко на стойках в защиту от зверей, как избушки на курьих ножках, он увидел самую высокую шайбу <sup>1)</sup>. Она была до сих пор закрыта наглухо, и бревно с зарубками, служившее лестницей, было сброшено вниз.

Александров приставил бревно, влез наверх, открыл деревянный замок, какие бывают на севере. Замок совершенно истлел, и он сдернул его с места без всякого труда.

В шайбе сидел человек. То был старик, костлявый и, разумеется, не менее мертвый, чем другие обитатели

---

<sup>1)</sup> Квадратный амбар на высоких стойках.

поселка. Но кости его были искусно связаны жилыми нитками и они еще держались. Кожаная одежда, зашитая кругом, как мешок, охраняла его от распада. Он сидел на каком-то подобии трона или деревянного кресла. Руки его были привязаны к поручням кресла и спина, обложенная кожей, укреплена на спинке. Бубен и затейливый посох стояли в углу. Но рогатая шапка с железными ветвями сидела на черепе скелета, как будто корона.

Это был дед — покровитель селения. Какой-нибудь старый шаман, которого жители некогда избрали себе символическим предком и в свое время приносили ему жертвы и просили о промысле. В сущности, этот скелет был гораздо старше других обитателей, лежавших на лавках, в домах. Но, благодаря принятым мерам, он сохранился лучше всех.

Александров поздоровался с ним вежливо, но шаман ничего не ответил. И тогда Александров рассердился, быстро отодрал старика от насиженного места и поставил к стене. Старик опустился на землю, но все же не рассыпался. Каким-то чудом он держался вместе и, прислонившись к стене, сохранял в воздухе свое сидячее положение. Лишенный деревянного трона, он словно ладился к трону иному, воздушному и незримому смертным глазам.

Александров уселся на место старика, откинулся на спинку кресла, а руки положил на поручни, стараясь принять по возможности такую же позу, неподвижную и важную. Просидел полчаса, потом это ему надоело, он принял позу поудобнее, набил и закурил свою трубку, потом ему стало скучно и он зашел и довольно громко зашел своим приятным тенорком:

Коль славен господь в Сионе,  
не может вымолвить язык.

Часа через два персиановский солдат из денщиков должен был Варваре Алексеевне, что на вышке, у леса, покойный шаман поет песни.

Солдаты, разумеется, знали, еще раньше Александра, что на вышке запрятан шаманский скелет.

— Как поет? — спросила Варвара, не понимая.

— По-нашему поет, по-русски, «во Сионе», поет, — сказал Алексей Митюков, опять-таки солдат из денщиков, даже собственный денщик поручика Александра.

И тогда Варвара Алексеевна испугалась и отправилась к вышке. Солдаты шли сзади поодаль. Несмотря на яркий день, им было страшно. Входное бревно лежало на земле. Александров сбросил его вниз, не желая, чтоб кто-нибудь тревожил его уединение.

Княгиня с большими усилиями подняла и поставила вверх тяжелое бревно. Потом полезла на шайбу. Ноги ее скользили из полуизглаженных зарубок, но все-таки она поднималась и встала в дверях.

— Пошла вон, — сказал Александров, и махнул на нее посохом.

Он присвоил себе и посох и бубен покойника и, повидимому, собирался устроиться на вышке с комфортом и надолго.

— Поручик Александров, что вы делаете? — строго сказала Варвара Алексеевна.

— Я не поручик Александров, — ответил сидящий на троне, — я старик.

— Какой ужас! — сказала Варвара с отвращением, увидев скелет шамана. — Можно умереть от одного вида.

— Я не могу умереть, — сказал Александров, — я уже умер.

— Сходите вниз! — крикнула Варвара Алексеевна. Мужество ее иссякало, но она непременно хотела спасти этого несчастного мальчика от его собственного безумия.

— Сама сходи! — отозвался сердито Александров.

— Идем! — Варвара Алексеевна истерически крикнула и схватила Александра за руку. Он выпустил бубен и посох и завизжал, как кошка. Но тотчас же вскочил, изогнулся, схватил полусидячий шаманский скелет и стал тыкать его в лицо своей непрошенной спасительнице. Костлявая рука толкнула Варвару в щеку и с треском отломилась. Посыпались мертвые кости. Двухсотлетний старик-покровитель рассыпался в руках своего нового преемника.

С воплем торжества сумасшедший схватил длинную берцовую кость и замахнулся, как палицей над головой женщины. Не помня себя от ужаса Варвара Алексеевна скатилась с бревна, обняв его руками и ногами, как мачту спасения.

И тогда сумасшедший унялся и, должно быть, уселся на свое завоеванное кресло.

Убегая, Варвара Алексеевна слышала его громкое пение или чтение, на этот раз из Державина:

Я царь, я раб, я червь, я бог!

— Я бог! — кричал он в упоении. И сам начал служить перед собою по-церковному:

Да исправится молитва моя,  
яко кадию пред тобою.

И под звуки церковных песнопений Варвара Алексеевна вернулась от самозванного бога-мертвеца к последним остаткам умирающего отряда.

А на другой день наступил конец.

Максолы, как и каратели, тоже стремились к развязке. Походы и битвы смертельно надоели самым ожесточенным. И после последней неудачи в отряде стали говорить, на манер стариков, что не лучше ли бросить до осени белых и идти на Колыму.

Май подходил к концу. Каждый день мог ожидать ледоход, и тогда пришлось бы ожидать на берегах реки до конца половодья. Летом на суше в Колымском краю не бывает прохода. Надо двигаться по рекам, в челноках или лодках.

Но особенно старался Федотка Гуляев, черноусовский гонец передатчик, ушедший на «Камень» с максолами. Он доказывал усердно, что белых надо бросить.

— Никуда не уйдут твои белые, — уговаривал он. — Тут и посядут, а, пожалуй, и помрут, как досельные с голоду померли.

— Не так, — возражал ему Викеша. — Вы, черноусовски, не знаете. Здесь ныне зверя прибеглого много. Пробыются, проживут. Рыбу будут ловить на Анжюе, хариуса, ленка.

— Рыбка святая еда, — отвечал Федотка соглашательским тоном, — так пускай себе ловят.

Он готов был предоставить и белым в этой безбрежной пустыне огромный участок для работы и жизни.

— Довольно убивать! Лучше новые жители, чем досельные покойники.

— Нет, — твердо сказал Викеша. — Девки смеяться будут. Скажут старики: «Шли, как волки, а вернулись, как телки».

Максолы упорно молчали. Прежние помощники Викешы были перебиты. Средневежских ребят было меньше

половины. Другие были низовские, черноусовские, сахарные, анюйские, которые не знали правления Митьки Реброва и не жили в колымском максоле.

— Вот что, — решительно сказал Викеша. — Подождем неделю. За неделю не вскроются реки <sup>1)</sup>. Если за неделю не управимся, пусть будет по-вашему.

На третью ночь максольский отряд повел наступление на Выморочи. На этот раз, наученные предыдущей неудачей, красные подходили к поселку очень осторожно, исследуя каждый закоулок прилегающего леса, чтоб опять не нарваться на ночную беду. Ночь, впрочем, была не настоящая. Широкая заря горела на полнеба, и розовыми были деревья в лесу и камни на приречных утесах. Самый воздух был наполнен румянцем, какой-то блистающей, светлорозовой пудрой.

Осторожность оказалась излишняя. На северном участке максольская разведка наткнулась на каких-то людей, которые мелькнули меж деревьев и быстро исчезли в направлении поселка.

Викеша не велел стрелять им вслед. Отряду он велел остановиться и подождать, что будет.

Полночная заря медленно передвигалась от запада к востоку, стремясь превратиться из вечера в утро, из заката в восход. Но максолы заметили, что заря непрерывно растет и розовая пудра, повисшая в воздухе, густеет, как розовый снег. Запахло горелым, от поселка потянуло дымом, тоже розовым, но густым и неровным, очевидно земным, не небесным.

Поселок пылал. Белые встретили атаку максольцев, сжигая свою собственную базу, сжигая свои корабли. Они очевидно собирались биться на смерть.

---

<sup>1)</sup> На Нижней Колыме реки вскрываются в июне.

Викеша не стал выжидать и велел двинуться отряду, стремясь разгадать и увидеть, в чем, собственно, дело. И на этот раз, как раньше, максолы ошиблись в оценке положения, но в обратную сторону. Поселок запалили не авиловцы. Его подожгли бежавшие башкиры, Балтаев и прочие, которые подобрались к осажденным с большей удачей и смелостью, чем красные максолы. Положение было иное, чем при первом нападении. Забубенные башкиры из противников стали для красных союзниками, правда, непрошенными, но тем более важными.

Дома и амбары со скелетами, с костями, со всем своим мертвым, истлевшим скарбом, вспыхнули, как порох. Шаманская вышка, со своим новым живым мертвецом, пылала, как факел.

Пробегая мимо нее, несчастные каратели на миг остановились. Оттуда, сквозь грохот и треск огня, слышалось громкое пение:

Велик он в небесах на троне...  
Велик господь!..

Это поручик Александров сам себе сразу пел и молебен и отходную.

Белые бросили пылавший поселок и отошли в лес без особого беспорядка. Только у Авилова близ уха неприятно близко пропела проворная пулька. Авилов подбросил серебрянку и выстрелил в тень, перебежавшую далеко впереди от тополя к тополю. Выстрел его был удачнее. Балтаев выронил ружье, потом сорвал с себя рубаху и туго обмотал простреленную руку, и, ругаясь от боли, побежал глубже в лес.

Отряд выходил из чащи, стараясь выбраться на более открытое место. Солдатам казалось, что за каждым ветвистым стволом прячутся незримые и меткие враги, со смертью, запрятанной в дуле ружья.



Отойдя от реки, белые вышли на широкую и гладкую поляну. Она была окружена огромными деревьями, стройными, редко расставленными, как будто в расчищенном парке.

Солдаты отодвинулись к северному краю поляны и, рассыпавшись цепью, стали за деревьями. На южной стороне показались фигуры, тоже укрываясь за деревьями. Это были, наконец, настоящие максолы, не те неизвестные тени, что подожгли поселок.

Перестрелка еще не начиналась. В это время на левом фланге белых явился человек, голый до пояса, с рукой, безобразно замотанной в какой-то серый узел. Это был Балтаев. Быстрым движением он сорвал с руки окровавленный холст и взмахнул им над головой.

— Ны нада! Йок! — кричал он по-русски и по-башкирски. — Ны нада война!

Свою грязносерую рубаху с кровавыми пятнами он поднимал над головой, как знак миролюбия и отказа от войны.

На левом фланге отряда, среди остатков башкир и остатков чувашей произошло движение. И третий Михаев чуваш выломил длинную жердь, снял с шеи платок, такой же светлосерый и грязный, как рубаха башкира Балтаева, и привязал его к жерди. Это был уже несомненно нейтральный белый флаг.

Персиановские офицеры со своими денщиками замялись в нерешимости. Но на другой стороне поляны, на таком же корявом шесте показалась такая же серая и грязная тряпица. Красные максолы принимали перемирие.

С южной стороны двинулась высокая фигура с жердью и флагом в руках. Это был сам предводитель отряда, Викеша-максол.

От белых выступил с флагом чувашский говорок Михаев третий. Первого Михаева убили, второй Михаев с сородичами оторвался от отряда и ныне, быть может, попал на Среднюю Колыму. Но даже среди оставшихся чувашей пассивно-активного духа неожиданно отыскался еще один влиятельный Михаев. Это чувашское колено, повидимому, было вовек неистоцимо.

— Сдаетесь? — крикнул Викеша, смело подходя и размахивая флагом.

— На! — покачал говорок головой и флагом.

— Дратся будете? — спросил раздраженно Викеша. — Какого же чорта?..

— На, на!..

Чувашии затряс головой настойчивее прежнего.

Викеша смотрел с удивлением на странную группу. Это был совсем неожиданный подход к решающему бою. Вместо бойцов и беглецов, победителей и пленных, явились зрители.

Балтаев, страшный, накрашенный кровью, как краской, выступил вперед.

— Мы смотри, вы дерись! — крикнул он. — Понимай?.. И ви тож!

И он указал рукой на довольно компактную русскую группу, стоявшую подале.

Персиановцы долго молчали и не знали, что делать. Выручил всех офицеров денщик Митюков.

— По-нашему, — крикнул он, — пусть господа подерутся, а мы, правда, посмотрим. Который которого побьет, того и верх будет!

Глаза у Викеша вспыхнули и щеки залились румянцем, как бывало у старшего Авилова. Но сказать он ничего не успел. Авилов выступил вперед. Огромная фигура его не скрадывалась даже шириною поляны и высотой больших тополей.

— Здравствуй, сынок! — сказал он совершенно спокойно. — Чего убежал, не дождался. Ну, все-таки свидетелись. Что ж, будем драться?

— Я буду, — ответил Викеша с готовностью.

— А как?

— На смерть, — твердо ответил Викеша.

— Что так? — спросил Авилов с веселостью.

— А зачем ты Аленку испортил, злодей? — крикнул Викеша запальчиво.

Пред глазами его промелькнула темная поварня и растерзанная детская фигурка и голос: «Боюсь!»

Авилов презрительно сморщился.

— Важное кушанье — баба!.. Брось, — сказал он неуступчиво, видя новое зарево гнева в лице у Викеша. — Сетка-то чужая, только рыбка-то моя.

Эта колымская пословица применяется одновременно к рыболовным кражам и брачнолюбивым изменам.

— Будя, молчи! — яростно крикнул Викеша. — Отдай серебрянку мою, — сказал он спокойнее, указывая на тонкую кремневку в руке у отца.

— Не дам, — коротко ответил Авилов. — Знакомое ружьишко!

Он махнул в воздухе Дукиной изящной серебрянкой.

Викеша постоял в нерешимости. Потом подозвал Федотку Гуляева.

— На тебе это ружье, — сказал он, снимая с плеча отцовскую нарядную винтовку, — и будь ты начальник над всеми максолами, отрекаюсь я от всякого начальства.

Он очевидно понимал, что подвиг, предстоявший ему, несовместим со званием начальника максольской дружины.

— Милую желтяночку возьму, дружка моего забывшего Микши верную подружку.

Федот протянул ему малопульку ладного тунгусского дела, украшенную по ложу и по замку желтыми латунными насекомыми.

Шансы противников сравнялись. И они могли теперь приступить к своему поединку, смертоносному и странному.

Редко бывает на свете такое сражение, чтоб начальники дрались, а солдаты смотрели.

Авилов замялся в нерешимости.

— Викеша! — окликнул он сына.

— Ну?..

— Дай мне руку.

— На, — выдохнул Викеша.

Они подошли и взяли друг друга за руки. Они были очень похожи, похужее, чем прежде. Викеша в последние месяцы очень возмужал и станом и лицом. Были они рядом, как старое и новое издание одного и того же портрета.

Сын и отец меняются пожатием руки. И почти машинально старший Авиллов стискивает в своей богатырской клешне руку младшего. Викеша мужественно выдерживает нажим и жмет в свою очередь. Но ему не по силам меряться с российским великаном. Рука его коробится бессильно и складывается вдвое. Пальцы слепляются вместе, ногти наливаются кровью и розовые капельки выступают наружу, и брызжут, как роса.

Странная улыбка блуждает по лицу Авиллова. Ноздри его раздуваются. Но вдруг он замечает эту розовую росу и разжимает лапу.

— Я раздавил твою руку, — говорит он с раскаянием и почти с нежностью в голосе.

Викеша откровенно трясет в воздухе раздавленной рукой, как делают малые дети, и разбрызгивает розовую влажность. И вдруг поворачивает руку вверх и брызжет кровью в лицо отцу.

— На, ешь!

— Добро, — говорит Авилов мрачно. — За дело, пора!..

Красные и белые сдвигаются влево на поляне, они постепенно выходят вперед и встречаются, а потом смешиваются. Это не только перемирие, это братание для самого яркого зрелища, какое имеется в мире, — для зрелища кровавой борьбы и неминуемой смерти одного из противников, а может и обоих.

### XXXV

Викеша и Авилов с ружьями в руках уходят направо. Они подвигаются вперед по опушке лесной, от дерева к дереву. Дуэль будет на ружьях, стало быть в чаще лесной, — и зрителям придется не столько смотреть, сколько слушать выстрелы, стараясь определить по звуку, чье ружье хлопнуло.

Правая рука у Викешы раздавлена, но это не беда. Это не мешает ему целиться и в нужное мгновение нажать курок. И будь он одноруким, он тоже бы не отказался от этого страшного боя, затем, чтоб покончить с кошмаром своего раннего детства, с врагом своей зрелости.

Дуэль началась безмолвно и коварно. Викеша углубляется в лес и сразу исчезает из поля зрения. Потом крадется вперед осторожно и неслышно, стараясь приблизиться к Авилову с неожиданной стороны. Но Авилов осторожен и он стреляет первый. Маленькая шуля серебрянки щелкает по крепкому стволу, за ко-

торым так искусно запрятался Викеша. Если бы пуля могла пронзить этот ствол — дуэль бы уже кончилась. Викеша посылает ответный выстрел на мелькнувшее облачко. Его желтяночка бьет слабее серебрянки и зрители сразу отмечают мысленно: Авилов Первый — раз, Авилов Второй — раз, как будто на скачках.

Яркое солнце восходит в вышину по безоблачному небу. На деревьях нет листьев, но пахнет весной; сквозь тление прелых листов пробивается острая смолистость молоденьких почек. Они еще под корой, но природа даст знак, и в три дня они распустятся листьями и цветами и, минуя весну, перескочат в торопливое лето, как бывает на севере. Крупные птицы еще не прилетели, но пташки уж тут. Свищут синички и красногрудые снегири и в луже на лужайке яростно дерутся турухтаны-петушки, хватая друг друга за широкие наеженные брызги. И цветистый вьюрок уже заводит в вышине своей неугомонный вопрос: «Чавычу видел?»

Чавыча — это крупная рыба, царица лососевой семьи. А для наших ушей этот самый вьюрок выкликает: «чечевица!»

Мелкие пташки, предупреждая лето, готовятся к браку, к любви, к рождению детей. Только безумные люди собираются открыть пышный весенний праздник нелепым и страшным убийствам.

Час. Другой. Пощелкивают выстрелы. Никто из них не ранен. Так они могут сражаться, пожалуй, неделю, без всякого возможного исхода. Есть, однако, и новое. Авилов обошел Викешу. Викеша движется по внутреннему кругу, Авилов по наружному. Он ищет глазами своего сына-противника и вдруг замечает его скользящим за дерево. Он видит его напряженное лицо, несколько согнутый стан, обтянутый темной олениной,

Викеша не видит отца и ждет, притаившись, совершенно неподвижно. В этой игре терпение — главная сила.

Авилов смотрит не отрываясь, ему кажется, что он рассматривает сам себя, молодого Викентия Авилова лет двадцать назад, в лесу на охоте. Потом вспоминает про дуэль. Выстрелить, не выстрелить? В гневной нерешимости он ударил ложем об дерево. Викеша подскакивает, как будто подброшенный пружиной, стреляет в направлении звука и заскакивает тотчас за дерево. Все это случилось в мгновение ока. Пуля ударяется об сук, отскакивает рикошетом и ранит Авилова в щеку. В сущности не рана, а царапина. Но кровь сочится, щеку саднит, и в сердце Авилова отдается эта глухая ноющая боль.

Викеша не знает колебаний. Это первая рана и боль, которую Авиллов получил от собственного сына.

Как дальше вести поединок? Убить мальчишку? И в этой игре, как в борьбе рукопашными, Авиллов сильнее своего сына, со всеми его предками из юкагирско-чуванских следопытов. Глухое отвращение внезапно просыпается у Авилова в душе. Сколько у него еще детей? Он мысленно обзревает свои прошлые семьи, женщин, с которыми он жил продолжительно или кратко. Он знает или подозревает с полдюжины прежних рождений. Но сколько их было неизвестных, сокрытых, неожиданных. Ему кажется вдруг, что целый посев его потомства разбросан по белу свету и он ощущает, будто его разрезали на дюжину ломтей и ломти раскрошили и бросили по ветру крупными и мелкими кусками. И живут эти куски неуклюжими щенками, глупыми, полуслепыми, — не щенками, а сынками, родными сынками Викентия Авилова.

А этого убить! Но где он? Викеша исчез. Другой раз его не поймаешь. А если и убить, то чем это поможет. Живого отсюда не выпустят. Авилов ощущает с поразительной ясностью, что карьера его кончена. Он описал, как снаряд, тройную траекторию. Из России сюда, на Колыму, с Колымы обратно в Россию, и из России обратно сюда. Отсюда не вырвешься больше. Здесь, видно, околевать.

И Авилову становится страшно. Как же это вышло? Дуку убил, Натаху убил, всю семью расточил и вернулся на старое место, как будто затем, чтоб полюбоваться на дело своих рук, и теперь вот старается убить последнее семячку, последнюю юную отрасль семейства Щербатых.

— Дука, слышишь? — спрашивает он громко, обращаясь в пространство. — Убить твоего сына? Захочу, так убью.

Авилов внимательно слушает, но никто не отвечает.

Его слух и зрение обостряются до крайности. Он слышит словно шорох осторожных шагов и видит опять Викешу, саженой за пятьдесят, за дуплом огромного дерева. Спрятался Викеша в совершенстве. Но Авилов знает, что он там. Взгляд его вонзается в пространство рентгеновским лучом и он видит сквозь дерево напряженную позу Викешы, его молодое лицо, суровое и злое, и от злости немного тупое.

Испуганная кем-то куропатка взлетает с шумом, быть может, спугнул ее Викеша. Она начинает выкликать знакомое: «Кабеу, кабеу, кабеу!»

Авилову слышится иное, похожее: «Убегу, убегу!»

«Ну да, — думает он с усмешкой, — ты убежишь, а мне некуда бежать».

Им овладевают отвращение и гнев.



— Довольно, к чорту! — вскрикивает он. — Так вашу...

И внезапно, даже не отдавая себе отчета, он выступает из-за прикрытия вперед, прямо под яркое солнце. Он стоит, прямой и огромный, как сосна, и резкие черты его лица выступают, как чеканная бронза.

И он ощущает в последний раз всю эту красоту пленительную, загадочную, предательскую, влекущую нас, неизвестно куда, и вызывающую нас постоянно на глупости и преступления. Он поднимает ружье и словно салютует в последний раз солнцу, и небу, и яркому воздуху, и лесу, и весне. И в ту же минуту чувствует несбыкновенно сильный толчок в грудь, словно въехала в него тяжелая и крепкая оглобля. Его даже подбрасывает от силы удара. И тогда на лету он слышит негромкое хлопанье, словно пробка выскочила из бутылки. Он оборачивается, как доска, и падает на землю плашмя. И видит в последнюю минуту, как бежит к нему человеческая фигура, странно знакомая и близкая.

«Бежит поднимать, — думает Авилов. — Поздно!»

И больше он не думает и не чувствует ничего.

Викеша подбежал к убитому отцу. Но он не хотел поднимать его ни живого, ни мертвого. Его первобытная жестокость не знала пощады и не была подвержена смягчению. Тело еще дергалось в предсмертной судороге и Викеша минуту подождал, потом подошел к нему вплотную, как счастливый охотник подходит к убитому лосю и так же как лосю, наступил правой ногой на широкую грудь, пробитую острым свинцом, и испустил пронзительный клич, ликующий и грозный:

— А-ла-гай!!.

Этот старинный охотничий клич, бывало, выкликала и Дука, заплевав на опушке лесной огромного рога-

того красавца, и ей откликнулся Авилов, через лес и поля:

— О-го-го!!

И в горле победителя Викеша смешались и сплелись эти два громкие влика решительной победы, полученные им по наследству от родителей: юкагирский и русский.

— А-ла-гай!!... О-го-го!!...

Убили. Готово. Конец.

---